

КАССАНДРА ЛЭЙТС НЕИЗБЕЖНОСТЬ



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Кассандра Лэйтс

Неизбежность. Кинга

1. Нисхождение.

«Автор»

2026

Лэйтс К.

Неизбежность. Кинга 1. Нисхождение. / К. Лэйтс — «Автор»,
2026

Меня зовут Сильвана Этвуд, и я думала, что в свои девятнадцать лет знаю, что такое ненависть. Я выросла среди руин и пепла, среди памяти о погибших. Но я не знала, что ненависть может быть такой... близкой. Диамант, герцог Валентайн, правитель Колтрейна и глава Инквизиции, не просто враг. Он — чума, которую я впустила в свою кровь. Он пытал меня. Он насиловал меня. А потом он дал мне выбор, который сломал мою жизнь. Книга содержит откровенные эротические сцены, сцены пыток, сцены употребления алкоголя и табакокурения. Читайте с осторожностью.

© Лэйтс К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	31
Глава 3	65
Глава 4	105
Глава 5	126
Глава 6	147
Глава 7	166

Кассандра Лэйтс

Неизбежность. Кинга 1. Нисхождение.

Глава 1

Неизбежность

Часть 1

Нисхождение

*А тем, кто сам, добровольно
Падает в Ад
Добрые ангелы не причинят
Никакого вреда
Никогда
Группа “Агата Кристи”*

Глава 1. Две стороны реки.

«В старом городе шептались. В новом — смеялись. И никто не знал, что станет искрой».

Сильвана

1

Я открыла глаза в тишине.

Не в той, что бывает перед рассветом, когда дом ещё спит, но уже слышно, как внизу на кухне осторожно двигают чугунок, как скрипит половица под тёплой сонной ступнёй. Не в той, что пахнет печным дымом и парным молоком.

Эта была другой. Плотной. Стоячей. Она лежала в комнате, как холодная вода в колодце, и давила на барабанные перепонки. Дом затаился, будто человек, который боится, что его услышат.

Я замерла и прислушалась.

Ничего.

Только занавеска у окна шевелилась — медленно, неровно, словно кто-то невидимый трогал её кончиками пальцев. Ткань вздымалась и опадала, и в этом движении оставалось единственное доказательство того, что за стенами всё ещё дует ветер. Что мир не умер окончательно.

А потом ветер принёс запах.

Запах вошёл в комнату не тонкой струйкой, а целой волной — густой, сладкой, почти осязаемой. Так пахнут цветущие яблони в мае, когда лепестки уже осыпаются, а воздух становится похож на разбавленный водой персиковый сок. Так пахнет свежескошенная трава, когда коса проходит сквозь неё и зелень кричит, истекая соком.

Я не помнила, когда в последний раз чувствовала это.

За долгие недели в лесах, ночёвки в сырых подвалах, все те часы, когда единственными запахами были прелая листва, дым и чужой страх, я успела забыть, что мир может пахнуть жизнью.

Этот аромат ударил в ноздри.

И время треснуло.

— Ти-и-ише ты, коза! — горячий шёпот обжёг ухо. Ладонка сестры легла на мой рот. Мокрая от смеха. Пахла вишней. — Мама уже на «семи»! Сейчас сюда пойдёт!

Я укусила её за пальцы.

Она взвизгнула — тихо, сдавленно, как котёнок, которому наступили на хвост. Мы обе замерли, вжавшись в колючий куст. Ветки впивались в локти. По коже ползло что-то тёплое — не то царапина, не то капля пота. Нам было всё равно.

С крыльца долетел голос матери:

— Де-е-евять...

Она тянула это слово, как тянут мёд из банки, — медленно, с наслаждением, с улыбкой, которую я не видела, но знала, что она есть. В этом растянутом «девять» заключалось всё наше детство. Весь его неторопливый, правильный ритм. Весь мир, который тогда казался вечным.

А потом — взрыв.

Визг, топот, две пары босых ног несутся через клумбы, ломая стебли, разбрасывая тёплую землю. Мы знали, что влетит. Знали, что мать потом будет ругаться, отряхивать нас, а отец — делать вид, что сердится, хотя в глазах у него пляшут смешинки. Но сейчас это не имело значения.

Мы упали в траву.

И хохотали до икоты.

До слёз.

До рези в животе, до судорожных всхлипов, когда лёгкие уже не успевают за сердцем. Смех рвался из меня, как река из берегов, — дикий, пьяный, счастливый. Помню, Лия держалась за живот и повторяла: «Не могу, не могу, умираю...»

А потом трава под ладонями стала холодной.

Я не сразу поняла, что изменилось. Просто в какой-то момент смех Лии — звонкий, взхлёб — начал затихать. Не резко. Как будто кто-то медленно убавлял звук. Я повернула голову — и увидела, что её лицо бледнеет. Веснушки на переносице проступили резче. Глаза — широко раскрытые, тёмные — смотрели не на меня. Мимо.

Я проследила за её взглядом.

Над яблонями, над клумбами, над крышей дома, где мать развешивала сушиться мяту, — небо было не голубым. Оно было чёрным. Плотным, как дёготь. И в этой черноте медленно проступал контур. Тонкий. Длинный. Как лезвие.

Видение дрогнуло и рассыпалось.

Я бежала по каменной дорожке, нагретой солнцем. Босиком, раскинув руки, и ступни горели от жара. Впереди стоял отец. Спина ко мне. В этой спине, обтянутой льняным сюртуком, было столько надёжности, что хватало на весь мир. На все мои страхи. На все «а вдруг», которые ещё не успели во мне родиться.

Он обернулся.

И я прыгнула.

Не добежав. Не дождавшись. Прыгнула в полной уверенности, что он поймает. И он поймал. Подхватил меня, вскинул над головой, и я взлетела.

— Ну что, птица? Высоко летаешь?

Небо качнулось надо мной. Голубое. Огромное. Бесконечное.

А потом из-за его плеча я увидела лес.

Он стоял стеной — чёрный, мокрый, чужой. И в этой стене, между стволами, что-то двигалось. Медленно. Терпеливо. Как будто ждало, когда я наконец посмотрю.

Я не успела разглядеть.

Видение истаяло.

Я сидела на постели. Ладонь лежала на груди, под рёбрами. Там тлел тёплый уголёк. Присыпанный пеплом. Он грел — но не освещал. Не давал тепла — только напоминал, что когда-то был огонь.

Горло сжало. Ком встал где-то между ключицами, тяжёлый, сухой. Я дышала через нос. Медленно. Считая вдохи, как учил отец: «Раз. Два. Три. Держи. Выдох». Помогало не всегда. Но помогало.

Я сбросила одеяло, подставила лицо свету.

Рассвет уже просочился в комнату. Он был странным — не золотым, не розовым, а полупрозрачным, влажным, будто саму ночь разбавили водой, в которую капнули сок спелого персика. Свет без тепла. Свет-призрак.

Ставни резали его на полосы, и по моим щекам бежали золотые реки. Красиво. Но красота эта ранила.

Платиновые волосы рассыпались по плечам. Тяжёлые. Скользкие, как мокрый шёлк. В детстве я ненавидела расчёсываться. Мать битый час разбирала колтуны, а я вертелась, ныла, дёргалась. Теперь коса стала привычкой. В дороге распущенные пряди — непозволительная роскошь. В них можно запутаться. С ними можно не услышать, как сзади хрустнула ветка.

Но сейчас, в этой краткой передышке, я позволила им лежать свободно.

Маленькое послабление.

Знак того, что я ещё не до конца превратилась в воина.

Я покосилась на отражение в мутноватом зеркале напротив.

Глаза.

Зелёные. Но какого-то холодного, прозрачного оттенка. Без искры. Без дна. Так смотришь в воду лесного озера слишком долго — и перестаёшь различать, где заканчивается вода и начинается тьма.

Во взгляде была решимость. Но где-то за ней, в самой глубине, ещё колыхалась тень сна.

Мне снился луг.

Жёлтая бабочка. Бег без цели.

В этом сне на поясе не было меча.

Не надо было помнить пароли и явки.

И — главное — никто не умер.

Три «не». Три стены, отгородившие меня от той девочки, которой я была.

На тумбочке стоял кувшин. Глиняный, кривобокий, с выдавленным узором из ромашек. Не идеальный. Но мамин.

Я взяла его в ладони.

Глина ответила сухим теплом. Может быть, мне только казалось, что она до сих пор хранит прикосновения материнских пальцев. Может быть. Но я всё равно прижала его крепче.

Умылась.

Вода холодила кожу. Я растирала её по лицу, по шее, по ключицам, по затылку. Капли стекали за ворот рубахи, оставляя мокрые дорожки. Но тоска, застрявшая где-то между сердцем и горлом, не смывалась.

Я подошла к зеркалу вплотную.

Рама была тёмной, источенной жучком. Пахла старым лаком и временем. Из глубины стекла на меня смотрела девушка.

Или уже женщина?

Я не знала, где проходит граница.

Скулы заострились. Под глазами легли серые полумесяцы — следы бессонных ночей и решений, которые нельзя изменить. Я всматривалась в это лицо и искала ту Сильвану, что плела венки из одуванчиков и верила, будто мир устроен правильно.

Я искала её.

И не нашла.

Её там не было.

Как не было больше и Колтрейна — того, каким я его запомнила.

Я бросила взгляд в окно.

Осколки вывески пекарни ржавели у ворот. На соседнем подоконнике торчали прутики мёртвых цветов. По каменной кладке напротив ползли чёрные языки копоти. Следы пожара. Следы войны.

Когда-то здесь пахло хлебом. Печным дымом. Мятой, которую мать развешивала сушиться на кухне. Дети слуг носились у ручья, строили запруды из глины. Осенью к усадьбе съезжались телеги, и торговля шла до темноты. Жизнь кипела.

Теперь флигеля смотрели заколоченными окнами, как пустые глазницы.

А воздух звенел.

Натянутый, как тетива перед спуском.

Это была не тишина покоя, а тишина угрозы. Та, что предшествует выстрелу.

Я коснулась рамы кончиками пальцев.

Нежно. Почти с любовью. Но не к себе — к тому, что осталось за стеклом.

— Ты не та, — сказала я тихо. — И это не дом. Это эхо.

Слова упали в тишину и не разбились.

«Ты не та» — отказ от прежней себя. Признание того, что девочка с одуванчиками мертва.

«Это не дом» — отказ от места как источника опоры. Признание того, что стены больше не защищают.

«Это эхо» — самое горькое. Вокруг не было ни небытия, ни пустоты. Только эхо. Звук того, что уже отзвучало.

Но мысль эта была ясной.

И именно в этой ясности родилось что-то новое. В груди прорезалось чувство — холодное, острое, но своё. Не детская надежда. Взрослое упрямство.

Упрямство идти, даже если путь лежит по осколкам.

Я выдохнула.

Хватит воспоминаний.

Пора.

Я села на край кровати. Собрала волосы в тугую косу. Пальцы двигались сами — привычное движение, отработанное до автоматизма. Затылок натянуло, кожа на висках заныла — приятно, отрезвляюще.

Лента.

Выцветшая алая.

Лиина.

Я стянула косу и замерла на секунду, прижав ладонь к затылку.

— Готово! Теперь ты у меня привязанная, никуда не денешься!

Её голос ударил откуда-то изнутри. Короткая вспышка. Лиия стоит сзади, дёргает меня за пряди, хохочет. Я вижу её лицо — веснушки на переносице, прилипший к виску рыжий локон.

Тогда я фыркала и вырывалась.

Теперь носила эту нить добровольно.

То, что в детстве было игрой, стало ритуалом. То, что было оковами, стало связью.

Я поднялась.

Одевалась молча и быстро. Тело помнило каждое движение лучше головы. Автоматизм, выработанный неделями скитаний.

Холщовые штаны — мягкие, разношенные, не скрипящие на ходу. Ленная рубаха свободно скользнула по плечам, рукава до запястий. Кожаный пояс — два оборота — затянулся

на талии. Ножны с коротким клинком привычно легли на бедро. Плащ — бурый, в разводах, цвета прелой листвы — накинула поверх, капюшон пока отбросила на спину.

В такой одежде лес принимал меня за свою.

Шаг в сторону — и я тень среди теней.

В левый нагрудный карман легла карта. Тонкая бумага, помеченная уголками убежищ и безопасными бродами. Цель. Маршрут. Надежда, что где-то ещё есть безопасные места.

В правый карман — мешочек с травами. Ромашка — если накатит дурное. Подорожник — на случай пореза. Зверобой — чтоб не сломаться.

Я выпрямилась. Провела ладонями по груди, по поясу, проверила, всё ли на месте. Тело отозвалось привычной готовностью. Мышцы напряглись. Сердце стучало ровно.

Я была готова.

И всё же, прежде чем выйти, я ещё раз взглянула в зеркало.

Из темноты на меня смотрела незнакомка с зелёными, прозрачными, как лесное озеро, глазами.

Я ей почти поверила.

А тем временем — далеко, за лесом, за рекой, в другой части Колтрейна, где неон резал темноту, а стекло не знало трещин, — кто-то поставил бокал на стол. Абсент качнулся. Зелёный. Ядовитый.

И этот кто-то улыбнулся.

2

Тед возник на пороге бесшумно.

Не вошёл — просочился сквозь полумрак, как просачивается в комнату холодный утренний воздух, когда открывают дверь. Взлохмаченный. Тёплый со сна. В мятой льняной рубаше, с красной полосой на плече — следом от жёсткого матраса. Босые ступни на прохладных досках пола.

Замер в дверном проёме и не сразу посмотрел на меня.

Сначала — прислушался.

Я знала эту его привычку. Сначала слушать, потом говорить. Сначала впустить в себя звуки дома, убедиться, что всё на месте, что ничто не треснуло, не сломалось, не умерло за ночь. Старые часы в углу щёлкали, откусывая от тишины секунду за секундой. За окном ветер шуршал, перебирая листву. В камине угли вздыхали, оседая в золу.

Он слушал дом.

И, кажется, только потом позволил себе посмотреть на меня.

Ему двадцать пять. Высокий, с той собранной статью, которая идёт не от позы, а от привычки держать спину там, где другие гнутся. Русые волосы падали на лоб. Он машинально зажёб их пятернёй назад, и они встали торчком, смягчая жёсткую линию челюсти. Три дня без бритья. Светлая щетина на скулах.

Но глаза...

Светло-серые, почти металлические, когда он злился или боялся. Сейчас они смотрели иначе.

Я услышала его дыхание раньше, чем обернулась. И оборачиваться не пришлось — я и так знала, что это он.

Просто кивнула: заходи.

В этом кивке уместилось всё, на что у нас не было времени. «Ты — мой». «Держись». «Я вернусь». Три фразы, которые не будут произнесены вслух. Но он услышал.

Тед шагнул в комнату.

Медленно. Слишком медленно для человека, который только что поднялся с постели. Он не приближался ко мне. Он приближался к тому, чтобы начать разговор. А это куда труднее.

Остановился в шаге.

Не тронул. Не схватил за плечи. Сохранил дистанцию, которую мы оба держали как клятву: уважать путь друг друга, даже если путь уводит прочь.

— Ты уже... — начал он.

И осёкся.

Губы сжались. Слово «готова» встало поперёк горла. Он выдохнул и произнёс глухо, с хрипотцой:

— Уже выходишь.

Это не было вопросом. Констатация. Горечь, облечённая в форму утверждения.

Я затягивала шнурок на запястье. Пальцы не слушались. Я дёрнула сильнее, чем нужно, и узел вышел тугим, почти злым.

— Нужно успеть до полудня. В городе ждут. Лекарств нет, а дети...

Я не договорила.

Он и не нуждался в окончаниях. Он знал, что я делаю. И знал, почему я должна идти.

— Отец знает? — спросил он тихо.

Вот оно. Вопрос, который он не задавал вслух до последнего.

— Знает, что иду. Не знает — куда.

Тед закрыл глаза. На секунду. Долгую, как вдох перед прыжком.

— Я хотел бы с тобой, — сказал он. Почти про себя.

Он не просил. Не требовал. Просто положил передо мной эту правду, как кладут ключ на стол: вот, решай.

Я ответила мягко, но без зазора для спора:

— Нельзя. Ты нужен здесь. Кто-то должен ждать. Кто-то должен...

Мой взгляд метнулся по комнате.

Старое платье на спинке стула. Ещё пахнущее лавандой из нашего сада. Книга на подоконнике — раскрытая, с закладками из сухих цветов, собранных прошлым летом. Эти вещи тоже требовали защиты. Не меньше, чем те, кто ждал меня за воротами.

Я попыталась снять тяжесть. Улыбка вышла короткой, кривоватой:

— Вдвоём больше шансов нарваться на патруль. Особенно после того, как Инквизиция перетряхнула дом кузнеца. Слышал?

Он слышал. Кивнул, признавая. Взгляд снова упал на запястье.

На кожаный шнурок с кусочком янтаря.

Я сплела его сама. Давно. Ещё девчонкой, с тонкими, неловкими пальцами. Он не снимал его никогда. И сейчас его пальцы сами тянулись к талисману, оглаживали камень, ища в нём опору. Или, может быть, ответ на вопрос, который он ещё не задал.

— Тогда хотя бы пообещай, что будешь есть, — сказал он.

В голосе прорезалась та самая забота, которую он обычно прятал за делами и молчанием.

— Ты забываешь. Забываешь пить. Забываешь остановиться.

Я уже взялась за дверную ручку. Холодное железо обожгло ладонь.

— Обещаю. Буду жевать хлеб на ходу. Как всегда.

— Сильвана!

Я остановилась на пороге.

Его голос ударил в спину — не громко, но так, что не обернуться было нельзя.

Я обернулась.

Свет из окна полоснул по лицу, выхватывая выбившуюся прядь — белую на фоне тёмной рамы. И в этот миг я была не подпольщица. Не боец. Просто девушка, стоящая на пороге и не знающая, вернётся ли.

Тед преодолел разделявший нас шаг.

Он не схватил меня. Не стиснул. Он прижался лбом к моему лбу.

Я почувствовала его дыхание. Сбивчивое. Тёплое. Почувствовала, как колотится его сердце. Или, может быть, это моё колотилось, а он просто был слишком близко, чтобы отличить.

Мы стояли так — лоб в лоб, глаза в глаза.

Его руки висели вдоль тела. Мои — сжимали край плаща. Наша любовь не умела кричать. Она говорила тихо — через касания и молчание, через обещания, данные не губами, а чем-то глубже.

И вот здесь — в этой тишине, в этом тепле, в этой правильности — со мной случилось то, чего я не поняла.

Сначала пришло чужое.

Тело отозвалось.

Не на Теда. Не на его близость. На что-то другое. На то, чего в комнате не было.

Внизу живота разлилась тяжесть. Тёплая, густая, тянущая. Я почувствовала, как соски напряглись под рубашкой — резко, болезненно, без причины. Между бёдер стало влажно. Я не поняла, что это. Я никогда не чувствовала такого. Не с Тедом. Не с собой. Тело знало что-то, чего не знала я, — и оно отзывалось на то, чего не было в комнате.

Я застыла.

Стыд ударил в лицо — жаром, до корней волос.

Что это? Почему сейчас? Почему здесь — с ним, с Тедом, который держит меня за плечи и говорит о любви?

Я не знала.

И именно это пугало больше всего.

Где-то на периферии сознания мелькнуло видение.

Чужое. Непрошеное.

Металл. Холод, который не был воздухом. Прикосновение к коже, которое не должно было быть приятным. Но по позвоночнику прокатилась дрожь — и не от страха.

Чей-то выдох. На затылке. Близко. Так близко, что волоски встали дыбом.

Запах. Табак. Что-то травяное, горькое. Абсент.

Я вздрогнула.

И прогнала видение.

Но тело не отпустило. Ещё секунду. Две. Три. Я стояла в объятиях Теда, чувствуя, как что-то внутри меня медленно, неохотно закрывается обратно. Как зверь, которого спугнули.

Тогда я верила: настоящие чувства должны быть именно такими, как у нас с Тедом. Чистыми. Простыми. Взаимными.

Тогда.

— Я люблю тебя, — выдохнул Тед.

Без пафоса. Без надрыва. Просто сказал. И от этой простоты в комнате стало тесно — словно слова заняли собой весь воздух.

— Больше всего на свете.

В глазах защипало.

Я не позволила себе моргнуть. Слезы — это для тех, кто может позволить себе слабость. А мне сейчас нужна была сила. Дойти. Вернуться. Не расклеиться.

— И я тебя. Всегда.

Сказала — и услышала, как голос дрогнул на последнем слог.

Не от любви.

От стыда.

Потому что где-то глубоко, под сердцем, там, куда я сама боялась заглядывать, только что шевельнулось другое.

Не имеющее отношения ни к Теду, ни к этому дому, ни к тихой правильности наших чувств.

Не мысль. Даже не желание. Скорее — предчувствие. Смутное, как шум далёкой реки, которую ещё не видишь, но уже знаешь: она там. И течение у неё быстрое.

Оно не отменяло моей любви. Не делало её ложью. Просто рядом с ней — или под ней — зрело что-то иное. Безымянное. Острое. Нетерпеливое.

Тьма ли это? Голод ли? Или просто усталость, научившая меня чувствовать опасность раньше, чем её услышат другие?

Я не знала.

И именно поэтому прихлопнула это движение прежде, чем оно превратилось в мысль.

Уже на пороге я обернулась — жадно, быстро, забирая с собой его лицо.

Скулы. Щетину. Серые глаза.

Луч скользнул по янтарю на его запястье, и камень вспыхнул — рыжий, тёплый, живой.

Наша связь.

Пока ещё наша.

Дверь закрылась.

За ней — тишина.

А во мне — дрожь, которой я не понимала. И жар, которого не хотела. Который не должен был остаться.

Но остался.

З

Тело помнило дорогу лучше меня.

Шаг — лёгкий спуск. Два — ровное место. Три — незаметный подъём. Я не смотрела под ноги. Не нужно. Десятки таких переходов впечатались в мышцы, в сухожилия, в кости. Ноги сами находили нужные камни, обходили предательски скользкую россыпь щебня, ныряли в узкие просветы между корнями.

Утренний туман цеплялся за нижние ветки. Солнце пробивало листву косыми столбами, и роса горела так, будто кто-то рассыпал битое стекло.

Я не замечала этой красоты.

Мысли тёрлись внутри, как камешек в сапоге, — не вытряхнешь, не остановишься. Мешочек с травами на поясе качался в такт шагам. В голове — цифры, адреса, имена. В старой части города дети горели в лихорадке: грязная вода, антисанитария, отсутствие нормальных лекарств. У меня — несколько горстей сушёной мяты и ромашки. Если сегодня не раздобуду хинин, кто-то из них не переживёт эту неделю.

Под рубахой, на груди, у самого сердца — узел.

Простая верёвка. Потемневшая от пота и времени. Я носила её два года. Отец завязал её сам, в ту ночь, когда уходил в лес. «Пусть этот узел будет памятью. Пусть свяжет тебя с тем, чем был и однажды снова будет Колтрейн».

С тех пор я развязывала и завязывала её десятки раз. Каждый раз — как молитва. Как разговор с человеком, которого нет рядом.

Иногда, по ночам, я просыпалась от того, что верёвка холодела. Резко. Как металл на морозе. Я не знала, что это значит. Отец не объяснял. Но каждый раз после этого в старой части появлялись новые листовки — с призывами, с датами, с именами. И я понимала: он жив. Он работает. Он помнит.

Я сжала узел сквозь ткань.

Жив.

Пока — жив.

Память не спрашивает, готова ли ты.

Она врывается.

Отец стоял на крепостной стене.

Высокий. С сединой на висках. Ветер выдирал плащ из-под застёжки, и ткань хлопала, как крыло подбитой птицы. Закат за его спиной был багровым, густым, будто небо ранили, и оно истекало светом.

Он говорил ровно. Без пафоса. И от этого было страшнее всякого крика.

— Наша земля держится на трёх вещах: честь, память, верность. Пока мы помним — мы живы.

Мне тогда было семнадцать.

Я кивала, не понимая и половины.

Теперь я понимала каждую букву.

Отец сжал моё плечо. Пальцы впились так, что потом остался синяк. Я помнила этот синяк. Помнила, как он наливался сиреневым, как болел, когда я поднимала руку, как исчезал — медленно, неохотно, оставляя после себя желтизну.

— Ты — наша память, — сказал он.

Тогда это звучало как похвала.

Теперь — как приговор.

А потом пришёл тот день.

Первый день вторжения я помню до мелочей.

Утро было ярким, почти праздничным. Пахло цветущей вишней. Дети носились с воздушными змеями, и змеи плясали в небе — жёлтые, красные, с длинными лентами хвостов. Пекарь выставлял горячие булочки на деревянные лотки. Я шла к реке за полевыми цветами для венка.

И тут земля вздрогнула.

Глухой удар.

Будто кулаком в грудь мира.

А потом — грохот.

Подкопы под городские ворота рванули так, что посуда попадала с полок, а люди — на колени. Я видела, как старик, сидевший на крыльце, вдруг оказался на земле, раскинув руки, и лицо у него было такое, будто он видит конец света.

Запах гари полз в горло. Едкий. Липкий. Он въелся в волосы, в одежду, в кожу. Я потом неделю не могла от него отмыться. Даже во сне чувствовала его — горький, как пепел.

Крики. Ржание коней. Лязг оружия.

Всё смешалось в один сплошной вой.

Король Лагергт восседал на вороном жеребце.

Я видела его мельком — через дым, через бегущих людей, через ужас, который размывал картинку. Он смотрел на происходящее с тем же выражением, с каким разглядывают скучную пьесу. Ни злости. Ни торжества. Только холод.

Старики шептали, сжимая иконы:

— Это не война. Это истребление.

А потом был подвал.

Мать прижимала меня и Лию к себе. Над головой топотали чужие сапоги. Грохотала перевернутая мебель. Смех. Хриплый, чужой, страшный.

Мать шептала молитвы.

Она знала их наизусть — старые, бабушкины, с певучими окончаниями. Мы ревели в голос, а она всё шептала, и её голос тонул в нашем плаче, как тонет в бурю слабый огонёк.

Я не понимала, почему небо больше не синее.

А потом пришёл отец.

Вечером первого дня. Израненный. Лицо в засохшей крови, бровь рассечена, рука перетянута какой-то тряпкой. Но взгляд — прежний. Тот самый, с которым он смотрел со стены.

Он собрал тех, кто не согнул спину перед завоевателем.
Безлунная ночь. Они уходили в лес — тени среди теней.

Перед тем как исчезнуть, отец обнял меня. Его руки — всегда каменные, всегда спокойные — дрожали. Я почувствовала, как они сжимаются на моей спине, как пальцы цепляются за ткань, будто он боялся, что я рассыплюсь.

— Ты — наша память. Живи, чтобы рассказать. Чтобы однажды мы вернулись.

Завещание.

Не просьба.

Он ушёл в темноту, и тьма сомкнулась за ним, как вода.

Вестей не было.

Ни письма. Ни знака. Ни слуха.

Иногда я ловила себя на мысли: наверное, мёртв. И тут же отбрасывала её — потому что если мёртв, то у меня не осталось никого.

Мать и Лию лихорадка забрала в первые же месяцы.

Я хоронила их сама.

А потом пришли плакаты.

Они появились внезапно. На стенах домов, на столбах, на заборах — везде. Лицо отца смотрело на меня с сотен стен. Седые волосы. Усталое, но гордое лицо. Прямая осанка даже на рисунке. Художник, рисовавший портрет, был талантлив — он поймал то, что нельзя поймать: непреклонность.

«РАЗЫСКИВАЕТСЯ. ДЖЕЙКОБ ЭТВУД. ГЛАВАРЬ МЯТЕЖНИКОВ. ОСОБО ОПАСЕН. ЗА СВЕДЕНИЯ — НАГРАДА».

Я знала эти слова наизусть. Каждую букву. Каждый завиток на портрете. Я проходила мимо них каждый день — и каждый раз отводила взгляд. Потому что смотреть на его лицо, зная, что он где-то там, живой, но недостижимый, — это как глотать стекло.

Но иногда — не отводила.

Иногда я останавливалась. Смотрела. Долго. Пока глаза не защипало. И шептала — одними губами, чтобы никто не услышал:

— Жив. Пока — жив.

Так я шла по лесу — а мысли несли меня дальше, через годы, к тому, чем стал мой дом.

Теперь Колтрейн — два города на одном перекрёстке.

Перекрёсток этот — лакомый кусок для Леброна, огромной империи, поглотившей все Южные Земли. Через Колтрейн идут пряности с юга, руда с гор, шёлк с запада. Кто контролирует его — держит половину континента за горло.

Леброн пришёл с юга — и принёс с собой не только мечи.

Он принёс свою веру.

Языческую. Чувственную. Порочную — так говорили старики, крестьяне. Там не молятся в тишине, не прячут тело под тканью, не стыдятся желания. Там порок возведён в абсолют. Там власть и наслаждение — одно. Там царит не бог, а плоть.

Я слышала рассказы. Шёпотом, в подвалах, у коптящих свечей.

О том, что правители Леброна — самые развратные короли, когда-либо правившие в этом мире. О том, как в полнолуние жители Леброна жгут костры, и танцуют вокруг них обнажёнными, и отдают тела богам — или друг другу. О том, что там нет стыда, нет греха, нет вины. Только желание. Только власть. Только ты — и то, что ты готов взять.

Тогда старики плевались. Тогда женщины отводили глаза. Тогда мужчины сжимали кулаки.

А я слушала — и где-то в глубине, под сердцем, что-то отзывалось. Не пониманием. Не одобрением. Чем-то тёмным, чего я сама в себе боялась.

Я гнала это. Гнала молитвой. Гнала памятью о матери.

Но оно оставалось.

Их технологии казались нам дьявольскими.

Железные звери без лошадей — они рычали и неслись по асфальту, и старики крестились, глядя на них. Стекланные глаза на столбах — они вспыхивали по ночам, заливая улицы мёртвым светом, и в этом свете не было ни тепла, ни тени. Дьявольские огни — неоновые, ядовитые, зелёные и красные, — они горели в новой части, и от их блеска болели глаза.

Говорили, что в Леброне есть машины, которые слышат шёпот через стены. Есть зеркала, которые помнят лица. Есть двери, которые открываются от прикосновения только одной ладони — и не открываются ни для кого другого.

Это казалось невозможным. Колдовским. Греховным.

Но это было.

И граница прошла по реке.

Широкая, мутная, — она отражала две реальности.

На одном берегу — тусклые огни и гнилые крыши.

На другом — неон и стекло.

Старая часть — лабиринт улочек, мощённых булыжником, который раскрошился и зарос мхом.

Дома — не дома, а остовы. Покосившиеся. С прогнившими стропилами. С выбитыми окнами, заколоченными досками, которые уже сами еле держатся. Стены в трещинах. Сквозь штукатурку торчат гнилые брёвна, как рёбра умирающего зверя.

Воздух здесь тяжёлый. Сырость. Тлен. Запах сырых углей и гниющих отходов. Он оседает на языке, липнет к нёбу. Его не выплюнуть.

Днём улицы пусты. Изредка мелькнёт согнутая фигура в лохмотьях — тень среди теней.

Вечером зажигаются редкие фонари. Тусклые. Дрожащие. Они не разгоняют темноту, а лишь подчёркивают её.

В домах — холод. Дров нет. Уголь — роскошь.

Семьи ютятся в одной комнате. Спят на соломе. Укрываются ветошью. Дети с впалыми щеками и пустыми глазами бродят в поисках съестного. Старики умирают молча: лекарств нет, врачей почти не осталось.

Те, кто ещё может работать, нанимаются в новую часть — за гроши, за унижение, за право вернуться вечером и не смотреть в голодные глаза домашних.

А на том берегу — другая вселенная.

Широкие проспекты. Идеальный асфальт. Свет — яркий, заливающий всё, не оставляющий теням ни шанса. Здания с зеркальными фасадами. На первых этажах — бутики: бриллианты за пуленепробиваемым стеклом, платья, расшитые блёстками, меха на манекенах.

По дорогам скользят автомобили. Хромированные. Блестящие. Они отражают огни казино и ночных клубов, и кажется, что по улицам катятся жидкие зеркала.

Вечером улицы заполняются людьми в элегантных нарядах. Мужчины в костюмах с иголочки. Женщины в платьях, сверкающих, как рыба чешуя. Из дверей клубов бьёт музыка, смех, звон бокалов.

В казино крутятся рулетки. За столами сидят те, кто может проиграть месячную зарплату за вечер — и не заметить.

Неоновые русалки извиваются над входом в «Глубинные соблазны», обещая забвение. Рядом — витрина «Лунного отблеска»: бриллианты подмигивают сквозь бронированное стекло. Лазерные лучи пронзают дым танцполов. Диджеи задают ритм. Толпа движется как единое существо.

А в укромных углах — за закрытыми дверями «Шепчущих садов» — продают иллюзию свободы. В подвалах «Глубинного прилива» на кон ставят не деньги. Годы жизни.

Жители новой части — дельцы, вовремя переметнувшиеся к новой власти. Чиновники на тёплых местах. Аристократия из Леброна.

Для них деньги — не средство. Воздух.

На старую часть они смотрят свысока — если вообще вспоминают о ней. Пережиток. Досадное недоразумение, которое скоро рассосётся само.

Река стала не просто водой.

Пропастью.

Иногда по ночам с нового берега доносятся фейерверки. Музыка. Смех. Хлопки петард. Они эхом катятся над старой частью, напоминая: вот она, другая жизнь.

Только мост почти разрушен.

А на единственном переходе охрана проверяет документы, задерживая взгляд на каждом шве, на каждой заплате.

Нищим вход закрыт.

Я шла по лесу.

Лес не знал границ. Лес не знал, где кончается старая часть и начинается новая. Лес просто был. Древний, мокрый, чужой. Он принимал меня — но не как свою. Как тень. Как временную гостью.

Я сжала узел сквозь ткань.

Жив.

Пока — жив.

В старой части шепчутся тише и оглядываются на тени у стен.

В новой — усилили патрули.

Колтрейн балансирует на лезвии.

Я шла по этому лезвию.

И под рубахой, на груди, у самого сердца, узел холодел.

4

Тропа виляла между древними дубами.

Их узловатые корни выпирали из земли, как вены на руках у стариков, и то и дело норовили ухватить за сапог. Один такой корень добился своего. Я запнулась, взмахнула руками, чудом удержала равновесие. Сквозь зубы вырвалось короткое ругательство — резкое, как выдох боли.

Присела на корточки.

Замерла.

Слушала.

Тишина.

Где-то слева, в глубине леса, прокричала птица. Три ноты. Условный сигнал. Свои.

Я ответила свистом — резким, коротким, как щелчок хлыста, — и поднялась. На ходу отряхнула ладони. Тело снова пришло в движение. Но мысли уже свернули туда, куда я их не звала.

В Рокуэлле — дворце убитого правителя, вырезанного вместе с семьёй, — теперь хозяйничал сын Лагерта.

Молодой.

Жестокий.

Ему был двадцать один год. Всего двадцать один — а за плечами уже столько, что старики бледнели, услышав его имя.

О нём шептали такое, от чего ночью просыпаешься в холодном поту. Его высочество Диамант, герцог Валентайн. Повелитель Колтрейна. Глава ордена Священной Инквизиции.

Я никогда его не видела.

Но в каждом рассказе, в каждом пересказе с чужих слов он выходил одним и тем же: лицо — будто вырезанное из мрамора, безупречное до дрожи. Глаза — холодные, прозрачные, как вода в горном озере, где никто не купается, потому что дна не видно. Улыбка — тонкая, почти незаметная, — не обещала ничего хорошего, но люди всё равно опускали взгляд первыми.

Не из почтения.

Из инстинкта.

От такой красоты хочется отшатнуться, как от лезвия.

Патруль прошёл здесь недавно.

Я заметила примятую траву. Потом — серый лоскут на ветке. Такие носили солдаты Леброна.

Сердце ударило в рёбра.

Я обошла это место по дуге, вжимаясь плечом в шершавые стволы. Движения стали осторожными, выверенными — охотник, почуявший чужое присутствие. Ноздри раздувались, ловя запахи. Ни дыма. Ни пота. Ни металла. Ушли.

Но мысли не отпустили.

Они снова вернулись к нему.

Слухи о Диаманте ползли по землям, как змеиный выводок: не остановишь, не прихлопнешь.

Казнит за косой взгляд. Задержался глазами на долю секунды дольше, чем дозволено, — и утром твоё имя исчезает из списков живых.

Карают за слово. Даже за шёпот в тёмном углу.

Инквизиторы приходят ночью, и ветер доносит из подвалов Рокуэлла приглушённые, нечеловеческие звуки.

Но говорили не только о казнях.

Говорили о другом. О том, что в его покоях творится то, о чём не рассказывают детям. О том, что он держит женщин — и не одну. О том, что они входят в его спальню — и не выходят. Или выходят — но другими. С пустыми глазами. С улыбкой, которая не сходит с лица, даже когда они плачут.

Говорили, что он дарит их. Приближённым. Гостям. Тем, кто заслужил. Или — тем, кого нужно унижить.

Говорили, что он заставляет смотреть. Что в его покоях есть зеркала — на потолке, на стенах, — и он не позволяет отводить взгляд. Ни от себя. Ни от других. Ни от того, что он делает.

Говорили, что он не знает слова «нет». Потому что для него его не существует.

И — самое страшное — говорили, что женщины возвращаются. Сами. Добровольно. Что они просят ещё. Что они не могут без него. Что он ломает их так, что они начинают любить свой слом.

Я слушала это — в подвалах, у костров, в очередях за хлебом.

И — вот что было странно.

Я запоминала.

Не имена. Не даты. Не лица. Детали. Зеркала на потолке. Улыбка, которая не сходит с лица, даже когда плачут. Женщины, которые возвращаются. Сами.

Я не понимала, почему это остаётся во мне. Почему я перебираю это в голове — снова и снова, как чётки. Почему слухи о его жестокости не отпугивают меня. А тянут. Тихо. Настойчиво. Как течение под водой.

Это не был страх.

Это не был гнев.

Это было любопытство. Тёмное. Липкое. Чужое.

Я хотела знать. Что происходит в этих покаях. Что он делает с ними. Почему они возвращаются. Что там — за зеркалами, за закрытыми дверями, за молчанием, которое кричит громче любых звуков.

Я ненавидела себя за это.

Потому что я — та, что хоронила мать и сестру. Та, что поклялась мстить. Та, что помнит лица и имена. Я не имела права хотеть знать это.

Но я хотела.

И это пугало меня сильнее, чем казни. Сильнее, чем инквизиторы. Сильнее, чем слухи о подвалах.

Потому что это было во мне.

А однажды я увидела его приближённых.

Пару раз. Мельком. Они двигались бесшумно, говорили редко, и глаза у них были пустые. Кукольные.

И от этого становилось ещё страшнее: никто не мог сказать наверняка, где заканчивались слухи и начиналась правда.

Одни клялись, что в жилах Диаманта течёт не кровь, а холодный огонь. Другие — что он не человек вовсе. Третьи плевали через плечо и крестились, хотя богов в Колтрейне не осталось.

Но одно я знала твёрдо: пока он дышит — Колтрейн не дом.

Колтрейн — ловушка.

Красота здесь — приманка. Тишина — предвестник беды.

Я сжала кулаки.

Ненависть отозвалась в груди тугим холодным узлом. Она не жгла. Не мутила рассудок. Это была ненависть-память. Выкованная из любви к земле, которую у нас вырвали с корнем.

Она держала меня вертикально каждое утро. Она толкала в спину, когда страх навалился и хотелось лечь лицом во мху и не вставать.

В ушах снова звучал голос отца:

— Ты — наша память.

Так ясно, будто он шёл рядом.

И я помнила.

Лица.

Имена, которые уже начали стираться.

Названия сожжённых деревень — каждое как шрам.

Последние слова тех, кто не успел уйти:

— Не дай им победить.

— Сохраните дом.

— Пусть знают, что мы были.

Запах крови на брусчатке площади.

Даже ветер не мог выдуть его до конца. Иногда он возвращался — резкий, железный, тошнотворный. И тогда я останавливалась, прижимала ладонь ко рту и ждала, пока желудок перестанет сжиматься.

Тропа пошла под уклон.

За деревьями уже мелькали крыши старой части города. Хрупкие. Косые. Будто сложенные из щепок.

Но в окнах теплился свет.

Там люди передавали друг другу хлеб. Дети учили буквы по обрывкам книг. Старики рассказывали истории о былом величии — и ввали, наверное, приукрашивая. Но это не важно.

Важно — что рассказывали.

Порыв ветра сорвал с ветки жёлтый лист. Закружил в воздухе.

Я поймала его на лету.

Рваный по краям. Похожий на клочок старой карты. Я сунула его за пазуху. Не знала зачем. Может, просто чтобы сохранить хоть что-то.

— Вернём, — сказала я тихо. Не разбирая, к кому обращаюсь: к ветру, к отцу, к земле под ногами. — Восстановим. Вспомним.

Поправила мешочек с лекарствами.

И шагнула из леса в долину.

Там ждали не только еду и снадобья.

Надежду.

Пока во мне горела память, в них будет тлеть вера. А с неё и начинается пожар.

Но где-то под этой верой, под памятью, под ненавистью — осталось то, что я не могла назвать.

Любопытство.

Странное, ненормальное, почти болезненное.

И оно не уходило.

Диамант

1

В комнате стоял густой, спёртый полумрак.

Бархатные портьеры наглухо отсекали дневной свет, не пропуская ни единого луча. Воздух сложился, как испорченный парфюм: вишнёвый табак, травянистая горечь абсента, а под ними — сладковатый, животный запах разгорячённой кожи. И ещё — влажный, тяжёлый дух женского возбуждения. Он плыл в воздухе волнами, лип к небу, оседал на языке.

Время здесь не текло. Оно вязло, тянулось, как остывающая карамель.

Я сидел в кресле, лениво вращая бокал. Абсент вспыхивал в отблесках огня — зелёный, ядовитый. Полено в камине треснуло, как щелчок кнута.

Напротив, в кресле, сидела она.

Ванесса.

Женщина, созданная для таких покоев. Порочная, гибкая. Шёлковый пеньюар стекал с плеч, ничего не скрывая — только обещая. Грудь просвечивала сквозь ткань, соски напряжены — тёмные на бледной, почти синеватой в отсветах пламени коже. Бёдра слегка разведены. Я видел, как она сжимает их, как по внутренней стороне бедра ползёт тонкая дорожка влаги.

Она не отводила глаз.

— Ты сегодня особенно хороша, — произнёс я.

Это не было комплиментом. Сухая констатация факта. Без тепла.

Она улыбнулась. Широко. Голодно. Провела языком по нижней губе, оставляя на ней влажный след.

— Я всегда хороша, — ответила она. Голос низкий, с хрипотцой. — Просто ты редко снисходишь до того, чтобы это заметить.

Она поднялась с кресла сама.

Не ждала приказа. Подошла, покачивая бёдрами. Опустилась на колени между моих разведённых ног. Пальцы с кроваво-красным лаком легли на мои бёдра, скользнули выше — к поясу, к застёжке.

— Можно? — спросила она, глядя снизу вверх.

В глазах — не мольба. Азарт. Голод. Готовность.

Я кивнул.

Она расстегнула мои штаны, достала член. Обхватила ладонью у основания, провела языком по стволу — медленно, от корня до головки. Слюна текла обильно, горячо. Она брала глубоко, без рвотного рефлекса, работая и рукой, и ртом. Голова двигалась ритмично, волосы рассыпались по моим бёдрам.

Я смотрел сверху.

Возбуждение нарастало. Но какое-то далёкое, почти чужое. Как будто между мной и моим телом была прослойка льда. Я мог бы кончить ей в рот. Мог бы схватить за волосы и насадить глубже. Мог бы.

Но мне было скучно.

Она почувствовала. Подняла голову, выпустила член изо рта. По подбородку стекала слюна, губы покраснелись, распухли.

— Чего ты хочешь? — спросила она.

— Чтобы ты перестала спрашивать.

Она улыбнулась. Дерзко. Вытерла рот тыльной стороной ладони.

— Тогда возьми меня так, как умеешь. Без жалости.

Я взял её за горло.

Не сильно. Достаточно, чтобы она почувствовала пальцы на пульсе. Большой палец лёг на ямку под подбородком, чуть выше — на сонную артерию. Я чувствовал, как под кожей бьётся кровь. Часто. Быстро. Она хотела этого.

— Встань, — сказал я.

Она поднялась.

Я развернул её спиной к себе, толкнул к креслу. Она упёрлась ладонями в подлокотники, прогнулась в пояснице. Пеньюар задрался, открывая задницу. Я сдёрнул его одним движением. Ткань треснула по шву.

Она была мокрая. Сильно. Влага блестела на внутренней стороне бёдер, стекала к коленям. Я видел, как сжимается её вход — ритмично, голодно, в ожидании.

Я провёл ладонью по её спине, по позвоночнику. Кожа горела. Мышцы дрожали.

— Тебя так заводит, когда тебя имеют, как шлюху, — сказал я.

— Да, — выдохнула она. — Давай.

Я не вошёл.

Не сейчас.

Вместо этого подошёл к резному столику в углу.

На нём лежали инструменты. Плетёная плетё с кожаными хвостами — мягкими и жестокими. Наручники. Холодная сталь в серебряной оправе блестела в свете огня, как оскал зверя.

Я взял плетё. Рукоять легла в ладонь привычно — тёплое дерево помнило меня.

Она стояла спиной. Не видела — но чувствовала. Я видел, как напряглась её спина, как по лопаткам пробежала дрожь. Она знала, что будет дальше. И ждала.

Я подошёл сзади. Кончиком плети провёл по её ягодицам. Едва касаясь. Потом — вдоль позвоночника, к шее.

— Руки за спину, — сказал я.

Она повиновалась сразу. Скрестила запястья на пояснице.

Щелчок замка. Сухой. Окончательный.

Холод металла обхватил её руки.

Она втянула воздух сквозь зубы и выгнулась сильнее, подставляя спину.

— Проси, — сказал я.

— Ударь меня, — ответила она без паузы. — Так, чтобы осталось.

Я ударил.

Плетё рассекла воздух и опустилась на ягодицы. Кожа вспыхнула красной полосой. Она вскрикнула — коротко, рвано. Но тут же выдохнула:

— Ещё.

Я ударил снова. Ниже. По задней стороне бёдер.

Она застонала. Ноги подогнулись, но она удержалась, вцепившись скованными руками в воздух.

— Ещё, — повторила она. Голос дрожал, но в нём не было мольбы. Только требование. Я бил размеренно. Без злости. Без азарта. Плеть ходила по кругу: ягодицы, бёдра, верхняя часть спины, снова ягодицы. Кожа розовела, потом краснела. Кое-где выступили капельки крови.

Она уже не кричала. Только всхлипывала и двигала бёдрами в такт ударам. Влага текла по внутренней стороне бёдер, смешиваясь с каплями пота и крови.

— Хорошая сука, — сказал я.

— Твоя сука, — отозвалась она, задыхаясь.

Я бросил плеть на ковёр.

Взял её за бёдра. Вошёл сзади. Без подготовки. Резко. Она вскрикнула — но не от боли. От того, что наконец-то получила.

Ритм был жёстким. Быстрым. Мой таз бил по её истерзанному ягодицам, кожа шлёпала о кожу — влажно, громко. Она стонала в голос, не сдерживаясь. Скованные руки беспомощно дёргались за спиной.

Я держал её за талию. Потом схватил за волосы, намотал на кулак, дёрнул голову назад. Она захрипела, прогнулась сильнее.

— Ещё, — прохрипела она. — Пожалуйста, ещё.

Я ускорился.

Под конец я вытащил и кончил ей на поясницу. Густая, тёплая сперма потекла по коже, смешиваясь с потом и выступившей кровью. Она замерла, тяжело дыша. По бёдрам всё ещё стекала её собственная влага — вперемишку с моей.

Я отступил.

Она осталась стоять, упёршись в кресло. Голая. Потная. Со скованными за спиной руками. С истерзанной плетью задницей и залитыми спермой ягодицами.

Я застегнул штаны и подошёл к окну.

Достал сигарету. Прикурил от пламени свечи. Огонёк дрожал, выхватывая мои черты.

Дым тянулся к потолку, сплетаясь в ленивые узоры.

За спиной шуршала ткань. Она поднималась.

— Я не снимал наручники, — сказал я, не оборачиваясь.

Шуршание стихло.

Пауза.

— Подойди.

Она подошла. Босиком по ковру. Встала рядом, всё ещё со скованными руками.

Я снял наручники. Бросил их на подоконник. Они звякнули о камень.

— Можешь убираться, — сказал я.

Она не вздрогнула. Только тихо усмехнулась.

— Ты сегодня был почти живым, — сказала она. — Почти.

Босые ступни по камню.

Щелчок замка.

Я остался у окна.

Сигарета догорала. Пепел сыпался на подоконник, оставляя серые метки на холодном камне.

Горький привкус на губах — табак, абсент, что-то ещё безымянное.

А за окном матово светились снежные пики. Вечные. Неприступные. Мёртвые.

Но даже они уступали тому, что жило — или не жило — у меня в груди.

Тому, что давно не жило.

2

Я вошёл в центральный зал Рокуэлла.

Здесь было холодно, несмотря на горящий камин.

Свет из высоких стрельчатых окон падал на каменный пол бледными, размытыми прямоугольниками. День снаружи угасал, но внутри время всегда стояло на грани сумерек.

Я не шагнул — скользнул в зал. Тяжёлые дубовые створки за моей спиной сомкнулись с глухим, сытым звуком, отрезая далёкое эхо коридоров.

Перед тем как войти, по пути, не глядя, коснулся панели на стене.

Плазма вспыхнула. Чёрный экран ожил — и по залу ударил звук.

Гитарный рифф. Тяжёлый. Мрачный. Симфонический. Dimmu Borgir. «The Serpentine Offering». Клип шёл по одному из лебронских каналов — норвежская группа, которую в новой части города обожали за «правильную» эстетику.

На экране — чёрно-белые кадры. Оркестр. Хор. Человек в гриме, с чёрными глазами, стоял в центре — и пел о змее, о предательстве, о том, что спасение приходит через тьму.

В кресле у огня, закинув ногу на ногу, сидел Роланд.

Массивный. Широкоплечий. Бычья шея. Руки, которые помнили вес любого оружия. Светлые волосы зализаны назад, открывая высокий лоб. На щеке — старый шрам, белая молния через загар. Этот шрам придавал ему особый шарм человека, который не раз заглядывал в глаза смерти и всякий раз ухмылялся в ответ.

Глаза — ярко-синие, живые — искрились азартом. Тем особым, голодным огоньком, какой бывает у гончей за секунду до того, как спустят свору.

Ему двадцать четыре. Старше меня на три года. Но в нашей дружбе возраст никогда ничего не решал.

Мы выросли вместе.

Он — сын герцога Вейла, одного из ближайших советников отца. Я — сын короля. Но в детстве это не имело значения. Мы дрались на деревянных мечах в дворцовых коридорах, воровали вино из отцовских погребов, лазали по крепостным стенам, а несколько раз он спасал мне жизнь. Он — единственный, кому я позволял говорить.

Не потому, что он был моим слугой. Потому что он был другом.

Роланд поднялся. Движение плавное, пережат мышц под тканью — хищник, который пока не бросается, но уже изготовился.

Он кивнул на экран.

— Опять твоя секта? — спросил он. — Ты бы хоть иногда что-то повеселее включал. Там, в новой части, есть клубы с нормальной музыкой. Помнишь, мы были в «Глубинном приливе»? Вот где жизнь. А это...

Он махнул рукой на экран, где Шаграт выводил что-то на древнем норвежском.

— Это похоронный марш для девственников.

— Тебе не понять, — отозвался я, опускаясь в соседнее кресло. Провёл пальцем по металлическому подлокотнику — холод обжёг кожу. — Это искусство.

— Искусство — это когда баба стонет под тобой. А тут — мужик в гриме кричит в микрофон. — Роланд усмехнулся. — Но ты у нас эстет. Я забыл.

Я не ответил.

На экране хор подхватил припев. Голоса звучали так, будто их записывали в аду.

Роланд поморщился, но не выключил. Он знал, что я любил эту группу. Знал, что я включал её, когда думал. Когда планировал. Когда убивал.

— Ты вовремя, — сказал он. — Я уже думал, ты застрял в очередной бабе.

— Завидуешь?

— Чему? Тому, что ты трахаешь всё, что движется, и не помнишь их лиц? — Он усмехнулся. — Нет, спасибо. Я предпочитаю запоминать.

— И как? — спросил я, не отрывая взгляда от экрана. — Помнишь?

— Всех. По именам. По запаху. По тому, как они стонут. — Роланд покачал головой. — Это проклятие, Валентайн. Ты забываешь. Я — помню. И знаешь, что хуже?

— Что?

— Что иногда я жалею, что не умею забывать, как ты.

Я промолчал.

Он вздохнул. Махнул рукой — мол, проехали.

Потом шагнул к камину. Пламя высветило его улыбку — кривую, с привкусом сарказма, который он позволял себе только наедине со мной.

Он вытянул из внутреннего кармана сложенный пергамент. Развернул. Бумага хрустнула, когда он бросил её на столик между нами.

Воск от свечи смешивался с дымом камина. В воздухе висел густой, терпкий запах.

— Ладно. Что скажешь? — спросил он, склоняясь над картой.

Я склонился следом.

Схема усадьбы. Маршруты патрулей. Точки засад. Каждая линия вычерчена с маниакальной точностью.

— Всё готово, — сказал Роланд. — Сеть установлена. Дочка мятежника влетит прямо в руки. Как птичка в клетку.

— Красиво, — сказал я, проводя кончиком кинжала по одной из линий. — Ты превзошёл себя.

— Я всегда превосхожу себя, когда речь о том, чтобы кого-то поймать. — Роланд ухмыльнулся. — Но есть нюанс.

— Нюанс?

— Она не просто дочь. Она — связная. — Он ткнул пальцем в карту. — Девчонка таскает отцу информацию. Явки, пароли, списки. Она — его глаза и уши. Пока она дышит — старик не слеп.

Я откинулся на спинку кресла.

— То есть, если мы её возьмём...

— Мы его ослепим, — закончил Роланд. — Он потеряет связь с ячейками. Начнёт метаться. А когда он запаникует — он ошибётся. И тогда мы возьмём его.

Пауза.

— Или, — продолжил он, — он сделает что-то более глупое. Например, попытается её вытащить. И тогда мы возьмём обоих. И кстати, я запустил дрон над лесом. Если она выйдет на тропу — мы увидим её раньше, чем она услышит нас.

Я медленно провёл пальцем по линии лесной дороги.

Я видел не карту. Траекторию.

Чужую, до смешного предсказуемую судьбу.

Девочка с корзинкой лекарств. Думает, что спасает мир. А на деле — пешка, которой остался один ход.

— Хорошо, — выдохнул я. — Очень хорошо.

Роланд ждал.

Я позволил паузе повисеть ровно столько, сколько требовалось, чтобы он понял: продолжение — не похвала. Констатация.

— Ты всегда умел доставить мне удовольствие.

Роланд расхохотался, запрокинув голову:

— О, блядь, только не начинай! Я тебе не твои бабы. А вот доставить в твои руки нужного человека — это могу. Это, знаешь, куда занятнее постельных игр.

Он осёкся, но улыбка не сошла с губ. Наоборот — стала шире, наглее.

— Кстати, о Ванессе. Я сегодня видел, как она выползала из твоих покоев. Едва стояла на ногах. Шла, как после хорошей порки. И, судя по лицу, ещё и не раз кончила.

Я приподнял бровь.

— Ты следишь за моими любовницами, Роланд?

— Сложно не заметить, когда они покидают твою спальню на трясущихся ногах. — Он усмехнулся. — Она хоть до двери дошла сама? Или ползком?

— Дошла. Я не настолько жесток.

Роланд хмыкнул.

— Ну да. Ты же у нас сама доброта.

Он прошёлся вдоль камина, заложив руки за спину. Потом остановился и бросил через плечо:

— Долго ещё будешь держать её при себе? По-моему, она уже на грани. Ещё немного — и начнёт молить, чтобы ты её не прогонял.

Я пожал плечами.

— Пока забавляет — пусть остаётся. Надоест — уйдёт. Как все до неё.

— А если не захочет уйти?

— Тогда будет уползать, как сегодня. — Я позволил себе лёгкую усмешку. — В прямом смысле.

Роланд снова расхохотался. Громко. Открыто. Так смеются мужчины, обсуждая шлюх за бутылкой вина.

— Ты невыносим, Валентайн, — сказал он, отсмеявшись. — Она же влюблена в тебя по уши. А ты с ней как с уличной девкой.

— Она и есть уличная девка. Только дорогая. И, в отличие от дешёвых, умеет просить так, что это почти искусство.

— И что же она у тебя просит?

— Чтобы я её трахнул. Чтобы было больно. Чтобы остались следы. — Я поднял на него взгляд. — Ты прав, она сегодня была в ударе. Стонála так, что, думаю, слышно было в казармах.

Роланд присвистнул.

— Тогда понятно, почему ты так спокоен. Выпустил пар.

— Пар, — повторил я за ним с лёгкой брезгливостью. — Ты говоришь об этом так, будто я конь, которого выгуляли.

— А разве не так? — Роланд прищурился. — Ты после неё всегда сам не свой. Ненадолго. Но видно, что тебе полегчало.

Я не ответил.

Полегчало.

Забавное слово.

Мне не становилось легче. Просто на короткое время внутри что-то затихало. Как затихает ноющая рана, когда по ней прошлись лезвием. Не исцеление — отвлечение.

Клип на экране сменился. Тот же рифф, но теперь — крупный план. Шаграт смотрел прямо в камеру. Чёрные глаза. Чёрные губы. Белая кожа.

Роланд поморщился.

— Слушай, выключи ты эту хуйню. Реально. Я тебя прошу как друга.

— Тебе не нравится?

— Мне нравится, когда бабы танцуют в «Глубинном приливе». А это — кладбище. Ты когда-нибудь улыбаешься под эту музыку?

— Нет.

— Вот именно. — Он покачал головой. — Я не понимаю, как ты живёшь с этим в голове. Это же депрессия в чистом виде.

— Это честность.

— Это пиздец, — отрезал Роланд. — И ты знаешь это.

Я не ответил.

Он вздохнул. Снова склонился над картой.

— Ладно. Вечером возьмём девчонку. А там посмотрим, насколько она интереснее твоих подстилок.

Я медленно провёл пальцем по линии лесной дороги.

— Она не подстилка.

Роланд замер.

Медленно поднял на меня глаза.

— Что?

— Я сказал: она не подстилка. — Я не отводил взгляда от карты. — Она — цель.

— Цель, — повторил Роланд. — Ну да. Ключ к отцу. Я понял.

— Именно.

— А я уж подумал...

— Что ты подумал?

Роланд помолчал.

— Ничего, — сказал он. — Показалось.

Пауза.

На экране клип закончился. Титры сменились чёрным фоном. Повисла тишина.

Я поднялся.

— Пусть будет так, — произнёс я почти шёпотом. — Пусть узнает, что значит играть против нас.

В голосе не было угрозы. Только лёгкая, почти светская насмешка.

Так объясняют ребёнку, почему не стоит совать пальцы в огонь.

Он всё равно сунет.

Но винить будет некого.

Роланд молчал.

А я чувствовал его взгляд. На затылке. Как холод. Как предупреждение.

И где-то глубоко, там, где давно ничего не двигалось, стало тихо.

Слишком тихо.

Как перед бурей.

Сильвана

1

Вечер упал на лес разом.

Густой. Вязкий, как дёготь. Лунный свет едва сочился сквозь кроны, дробясь на рваные полосы. Тропа под ногами угадывалась скорее чутьём, чем зрением.

Я шла по ней машинально — ноги помнили каждый выступ, каждую предательскую рытвину. Но сегодня дорога казалась бесконечной, будто кто-то разматывал её, как нить, и не собирался останавливаться.

Усталость гудела в икрах.

Тревога сидела под горлом — тугая, холодная, мешающая дышать полной грудью.

Хрустнула ветка.

Резко. Сухо. Как щелчок взведённого курка.

Я замерла. Рука сама нырнула в ножны, пальцы сжали рукоять ножа. Холод металла отрезвил, вернул в тело.

Шорох в кустах оборвался.

Я стояла долго, слушая, как колотится в висках кровь. Ветер шевелил ветви, и они нашёптывали что-то на незнакомом языке. Не предостережение даже — скорбную песню о тех, кто уже не вернулся.

Я затянула плащ плотнее.

Не от холода. От ощущения, что сама тьма пытается просочиться под одежду, тронуть кожу, напомнить: здесь больше ничьё тепло не живёт.

Запах далёкого костра мешался с сырой землёй и прелой листвой.

Раньше этот лес пах грибами и смолой. Теперь — гарью и страхом. Даже звери ушли. Только деревья остались — чёрные, корявые, склонённые над тропой, как судьи, взвешивающие, достойна ли я идти дальше.

Я тряхнула головой, отгоняя воспоминания о том, что видела сегодня.

И они пришли сами.

Марна.

Сгорбленная, почти прозрачная в дверном проёме своей развалюхи. Глаза — два потухших уголька, в которых даже надежда уже не теплилась, только привычка ждать.

Я сунула ей в ладони мешочек с травами, немного муки — всё, что смогла наскрести.

Она выдохнула:

— Спасибо, дочка.

Узловатые пальцы впились в мою руку с неожиданной силой.

В этом «спасибо» не было благодарности. Только горькое знание: завтра будет хуже.

Я уходила, а взгляд Марны буравил спину до самого поворота. Не с укором. С немой мольбой: вернись, принеси хоть что-нибудь, не исчезай, как все.

А потом были дети.

Пятеро.

Сидели у порога, смотрели, как я режу хлеб.

Ни смеха. Ни возни. Ни жадного блеска в глазах. Только покорное ожидание.

Они не плакали.

Вот что было страшнее всего.

Дети, которые разучились плакать.

Лица с ввалившимися щеками. Недетские. Стариковские.

Самый младший, лет пяти, взял свой кусок, прижал к груди и прошептал:

— Это маме.

Меня перерубило пополам. Просто — раз, и внутри что-то хрустнуло.

Дальше — женщина с младенцем.

Грудь пустая. Молока нет уже неделю.

Она не плакала — только смотрела в стену, пока я вливала в крошечный рот последние капли отвара.

— Он кричит, а я ничего не могу, — сказала она бесцветно.

Младенец хрипел, как раненый птенец.

Этот звук до сих пор сидел у меня в ушах. Не затыкался. Не выветривался.

В прошлый раз я не успела.

Старик умер, пока я искала лекарство.

Я остановилась посреди тропы.

Втянула ледяной воздух.

Пальцы дрожали.

Лес молчал, но я знала: за деревьями — те, кто ещё ждёт.

«Может, я просто дура? Что я могу против всей этой машины? Если меня схватят, Тед останется один. Отец потеряет связную».

Мысль появилась — и тут же была отброшена.

Не сейчас.

Сдаваться нельзя.

Я вернусь. Найду способ. Даже если против меня — весь мир.

Гнев поднимался медленно, без всплеска. Как прилив.

Не слепил — прояснял.

Делал мысли холодными, острыми, как обсидиановый скол.

Кулаки сжались сами. Ногти впились в ладони. Кожа на скулах натянулась — как перед ударом. Я чувствовала, как каменеет лицо. Как холодеет взгляд.

Я вспомнила виселицы.

Форма «V». Так эффектнее. Так заметнее. Юный герцог не страдал излишней скромностью.

«Пусть все видят, что бывает с теми, кто забывает своё место» — гласил указ, прибитый к каждой перекладине.

Я обращалась к ним мысленно. К отцу и сыну. К Лагерту и Диаманту.

«Вы думаете, что победили? Думаете, сломали нас? Что мы забудем? Что согнёмся и перестанем быть собой?»

Нет.

Я не забуду.

Память — мой последний щит.

Каждый голодный ребёнок. Каждая высохшая женщина. Каждый старик, молча глядящий в пустоту.

Это приговор.

Не мне.

Им.

Тем, кто решил, что власть даётся для уничтожения.

Я шла дальше.

И тут — услышала.

Сначала не поняла. Приняла за шершня. За ночную птицу. За ветер, гудящий в проводах — хотя откуда здесь провода?

Звук был чужой.

Низкий. Ровный. Механический. Не лесной.

Я подняла голову.

Над кронами, медленно — почти лениво — проплыл дрон.

Чёрный. Гладкий. С четырьмя лопастями, вращающимися так быстро, что они сливались в прозрачные диски. По корпусу — красный огонёк. Пульсирующий. Как сердце.

И объектив.

Маленький. Тёмный. Но направленный вниз.

На меня.

Я замерла.

Он видел меня. Я знала это. Он смотрел. Он запоминал.

Сердце ударило в рёбра. Раз. Два. Три.

Дрон проплыл над тропой — мимо меня — и исчез за деревьями. Тихий. Бесшумный. Как призрак.

Я стояла, не двигаясь. Считала вдохи. Как учил отец.

Раз. Два. Три. Держи. Выдох.

Это новая часть города. Их технологии. Дьявольские изобретения, о которых шептались старики.

Раньше я только слышала о них. Только видела тени — далеко, над новой частью, где неон резал небо.

А теперь — здесь. Над лесом. Над моей тропой.

Надо мной.

Я заставила себя двинуться.

Шаг. Ещё шаг. Ещё.

Ноги слушались плохо. Руки дрожали. В горле стоял сухой ком.

Дрон ушёл. Но я знала: он вернётся. Или — пришлют другого. Или — уже передали сигнал.

Тропа вилась между стволов, уводила всё дальше.

И вдруг — тёплый, жёлтый свет.

Окна.

Мой дом.

Он пробивался сквозь листву, как маяк в шторме. Обещал покой, тепло очага, лицо Теда, ждущего на пороге.

Я ускорила шаг.

Совсем немного — и можно будет выдохнуть.

Совсем немного.

Но где-то высоко, над кронами, — ещё пульсировал красный огонёк.

И я знала: он не ушёл.

Он ждёт.

2

Сначала был звук.

Тихий, почти невесомый — хрустнула сухая ветка под чужой ногой. Звук тут же оборвался, будто тот, кто наступил, замер на месте, осознав оплошность.

Я остановилась. Застыла.

Резко, всем телом, так что пришлось взмахнуть руками, ловя ушедшее вперёд равновесие. Сердце ударило в рёбра — один раз, другой, — и понеслось, заполняя уши горячим, нарастающим гулом.

«Дыши. Ровно. Не паникуй».

Приказ, отданный самой себе. Я заставила себя вдохнуть через нос, медленно, до самого низа живота. Выдохнуть. Ещё раз.

Кусты шевелились.

Не ветер.

Тень.

Ещё одна.

Они обступали меня полукругом — бесшумные, текучие, отрезая путь назад. Я чувствовала их не столько зрением, сколько кожей, тем особым холодком, который ползёт вдоль позвоночника, когда на тебя смотрят из темноты.

И где-то высоко, над кронами, — гудение.

Тихое. Ровное. Механическое.

Дрон.

Тот самый. Он не ушёл. Он вернулся. И привёл их.

— Кто здесь? — спросила я.

Голос вышел твёрже, чем я ожидала. Но на последнем слоге дрогнул, звякнул тревогой, как трескается тонкий лёд под сапогом.

Молчание.

Густое, давящее на виски, как чужие ладони.

Тени сдвинулись ближе.

Трое.

А может — четверо.

Они двигались, как звери: пригнувшись, прячась за стволы, сокращая расстояние без единого лишнего шороха. Профессионалы. Те, кого учили не оставлять жертве времени на решение.

Я сжала узел на шее. Верёвка обожгла холодом. Как никогда раньше.

Ледяной ком подкатил к горлу, и на миг мне показалось, что я не смогу вдохнуть.

А потом перед глазами вспыхнули лица.
Марна. Её узловатые пальцы, вцепившиеся в мою руку.
Дети. С пустыми, недетскими глазами.
Женщина с младенцем, у которой молчала грудь.
«Я не могу их подвести. Не имею права».
— Не сейчас! — внутренний голос хлестнул, как плеть, выдирая из оцепенения. — Не дай им победить!
И паника схлынула.
Она ушла не сразу, а волной, оставив после себя холодное, яростное спокойствие. Острое. Собранное в кулак. Я не стану лёгкой добычей.
Я развернулась и побежала.
К дому. К свету. К теплу.
Только бы успеть.
Лес бросился на меня.
Сапоги вязли во мху, как в мокрой золе. Ветка полоснула по щеке — я почувствовала, как лопнула кожа, как по скуле побежало что-то тёплое. Не боль. Пока только жар.
Я не сбавляла шаг.
В ушах — кровь. В горле — рваное, обжигающее дыхание. Лёгкие горели. Икры сводило. Где-то на бегу я потеряла мешочек с травами — он упал в мох, и я не стала возвращаться.
Запах прелой листвы смешался с потом и металлом. Липкая струйка крови доползла до губ, и я почувствовала её вкус — солёный, ржавый, живой.
Это не сон.
Не страшная сказка на ночь.
Это дышало в затылок.
— Держи её! — окрик, резкий, как удар хлыста, разорвавший ночь.
Топот за спиной. Дрожь земли — в ногах, в костях, как приближение грозы.
Я знала эту тропу наизусть. Каждую петлю. Каждый корень. Каждый поворот.
Но лес предал меня.
Стал чужим. Враждебным. Перекроил сам себя.
Я свернула не туда.
Вместо знакомого поворота — заросли. Кусты встали стеной, колючей и глухой. Корни цеплялись за сапоги, рвали подол плаща, тянули обратно, в темноту.
Место было знакомым. Но что-то в нём сдвинулось. Тропа — та же. Корни — те же. А лес — другой. Будто кто-то переставил его. На полшага. На шаг.
Они знали короткий путь.
Срезали угол.
Их дыхание уже жгло затылок. Я слышала, как они дышат — рвано, с присвистом, но ровно настолько, чтобы понимать: они не устали. Они только разгоняются.
Ещё несколько шагов — и я увидела бы крыльцо.
Протянула бы руку к дверной ручке.
Ворвалась бы в дом.
Захлопнула бы дверь.
Закричала бы.
Я увидела свет. Жёлтый. Тёплый. В окне кухни. И тень Теда — за стеклом. Он ждал. Он не знал.
Не успела.
Удар пришёл сзади.

Обрушился на затылок — глухой, страшный, ослепляющий. Я не услышала его. Я почувствовала, как что-то хрустнуло в шее. Как мир вспыхнул белым — а потом схлопнулся в чёрную точку. Как тело стало чужим — тяжёлым, ватным, не моим.

Ноги подогнулись.

Я падала.

Но земли не почувствовала.

Только пустоту — холодную и вязкую, засасывающую, как трясина. Она тянула меня вниз, в самую глубину, где не было ни страха, ни боли, ни памяти.

Последним, что долетело сквозь гаснущее сознание, стал запах.

Чужой пот. Резкий. Кислый.

И ржавый металл.

А сверху, сквозь толщу воды, голос:

— Готово. Тащите её.

Хрустнула ветка под чьим-то сапогом.

И — смех.

Короткий. Довольный. Чужой.

А где-то высоко, над кронами, — снова гудение.

Дрон уходил. Докладывать.

И — тишина.

Глухая. Всепоглощающая.

Глава 2

Глава 2

. Вниз

«Тело помнит всё. Даже то, что разум хочет забыть».

Сильвана

1

Меня выдернуло из темноты, как выдёргивают из воды за волосы.

Только что вокруг была чёрная, вязкая глубина, в которой не было ни боли, ни страха, ни памяти. А потом — рывок. Резкий, безжалостный, выдирающий из небытия. Я распахнула глаза и тут же пожалела об этом.

Голова взорвалась болью.

В висках стучало — тяжело, рвано, в такт сердцу. Боль была тупая, рвущая, растекалась от затылка к глазам, и перед ними плыли багровые круги. Я попыталась сесть — и тело отреагировало судорогой, прокатившейся от плеч до поясницы. Мышцы скрутило так, что я зашипела сквозь зубы.

Руки были связаны за спиной.

Верёвка впилась в запястья, и от каждого движения, даже самого слабого, боль становилась острой, до слёз. Я закусила губу, чтобы не застонать, и замерла, пережидая волну.

Потом осторожно открыла глаза.

Полумрак.

Узкие полосы света пробивались из-под обитой железом двери. Они лежали на каменном полу, бледные, мёртвые, ничего не освещая.

Воздух был густой, спёртый, пропитанный гнилью. Я вдохнула — и меня едва не вывернуло. Запах был не просто неприятным. Он был живым. Он лез в горло, оседал на языке, пропитывал нёбо. Запах сырого камня, плесени, застарелой крови и чего-то сладковатого, что я не сразу распознала. Потом поняла: гнилая солома.

Я лежала на ней.

Липкая. Вонючая. Она пахла смертью.

Стены были каменные. От них сочился могильный холод — не просто прохлада, а именно холод, который, казалось, высасывал тепло из тела. Я чувствовала его спиной, бёдрами, затылком.

Где-то капала вода.

Моноotonно. Размеренно. Кап. Кап. Кап.

Я перевела взгляд на стену. В полумраке проступали царапины — имена, даты, кривые кресты. Следы тех, кто был здесь до меня. Кто-то выцарапывал их ногтями, потому что больше было нечем.

У железного кольца в стене темнело бурое пятно.

Я знала, что это. Знала, что означают такие пятна. Знала, что здесь люди молили о пощаде, и эти мольбы ничем не заканчивались.

В углу стоял бак с затхлой водой. Поверхность подёрнулась зелёной ряской. Рядом — ведро с нечистотами, и от него шла такая тошнотворная вонь, что желудок сжался в тугую комок.

Я сглотнула.

Попыталась собрать мысли.

Где я?

Ответ пришёл не из памяти — из запаха, из холода, из этой каменной сырости, которая могла быть только в одном месте.

Застенки.

Подземелья.

А потом я почувствовала — сквозь ткань рубахи, у самого сердца. Узел. Он был холодным. Ледяным. Как металл на морозе. Холоднее камня под спиной.

Я прижала его к груди. Как прижимают игрушку. Как хватаются за соломинку.

Отец.

Ты знаешь?

Ты знаешь, что я здесь?

Ответа не было. Только холод. Только тишина.

Я попыталась вспомнить — как я здесь оказалась. Лес. Погоня. Гул дрона над головой. Ветка, полоснувшая по щеке. Свет в окне. Тень Теда за стеклом. Удар.

Я дотронулась языком до щеки. Рана была на месте. Запёкшаяся кровь. Солёная. Ржавая. Я почувствовала её вкус — и вместе с ним вернулась боль. В затылке. В плечах. В запястьях.

А потом я услышала шаги.

Тяжёлые. Чёткие. Они медленно приближались. За дверью кто-то засмеялся, потом зашептались.

Я замерла.

Дверь отворилась.

На пороге стоял стражник.

Высокий. Плечистый. Серый мундир с серебряными пуговицами, тускло блеснувшими в свете факела за его спиной. Лицо грубое, с перебитым носом, который делал его похожим на бойцового пса. Сальная ухмылка. Глаза — пустые, с ленцой, как у человека, который давно привык к чужим страданиям и не находит в них ничего особенного.

На указательном пальце — обручальное кольцо. Простое. Медное. Стёртое до блеска. Он не снял его. Даже здесь. Даже сейчас. Это почему-то было страшнее всего остального.

— Очнулась, голубка? — протянул он.

Я не ответила.

Он прошёл внутрь, не торопясь, и остановился в шаге от меня. Я чувствовала его запах — пот, дешёвый табак, луковый дух изо рта. Он смотрел на меня сверху вниз, и в его глазах было не любопытство, а скука. Только скука. И ещё — лёгкое, сытое наслаждение чужой беспомощностью.

— Что, не нравится у нас? — он хмыкнул. — Ничего. Здесь всем поначалу не по себе.

— Где я? — спросила я.

Голос получился хриплым, как будто горло забило песком.

Стражник широко улыбнулся, обнажив жёлтые зубы.

— Застенки Инквизиции. Подземелье Рокуэлла. Самое сердце тьмы.

Он наклонился ко мне. Ближе, чем нужно. Я отшатнулась, но верёвка впилась в запястья, и я замерла, чтобы не застонать. Его дыхание обдало моё лицо — горячее, зловонное.

— Скоро тобой займётся сам милорд Диамант, — произнёс он почти ласково. — Сын короля. Инквизитор. Слыхала о таком?

Диамант.

Имя ударило в меня, как разряд молнии.

Ледяной холод пополз по позвоночнику. Сердце сжалось, а потом забилось часто-часто, отдаваясь в висках.

Это имя было приговором. Оно звучало в моей голове, как звон похоронного колокола. Перед глазами вспыхнули картины: сожжённые деревни, чёрные остовы домов, детские глаза, полные ужаса, руки матерей, тянущиеся к небу.

А потом — слухи. Зеркала на потолке. Женщины, которые возвращаются. Сами. С улыбкой, которая не сходит с лица, даже когда они плачут. И — то тёмное, липкое, чужое, что я не хотела называть. Что я гнала. Но что осталось.

Я ненавидела себя за то, что оно вернулось. Сейчас. Здесь. В подземелье.

Я прихлопнула это чувство. Резко. Как комара. Не время. Не место. Не я.

Я сглотнула.

— Что ему нужно? — спросила я, хотя уже знала ответ.

Стражник выпрямился, пожал плечами.

— Мы приказы не обсуждаем, — сказал он. — Может, на допрос. Может, потешиться криками. А может, и то, и другое. У милорда вкусы особенные.

Он пошёл к двери, но остановился на пороге. Овернулся.

— Отдыхай пока. Скоро за тобой придут.

И добавил, уже выходя:

— Посмотрим, насколько крепка твоя воля.

Дверь закрылась.

Лязг засова.

Шаги.

Тишина.

Я осталась одна.

Закрыла глаза.

И стала ждать.

Ждать — это единственное, что мне осталось.

2

Эхо прокатилось по камере и растворилось, оставив после себя оглушительную тишину. Я слышала в ней только стук собственной крови в висках. Рваный, частый, как будто сердце билось не в груди, а прямо в голове.

Я зажмурилась.

Дыхание было коротким, рваным, и каждый вдох казался невыносимо громким в этом мёртвом безмолвии. Мне чудилось, что рядом кто-то дышит. Незримый. Наблюдает из темноты. Ждёт.

Во рту пересохло. Появился металлический привкус — как будто я слизнула кровь с разбитой губы. Руки дрожали, как бы сильно я ни сжимала кулаки. Пальцы онемели, костяшки побелели.

«Не показывай слабость. Ни им. Ни себе».

Слова стражника звучали в голове снова и снова. «Скоро за тобой придут». Каждое слово — гвоздь, загоняемый в череп. Оно входило в меня вместе с пульсирующей болью в затылке, и перед глазами всё плыло. Тьма на мгновение сомкнулась, грозя обмороком.

Я резко вдохнула через нос.

Вцепилась пальцами в шершавый камень стены. Холод обжёг ладони. Усилием воли я вернула себя в реальность — в это тело, в эту камеру, в эту боль.

Холод темницы пробирал до костей. Сковывал мышцы, суставы, каждый позвонок. Но гораздо страшнее холода было осознание: скоро я встречу с человеком, чьё имя стало синонимом боли. С тем, кто превращает людей в тени, а затем стирает их в прах.

Я никогда его не видела.

Но слышала.

Все слышали.

Это случилось прошлой осенью. Деревня Вельд — маленькая, на границе с лесом, тридцать дворов. Никто не помнил, когда её основали. Она просто была. Всегда. Как камни на берегу. Как мох на стволах.

Когда пришли лебронцы, жителям предложили выбор: присягнуть новой власти — или уйти. Тридцать семей. Старики, женщины, дети. Они отказались. Все. До одного.

Через два дня в Вельд вошёл отряд Инквизиции.

Я не была там. Не видела. Но рассказывали так, что ужас произошедшего ожил перед моими глазами.

Солдаты согнали людей в амбар. Заколотили двери. Подожгли — со всех сторон, одновременно, чтобы никто не вырвался.

Дети кричали.

Стариков — тех, кто не мог идти, — оставили в домах.

Сгорело всё: дома, деревья, поля. Дым шёл столбом до самого неба — чёрный, жирный, тяжёлый. Его видели даже в Колтрейне. За двадцать вёрст.

Потом, когда огонь погас, на месте деревни осталось только пепелище. Ровное. Серое. Как будто там никогда ничего не было.

Ни домов. Ни людей. Ни памяти.

Только пепел. И запах гари — тот, что не выветривался неделями. Тот, что въедался в одежду, в волосы, в кожу.

Все знали, кто отдал приказ.

Диамант.

Ему было двадцать. Двадцать лет — а он уже сжигал деревни. Уже стирал людей. Уже выжигал память.

И теперь он ждал меня.

Желудок скрутило в ледяной ком.

За стеной слышались шаги.

Тяжёлые. Размеренные. Они звучали, как метроном, отсчитывающий последние минуты покоя.

А потом — крик.

Отчаянный. Полный невыносимой боли. Он разорвал тишину, как нож — ткань.

Я вздрогнула.

Но заставила себя слушать. Не отворачиваться. Не зажимать уши. Чужое страдание было здесь частью воздуха, как сырость, как запах гнили.

Где-то рядом скрипнула ржавая петля. Ещё одна дверь. Ещё одна судьба. Я не одна. Где-то рядом быются такие же испуганные, но ещё живые сердца.

Крик оборвался. Резко, на полуслове.

Тишина стала гуще. Плотнее. Как будто в неё что-то добавили.

Я не знала, что хуже — крик или его отсутствие.

Я сидела, привалившись спиной к стене, и пыталась ослабить верёвки на запястьях. Каждое движение отдавалось тупой болью — в затылке, в плечах, в зубах. Верёвка впивалась глубже, и кожа под ней становилась липкой.

Тьма давила, как живое существо.

Заползала в лёгкие. Нашёптывала мысли о безысходности.

Я ощупывала стену в поисках трещины, за которую можно зацепиться, — и вдруг замерла.

Перед внутренним взором всплыло лицо отца.

Серые, как штормовое море, глаза. Твёрдый, но ласковый голос.

«Честь — это дыхание. Это каждый шаг человека».

В детстве я кивала на эти слова, не понимая их глубины. Теперь они стали якорем.

Я почувствовала их в теле. В плечах. В спине. Как будто отец стоял рядом — и держал ладонь на моём затылке. Тепло. Тяжесть. Уверенность.

Потом память перенесла меня к Теду.

Его тёплая, как утренний луч, улыбка. Мы сидели у камина. Он шептал, что я — его дом. Что он пойдёт за мной куда угодно.

Я вспомнила его руки. Как он держал меня за плечи. Как прижимался лбом ко лбу. Как говорил: «И я тебя. Всегда».

И как я соврала — дрогнувшим голосом.

Тед не знает, где я. Но он будет ждать. Будет верить.

И эта вера давала мне силы не просто держаться. Бороться.

Но страх всё же просачивался в душу. Обвивался изнутри. Шептал, что можно всё прекратить. Стоит лишь заговорить.

Я заставила себя думать о том, что нужно Диаманту.

Ответ пришёл мгновенно.

Отец.

Герцог Валентайн хочет знать, где скрываются остатки сопротивления. Ему нужен их главарь.

Всё просто.

Я внутренне сжалась — так сильно, что ногти впились в ладони.

Боль отрезвила.

Выдернула из омута сомнений.

Слабость — непозволительная роскошь.

Враги хотят, чтобы я заговорила. Выдала отца. Назвала имена. Указала тайные убежища. Чтобы сломать меня и превратить в орудие против тех, кто ещё жив.

Нет.

Мой рот останется запечатанным. Даже если бы я знала, где скрывается отец, не сказала бы. Ни за что.

Эта мысль стала щитом. Клятвой. Молитвой, высеченной в камне.

Я открыла глаза и всмотрелась в полумрак.

Где-то далеко за этими стенами существовал другой мир. Там цвели яблони. Смеялись дети. Люди ещё помнили, кто они.

Этот мир был моей ответственностью.

Я обязана защитить его, даже если для этого придётся пройти через ад. Выдержать пытки. Встретиться лицом к лицу с самим дьяволом.

Я выпрямилась. Насколько это было возможно со связанными руками.

В глазах, устремлённых в темноту, больше не было страха.

Только холодная, ясная твёрдость.

Я — голос Колтрейна.

И я буду молчать.

Даже если это молчание станет последним, что у меня останется.

3

Дверь распахнулась.

В камеру проникла полоска дрожащего, мутного света.

На пороге стоял тот же стражник.

Он ухмыльнулся — так же, как в прошлый раз. Сыто. Презрительно.

— Ну что, голубка? — протянул он. — Отдохнула?

Я не ответила.

— Встать, — бросил он уже без улыбки.

Я не пошевелилась.

Сидела, привалившись к стене, ощущая, как холод и сырость вытягивают последние силы. Внутри всё сжималось в тугую узел. Но я заставляла себя дышать ровно. Настоящий холод исходил не от камня. От осознания, что всё происходящее — лишь начало.

— Я сказал, встать! — повторил стражник.

Он шагнул вперёд, сжимая в руке короткий отполированный жезл. Блеск у него был зловеющий. Жирный. Как у змеи, готовящейся к броску.

Я поднялась.

Медленно. Преодолевая слабость, которая наваливалась на плечи, как мокрая шкура. Ноги подкосились, но я выпрямилась. Расправила плечи. И встретила его взгляд прямо, не отводя глаз.

Он хмыкнул. Казалось, это его позабавило.

— За мной.

Он повёл меня по коридору. Тяжёлая рука легла на плечо — не грубо, но так, чтобы я чувствовала: он ведёт. Он хозяин.

— А ты ничего, — сказал он вдруг. — Крепкая. Милорд таких любит.

Я молчала.

— Только зря ты думаешь, что это тебя спасёт, — продолжил он. — Милорд не любит, когда ломаются сразу. Ему нравится смотреть, как ломаются такие, как ты.

Он засмеялся — коротко, грязно.

— А потом — как отдаются. С благодарностью. — Он покосился на меня. — Ты не слышала? Про его женщин?

Я не ответила.

— Они все возвращаются, — сказал он почти ласково. — Сами. Просят ещё. А потом — не могут без него. Ни с кем. Ни с кем другим. Он их так ломает, что они любят свой слом.

Он снова засмеялся.

— Может, и тебя научит. Чему хорошему. Ты же девка молодая. С такими — он умеет.

Я стиснула зубы.

Не отвечать. Не давать ему удовольствия.

Он не дождался реакции. Пожал плечами. Повёл дальше.

Меня вывели в узкий, сырой коридор.

Стены здесь были осклизлые, покрытые пятнами плесени.

Я шла, спотыкаясь на неровных плитах. Спиной ощущала тяжёлый взгляд конвоира. Каждый шаг отдавался глухим эхом в голове, и это эхо мешалось с болью в затылке.

После нескольких поворотов мы остановились перед массивной дверью.

Тёмное дерево. Железные полосы. Старая, но несокрушимая. Как врата в мир, где нет места надежде.

Стражник толкнул створку.

Дерево издало стон.

За ней был свет.

Не факелы. Не жаровня. Лампы. Длинные, белые, безжалостные. Они горели ровно, без дрожи, без тепла. И освещали всё — до последней царапины на стенах. До последней капли на полу.

В центре стоял стол. Металлический. С ремнями по краям. С подголовником. С датчиками — маленькими, круглыми, блестящими. Как глаза.

Рядом — тиски. Но не простые. С проводами. С панелью управления. С лампочками, которые мигали зелёным.

Клещи. Ножи. Плетки. Всё — на месте.

А рядом с ними — приборы. Стекло. Сталь. Кнопки. Экраны. То, чего я не могла назвать. То, что пугало сильнее крючьев и плетей.

В углу — дыба.

Не та, что я видела на картинках. Другая. Железная. С креплениями для рук и ног. С проводами, тянущимися к потолку. С кожухами, из которых торчали металлические наконечники. Как иглы. Как жала.

Стены были увешаны орудиями.

Плети с металлическими шипами. Ножи — от тонких, как иглы, до зазубренных тесаков. Крючья, изогнутые, словно когти.

А над дыбой — зеркало. Огромное. В потолке. И на стенах. Чтобы жертва видела себя. Со всех сторон. В каждом ракурсе.

В дальнем углу стояло кресло, обитое красным бархатом. Складки ловили свет, и ткань казалась влажной. Почти живой.

Воздух был густой и липкий. Пропитанный запахом железа и старой крови. И чем-то ещё. Озоновым. Холодным. Как перед грозой. Как от электричества.

Волосы на руках встали дыбом.

Ноги подгибались.

Но я заставила себя устоять.

И — смотрела.

Не могла не смотреть.

Датчики. Провода. Мигающие лампочки. Зеркала. Всё это было чужим. Непонятным. Страшным. Но именно поэтому — притягивающим.

Как красивая змея. Знаешь, что укусит. Но смотришь. Не можешь отвести взгляд.

Я ненавидела себя за это любопытство. За то, что вместо ужаса во мне просыпалось что-то другое.

Но смотрела.

Стражник втолкнул меня внутрь.

Я переступила порог — и ощутила, будто пересекла невидимую черту. За ней осталась прежняя жизнь.

Он полоснул ножом по верёвкам. Запястья обожгло свободой. Кровь прилила к кистям — резко, больно, до искр перед глазами.

— Жди, — бросил он. И добавил, уже выходя: — Скоро придёт милорд. Постарайся не опозориться. Он не любит, когда игрушки хнычут.

Дверь захлопнулась.

Глухо. Окончательно.

Я осталась одна.

Тишина навалилась густая, давящая, полная невысказанных угроз.

Я осматривалась, хватая взглядом каждую деталь.

Вместо окна — узкая щель под потолком. Из неё сочился мертвенный, бесцветный свет.

Дверь железная. Без ручки изнутри.

Выхода нет.

Лампы гудели. Тихо. Ровно. Как пчёлы. Как что-то живое.

Я сделала шаг вперёд.

Под ногой хрустнуло.

Я замерла. Потом медленно наклонилась.

На полу лежал осколок кости. Маленький. Заострённый. Похожий на обломок птичьего крыла.

Желудок мгновенно подступил к горлу.

Я резко отвернулась, прижимая ладонь ко рту, сдерживая тошноту. Глотка сжалась спазмом, перед глазами поплыло.

«Это всего лишь комната. Всего лишь комната».

Он хочет сломать меня ещё до начала пыток.

Этого допустить нельзя.

Холод внутри усилился. Но я цеплялась за голос отца, прозвучавший в памяти:

«Бойся не боли. Бойся слабости».

Мысли метались. Бились о невидимые прутья отчаяния.

Отец.

Тед.

Они не должны увидеть меня сломленной. Я не предам их веру.

Я зажмурилась.

Перед внутренним взором всплыли светлые образы: цветущие яблони, запах весны. Тед подбрасывает меня в воздух, а я хохочу, раскинув руки. Свободная. Невесомая.

Потом — лицо Марны.

Её дрожащие пальцы, сжимающие краюху хлеба.

Обещание помочь.

Это стало якорем.

А потом тишина изменилась.

В ней прорезались звуки: гул ламп. Шипение проводов. Мигание лампочек. Звон металла.

И где-то — далеко, за дверью — шаги.

Медленные. Уверенные. Не стражник.

Я сжала кулаки.

Я здесь. Я жива.

И я всё ещё держусь.

Но шаги приближались.

И гул ламп становился громче.

4

Дверь отворилась с протяжным, мучительно медленным скрипом.

Будто сама вечность нехотя разжимала челюсти.

В проём хлынул холодный свет. На мгновение он ослепил меня, ударил по глазам, и я зажмурилась, выставив перед собой ладонь.

Очертания вошедшего проступали из сумрака медленно, как проступает из тумана фигура, которую до последнего надеешься не увидеть.

А потом я забыла, как дышать.

Он был красив.

Той красотой, от которой внутри что-то обрывается и падает в пустоту. Высокий. Стройный. С грацией хищника, который никуда не спешит, потому что добыча уже загнана.

Чёрные волосы цвета воронова крыла падали на плечи тяжёлой волной, переливаясь в свете ламп. Лицо будто вырезано из мрамора. Прямой аристократический нос. Скулы, очерченные лезвием. Чувственные, твёрдые губы цвета спелой вишни. В их изгибе таилась не улыбка — обещание. Не ласки. Боли.

Глаза ярко-голубые.

Как зимнее небо.

Бесстрастные. Острые. Они смотрели с холодным, расчётливым интересом, каким разглядывают редкое насекомое, прикидывая, куда лучше воткнуть булавку.

В них не было ни тепла, ни сочувствия.

Только лёд.

И он действительно был юн.

Не старше меня.

От этого делалось ещё страшнее: в столь молодом лице не должно быть столько тьмы и понимания того, как ломать души.

Он возвышался надо мной. Я едва доставала ему до плеча.

Его облик был продуман до мелочей. Высокие кожаные сапоги, начищенные до зеркального блеска. Чёрные кожаные штаны в обтяжку. Шёлковая рубашка угольного цвета, расстёгнутая у горла ровно настолько, чтобы открыть бледную кожу и тонкую алую царапину — след чьей-то чужой игры.

На поясе висела плеть с серебряной рукоятью. Свернувшаяся, как змея.

В его облике не было ни одной лишней детали. Только власть. Сдержанная и опасная, как клинок, который не прячут в ножны, а держат на виду, чтобы жертва знала: он будет использован.

И — запах.

Табак. Что-то травяное, горькое. Абсент.

Тот самый.

Я почувствовала его раньше, чем увидела. Раньше, чем поняла. Тело узнало его до того, как разум успел связать запах с именем.

И тогда вернулось то, что я гнала.

То, что было в комнате с Тедом. Когда я стояла, прижавшись лбом ко лбу Теда, и чувствовала, как внизу живота разливается тяжесть. Как соски напрягаются под рубахой. Как между бёдер становится влажно.

Тогда я не поняла.

Теперь — поняла.

Это был он.

Я чувствовала его приближение за день до того, как увидела. Тело запомнило раньше, чем разум успел возмутиться.

Он заговорил первым.

Голос мягкий, почти ласковый. Но под бархатом ощущалась сталь.

— Ну что, вот мы и встретились, Сильвана.

Моё имя в его устах прозвучало иначе, чем у других. Оно не было просто набором звуков. Он словно пробовал его на вкус, как пробуют редкое вино, — медленно, с наслаждением.

Я сглотнула.

Горло сжало. Язык прилип к нёбу.

«Не показывай страха. Не смей».

— Не припомню, чтобы мы были знакомы, — ответила я.

Голос, к собственному удивлению, почти не дрожал.

Он усмехнулся. Медленно. Смакуя.

Губы изогнулись, но глаза остались ледяными. Два безжизненных и безжалостных осколка неба.

— Мы действительно не были знакомы, — произнёс он. — Но я много о тебе слышал. Как и ты обо мне.

Он сделал паузу, и в этой паузе было что-то невыносимое. Воздух между нами натянулся, как струна, готовая лопнуть.

— Диамант. Герцог Валентайн. Повелитель Колтрейна. Его судья и палач. Или просто глава Инквизиции. Как удобнее.

Он шагнул ближе.

Я отступила прежде, чем успела приказать себе стоять на месте.

Он заметил это. В его глазах мелькнуло что-то, похожее на довольство.

— Сильвана, — продолжил он, растягивая моё имя, как тянут шёлковую ленту, — дочь мятежного лорда. Героиня подполья. Женщина, осмелившаяся встать против короны.

Его взгляд скользнул по мне.

Медленно. Сверху вниз.

Мурашки побежали по телу, будто ледяные пальцы прошли вдоль позвоночника.

— Я ожидал увидеть измождённую, озлобленную тень, — сказал он. — А ты оказалась хорошенькой.

Он достал тонкую сигарету. Прикурил от углей жаровни. Сладковатый, тошно-творно-приторный дым смешался с запахом кожи, металла и чего-то звериного.

— Даже в моём вкусе, — добавил он небрежно. — Тем хуже для тебя.

Кровь отлила от моего лица.

Щёки стали ледяными. Губы — сухими.

Но я заставила себя стоять прямо. Не опускать взгляд.

— Я не нуждаюсь в твоих комплиментах, — ответила я холодно. — Раз пришёл за ответами — спрашивай.

Он рассмеялся.

Звук чистый, почти музыкальный. Но от него мороз продирал по коже, потому что в нём не было ни капли веселья. Только холодное удовольствие от игры.

— Так тебе не терпится начать? — спросил он с иронией. — Похвально. Обычно люди до последнего оттягивают этот момент. Молят. Плачут. Обещают золото, верность, тела своих жён.

Он сделал ещё шаг.

Я не отступила.

— А ты смотришь мне в глаза и говоришь, чтобы я начинал, — продолжил он. — Забавно.

— Я не твои обычные люди, — сказала я.

— Да, — согласился он. — Я уже понял.

Его взгляд прошёлся по моему лицу снова. Остановился на губах. Потом спустился к шее, где под кожей бешено билась жилка.

— И всё же, — произнёс он тише, — ты дрожишь.

— От холода.

— Нет. — Он покачал головой. — От меня.

Я подняла взгляд.

Посмотрела прямо в его бездонные глаза.

— Ничего не будет, — сказала я. — Мне нечего тебе сказать. Ни слова. Ни звука.

Он приблизился.

Остановился в шаге. Настолько близко, что я видела тонкую сеть капилляров под его бледной кожей. Лёгкий блеск пота на виске. Крошечную родинку у уголка рта.

И — запах. Ближе. Сильнее. Табак. Абсент. Что-то ещё. Тёплое. Живое. Его.

Его дыхание коснулось моего лица.

— Неужели? — произнёс он спокойно. — Ты будешь молчать даже тогда, когда я покажу тебе, что бывает с теми, кто упрямится? Когда ты почувствуешь боль, которую я могу подарить?

Это не было угрозой.

Будничное обещание.

И это пугало сильнее крика.

— Боль — это всё, что ты умеешь? — спросила я.

Голос дрогнул. Совсем чуть-чуть. Но он услышал.

— Нет, — ответил он. — Боль — это только начало. Есть вещи гораздо интереснее. Есть то, что происходит с человеком, когда он понимает: его тело больше ему не принадлежит. Когда он сам начинает просить о том, чего боялся.

Он наклонился ко мне.

Его губы оказались так близко, что я почувствовала их тепло.

— И ты будешь просить, Сильвана, — прошептал он. — Рано или поздно.

Тишина звенела натянутой струной.

Его взгляд прошупывал меня. Искал трещину. Ту единственную точку, нажав на которую, можно расколоть целиком.

Я держалась прямо. Несмотря на дрожь в коленях. Несмотря на холодный пот вдоль позвоночника.

Но внутри творилось нечто, чего я сама не понимала.

Да. Я испытывала отвращение. Страх. Ненависть.

Всё это было.

Но глубже, там, куда я боялась заглядывать, шевелилось иное.

Горячее. Липкое. Поднимающееся от низа живота и растекающееся по венам.

Я узнала это.

Тело узнало его раньше, чем разум. Раньше, чем я узнала его имя. Раньше, чем увидела лицо.

И теперь — оно отзывалось. Снова. Сильнее.

Между ног стало горячо. Влажно.

Я жала бёдра, надеясь, что он не заметит. Не поймёт. Но он смотрел на меня так, будто видел всё. Будто читал каждую постыдную мысль, каждую предательскую дрожь.

Соски напряглись под рубахой. Резко. Болезненно. Без причины. Как тогда.

От этого хотелось провалиться сквозь землю.

И одновременно — чтобы он не отводил взгляд.

Я ненавидела его.

Ненавидела всей душой, всем сердцем, каждой клеткой.

Но моё тело — предатель, лживое, животное — тянулось к нему. К его запаху. К его голосу. К дьявольской, нечеловеческой красоте.

Это было отвратительно.

Я была отвратительна самой себе.

Он не просто человек.

Он испытание. Искушение. Воплощение той тьмы, что живёт в каждом, но в нём она обрела плоть, голос и безжалостный разум.

Его красота завораживала.

Жестокость готова была разорвать.

Холод замораживал душу.

А жар — тёмный, запретный — не давал укрыться.

Его взгляд скользил по моему лицу. Задержался на губах. Спустился к шее. Ниже — к ключицам. К дрожащим рукам.

Я чувствовала этот взгляд кожей. Осязаемый. Как ледяные пальцы.

Мурашки. Жжение.

Каждый дюйм моего тела оказался под микроскопом. Дрожь ресниц. Сбитое дыхание. Напряжение мышц. Всё, что я пыталась скрыть, он считывал без усилия.

От этого хотелось одновременно бежать и стоять на месте.

Ударить и замереть.

От него невозможно было отвести взгляд.

Даже зная, что этот взгляд может стать последним.

Он смотрел на меня ещё секунду.

Потом — улыбнулся. Тонко. Уголком губ. И отошёл.

Но запах остался.

В воздухе. На моей коже. Под рубахой. В лёгких.

И я знала: он не уйдёт. Ни из комнаты. Ни из меня.

5

Что-то оборвалось внутри.

Горячо. Слепо. Неудержимо.

Всё зло, весь кошмар, все потери — всё это было связано с ним. С этим безупречным лицом. С этими ледяными глазами. С этой ленивой, сытой властью, которая стояла передо мной и улыбалась.

Перед глазами пронеслись образы.

Дым над сожжёнными деревнями, где ещё вчера дети плескались у колодцев. Крики женщин, захлёбывающиеся в лязге стали и собачьем лае. Лица друзей, уведённых в застенки, — их глаза снились мне каждую ночь.

Языки пламени, пожирающие родной дом.

Отец на пороге с мечом в руках. За его спиной рушатся стены, но в глазах горит непокорённый огонь.

Этот же огонь разгорался во мне.

Ярость — холодная, острая, как обсидиановый скол, — прошила меня насквозь. Разлилась по венам расплавленным свинцом.

Я больше не могла выносить это безупречное, бесчувственное лицо. Этот изучающий взгляд, в котором не было ни раскаяния, ни тени сочувствия. Только ленивое любопытство.

— Ты — чума, — выкрикнула я. Голос дрожал, но не от страха. От бешенства. — Язва на теле мира. Ты — сама смерть, одетая в шёлк.

Он едва заметно приподнял бровь.

На губах появилась лёгкая, почти доброжелательная улыбка. Так улыбается человек, слышавший проклятия тысячу раз и воспринимающий их как скучный, но неизбежный аккомпанемент власти.

В этой улыбке было что-то до отвращения спокойное. Почти отеческое.

От этого мне стало ещё хуже.

— Громкие слова, — произнёс он. — От кого-то другого я, возможно, даже растрогался бы. Но от тебя они звучат почти приятно. Как музыка. Как гимн моей силе.

Это стало последней каплей.

Кровь гулко застучала в ушах. Я на долю секунды замерла. Во рту появился металлический привкус — я прикусила губу до крови. Солоноватая влага стекла по подбородку.

Краем глаза я заметила подсвечник у стены. Тусклое золото в свете ламп. Опрокинутый стул со сломанной ножкой, торчащей, как обломок кости.

За стеной — тяжёлые, размеренные шаги стражников.

«Сейчас или никогда».

Мысль обожгла.

Я метнулась вперёд, как распрямившаяся пружина. Рука сама нашла на краю стола короткий нож, забытый среди пыли и бурых пятен. Сталь обожгла пальцы.

— Сдохни! — крикнула я, бросаясь в атаку.

Целилась в горло. Стремительно. Отчаянно. Но с холодной точностью змеиного укуса.

Он не дёрнулся.

Смотрел на меня с тем же ленивым интересом, с каким смотрят на мотылька, летящего на пламя.

А потом, в последний миг, сделал едва уловимый шаг в сторону. Движение плавное, почти нечеловеческое. Небрежно перехватил моё запястье и резко вывернул руку.

Запястье хрустнуло.

Его пальцы были сухие и холодные. Но хватка — как раскалённые тиски.

Нож со звоном упал на камень и отлетел в угол. Звук эхом отразился от стен, как похоронный звон моей неудачи.

Я вскрикнула.

Но тут же стиснула зубы. Попыталась вырваться.

Бесполезно.

Его пальцы впивались в запястье, вдавливая кожу до кости. Оставляя отметины на память.

— Не думал, что ты настолько пылкая, — протянул он с искренним, почти чувственным восхищением. — Живая. В тебе столько огня, что я чувствую его кожей.

Он слегка наклонил голову, рассматривая меня, как редкую бабочку, пришпиленную к доске.

Но в его глазах было не просто любопытство мучителя. Нечто более опасное.

От этого меня захлестнула паника.

Я не понимала, кем он меня видит. Жертвой? Соперницей? Женщиной?

— Большинство на твоём месте уже бы рыдало и молило, — продолжил он. — А ты нападаешь. Это неожиданно. Даже восхитительно. Мне нравится, когда добыча не сдаётся без боя. В этом есть жизнь.

Я задышалась от ярости.

Каждая клетка тела кричала о желании исцарапать это безупречное лицо. Заставить его почувствовать хоть каплю той боли, что он причинил.

Я рванулась вперёд.

Он сжал запястье крепче.

Суставы хрустнули. Острая боль прошла руку до плеча.

— Отпусти! — прошипела я сквозь зубы, глядя на него с такой ненавистью, что, кажется, могла бы испепелить.

Он улыбнулся с лёгким азартом. С предвкушением.

— А что будет, если я не отпущу? — спросил он. — Попробуй что-то другое. Мне любопытно, насколько далеко ты готова зайти. Насколько ты изобретательна. И насколько отчаянна.

Его голос упал до шёпота.

Дыхание коснулось моей щеки. Табак. Гвоздика. Корица.

Его близость ударила в голову, смешивая ярость с чем-то иным. С чем-то предательским и инстинктивным.

Сердце забилось чаще вопреки ненависти.

И это пугало меня больше, чем боль. Больше, чем угроза смерти.

«Что со мной происходит?»

«Остановись».

«Ты — Сильвана. Голос Колтрейна. Ты не растаешь перед этой тварью, как глупая девка».

— Ты — ничто, — выдохнула я ему в лицо. — Инструмент в руках папочки тирана. Пустое место, которое думает, что оно власть. Тень.

Он рассмеялся.

Чисто. Почти весело.

Смех резал по оголённому нерву.

— Тень? — переспросил он. — Нет. Я — сама рука судьбы. Я решаю, кому жить, а кому умереть. И мне нравится, как ты на меня смотришь. Будто готова разорвать на части. Но в этом взгляде есть не только ненависть. Есть нечто горячее. Оно делает тебя ценной.

Он наклонился ещё ближе. Почти беззвучно, едва касаясь губами моего виска, произнёс:

— Ты думаешь, что ненавидишь меня. Но ненависть и желание — две стороны одной монеты. Особенно когда между нами так мало пространства и так много невысказанных возможностей.

Он отпустил моё запястье.

Но не отстранился.

Стоял так близко, что я чувствовала тепло его тела. Видела поры на коже. Лёгкий блеск пота у линии волос. Биение жилки на шее.

Его глаза, как озёра зимнего неба, изучали меня с пристальностью учёного, рассматривающего редкий образец. В них было жадное любопытство. И предвкушение.

Тишина стала тяжёлой, напряжённой, давящей на плечи.

Я пыталась восстановить рваное дыхание. Унять дрожь в пальцах.

Ярость билась о рёбра. Но я держала её в кулаке, как раскалённый уголь: обжигает, но даёт силу.

— Встань на колени, — произнёс он тихо.

Почти шёпотом.

Но оттого ещё более властно.

Слова звучали как приговор, высеченный в камне.

Кровь прилила к лицу жарким потоком. И тут же отлила, оставляя щёки ледяными. В висках застучало. Мир сузился до биения сердца и его голоса.

Я не двинулась.

Просто смотрела на него.

И в этом взгляде было всё, что я не могла сказать словами.

Он шагнул вперёд.

Слишком близко.

И тогда я сделала единственное, что ещё могла.

Я плюнула ему в лицо.

Слюна попала на скулу, растеклась по бледной коже. Я видела, как капля ползёт вниз, к уголку губ.

Он не вздрогнул.

Не отшатнулся.

Медленно поднял руку. Стёр слюну тыльной стороной ладони. Посмотрел на неё, будто изучая.

— Это было зря, — произнёс он иронично.

Его голос не изменился. Всё тот же бархат. Всё та же сталь.

Он отстегнул с пояса плетё.

Она развернулась в его руке, как змея, почуявшая тепло. Серебряная рукоять блеснула в свете ламп.

— Встань на колени, — повторил он.

Теперь это звучало иначе.

Не приказ.

Предупреждение.

— Нет, — ответила я.

Голос не дрогнул.

Он шагнул ко мне.

Я отступала. Пока спина не упёрлась в холодный камень.

Он прижал меня к стене.

Не рукой — всем телом.

Я почувствовала его жар. Его силу. Его запах.

Его грудь вдавилась в мою. Бёдра прижались к моим бёдрам. Я чувствовала каждую мышцу его тела — твёрдую, горячую, живую.

И — о боги — низ моего живота отозвался.

Тепло. Влажное. Предательское.

Оно растеклось внутри, спустилось ниже, запульсировало там, где я не хотела это чувствовать. Мои соски напряглись, прижавшись к его груди через ткань. Я знала, что он чувствует это. Знала, что он чувствует, как дрожат мои бёдра, как учащается дыхание, как тело — проклятое, животное тело — отвечает ему.

«Нет. Нет. Нет».

Я мысленно кричала.

Но тело не слушало.

Его близость, его сила, его запах — всё это проникало в меня, будило что-то тёмное, первобытное, постыдное. Я ненавидела его. Ненавидела. Но моё тело хотело, чтобы он не отстранялся. Чтобы прижался ещё сильнее. Чтобы...

Рукоятка плети упёрлась мне в подбородок.

Он приподнял моё лицо.

Наши глаза встретились.

Наши губы оказались друг напротив друга.

Так близко, что я чувствовала его дыхание на своих губах. Тёплое. С запахом табака и гвоздики.

Он посмотрел на меня долго. Изучающе.

Потом его губы изогнулись в медленной, циничной улыбке.

— Ты чувствуешь? — спросил он шёпотом. — Чувствуешь, как твоё тело хочет меня? Как оно стало мокрым и горячим? Оно уже моё, Сильвана. Осталось только, чтобы твоя гордость перестала мешать тебе раздвинуть ноги и признать это.

Он прижал рукоятку сильнее, заставляя меня смотреть ему прямо в глаза.

— Я обещал показать тебе, что бывает с теми, кто сопротивляется, — продолжил он, не меняя тона. — Урок будет долгим. И я прослежу, чтобы ты усвоила его.

Его взгляд скользнул ниже.

К моей шее.

К верёвке.

К узлу.

Я почувствовала, как он увидел его. Как понял, что это. Как что-то изменилось в нём. Не в лице. В глазах. Что-то тёмное. Голодное. Другое.

— Что это? — спросил он тихо.

Я не ответила.

Не могла.

Он не ждал ответа.

Его рука отпустила рукоятку плети. Пальцы коснулись моей шеи. Медленно. Осторожно. Как будто он трогал что-то живое. Что-то хрупкое.

Верёвка. Потемневшая. От пота. От времени. От слёз.

Он провёл по ней пальцем. От ключицы до узла. Я почувствовала его прикосновение кожей. Каждую линию. Каждую шероховатость.

Дыхание перехватило.

— Интересно, — произнёс он.

И наклонился.

Ближе.

Ещё ближе.

Его губы коснулись моей шеи. Рядом с верёвкой. Тёплые. Мягкие. Не поцелуй. Прикосновение. Изучение.

Я замерла.

Сердце билось где-то в горле. В висках. В низу живота.

Он нашёл узел губами. Зубами.

Потянул.

Медленно.

Верёвка натянулась. Впилась в шею. На секунду — больно. Потом — свободнее.

Он развязывал её зубами. Не спеша. Смакуя. Как будто это было не просто верёвка. Как будто это было что-то большее.

Я чувствовала его дыхание на коже. Тёплое. Влажное. Живое.

Я чувствовала его губы. Не на шее. На самой границе. Там, где верёвка касалась кожи.

Я чувствовала его.

И — не могла двинуться.

Не могла отстраниться.

Не могла даже дышать.

— Нет, — прошептала я. — Не надо.

Но это был не протест.

Это была мольба.

Мольба, которую я сама не понимала.

Он не остановился.

Ещё одно движение зубами. Ещё одно.

Узел развязался.

Верёвка скользнула вниз. По шее. По груди. Упала на пол.

Тихо. Почти беззвучно.

Но я услышала это.

Как будто что-то оборвалось.

Что-то важное. Что-то моё. Что-то, что связывало меня с отцом. С домом. С прошлым.

Он не отстранился.

Не отступил.

Не отпустил.

Его тело всё ещё вжимало меня в стену. Его грудь всё ещё давила на мою. Его бёдра — на мои.

Он поднял голову.

Медленно.

Наши глаза встретились.

И в его взгляде не было ни удивления. Ни интереса. Ни любопытства.

Была уверенность.

Холодная. Тяжёлая. Абсолютная.

Так смотрят на то, что уже принадлежит тебе. На вещь, которую ты купил. На землю, которую ты завоевал. На женщину, которая уже — твоя. Даже если она сама ещё не знает об этом.

— Ты думаешь, что я развязал это, чтобы тебя освободить, — произнёс он тихо. — Нет. Я развязал это, чтобы ты поняла: здесь больше нет ничего твоего. Ни верёвки. Ни отца. Ни прошлого. Только я.

Его рука легла мне на затылок. Пальцы запутались в волосах. Потянули — не грубо, но так, чтобы я почувствовала: он держит.

— Ты уже моя, Сильвана, — сказал он. — Ты просто ещё не поняла.

Он не поцеловал меня.

Не ударил.

Не сделал ничего.

Просто держал.

Просто смотрел.

И это было хуже всего.

Потому что я чувствовала — каждой клеткой — что он прав.

Что я уже его.

И что бы я ни делала — это уже не изменить.

Диамант

1

Дверь пыточной заскрипела протяжно, натужно, будто сама не хотела впускать нового гостя.

Пришлось оторваться от Сильваны.

И это стоило мне заметного усилия.

Не потому, что она что-то значила. Нет. Просто её близость — тепло тела, запах страха, смешанный с потом и чем-то неуловимо свежим, — действовала на нервы. Натягивала их, как струны.

Внизу живота ещё теплился тот самый тёмный, ленивый жар, который всегда просыпался, когда добыча начинала сопротивляться по-настоящему.

Я бросил взгляд через плечо.

На пороге возник Роланд. Вошёл, как всегда, небрежно, покачивая папкой с пергамен-тами. За ухом — ручка. Он выудил её двумя пальцами, поиграл ею в воздухе, как сигаретой, и убрал обратно. Весь его вид говорил: «Я тут мимо проходил, не помешал?». Глаза блестели — живой, почти озорной огонёк, как у мальчишки, притащившего новую игрушку.

Его взгляд — синий, пронзительный — сначала скользнул по Сильване. Оценивающе. Жадно. С любопытством коллекционера, прикидывающего, в какую витрину поставить редкий экспонат.

Потом Роланд перевёл взгляд на меня и едва заметно кивнул: «Готов подыграть».

— Ну что, наша заключённая уже во всём созналась, потеряв голову от красоты вашей светлости? — произнёс он со смешком.

Сильвана метнула в него взгляд — острый, как бросок ножа.

Я видел, как её пальцы дёрнулись, пытаясь сжаться в кулаки, несмотря на боль в запястьях. «Чтоб вы оба сгорели» — читалось на её лице. Но внешне — не дёрнулась, спина прямая, подбородок вздёрнут, губы — в тонкую линию.

Я позволил себе задержать на ней взгляд чуть дольше, чем требовала вежливость.

Босая. Измученная. Спутанные волосы упали на лицо. Но взгляд — упрямый, несломленный. Загнанный зверь, ещё не осознавший, что клетка захлопнулась, но готовый биться до последнего.

Не сломалась.

Интересно, на сколько её хватит?

В ней что-то есть — не просто упрямство, а стержень. Несгибаемый. Каждое её слово — гвоздь в гроб её семьи, поэтому она молчит.

Вызов.

Хочу его принять. Сломать — или убедиться, что не сломается никогда.

— Почти, но не совсем, — я равнодушно пожал плечами. — Раз уж ты прервал процесс — води допрос.

Спектакль начинал отдавать пылью: все реплики известны, актёры забыли, как играть с душой. Все, кроме неё.

Ей, видимо, было не до скуки.

— Всё готово для протокола, ваша светлость, — кивнул Роланд, доставая ручку и бумагу. — Повеселим милорда?

Я усмехнулся. В улыбке — предвкушение зрителя, который надеется, что представление окажется не таким уж пресным.

Но внутри всё ещё пульсировало раздражение: от того, что пришлось отойти от неё. От того, что её запах застрял в ноздрях. От того, что рука до сих пор помнила, как её запястье вырывалось из хватки — бешено, горячо, живо.

— Знаешь, Роланд, — произнёс я, не глядя на него, — а ведь все эти революционные настроения у женщин обычно от недотраха.

Роланд замер на полпути к столу. Обернулся. На его лице расплылась широкая, почти мальчишеская ухмылка.

— О? — протянул он. — И к чему ты это?

— А к тому, — я лениво повёл плечом, — что, возможно, наша пленница просто ни разу не была в умелых руках. Отсюда и вся эта злость. Отсюда и нож. Отсюда и плевок.

Роланд рассмеялся.

— Вот как? А мне показалось, ты как раз собирался предложить ей свои... умелые руки. Прямо перед тем, как я вошёл.

— Не передёргивай, — сказал я, опускаясь в кресло. — Я всего лишь показывал ей, насколько бесполезно сопротивление.

— Ну да, ну да. — Роланд кивнул с серьёзным лицом. — Прижимал к стене, дышал в губы, а она, бедняжка, наверное, просто не поняла твоих педагогических намерений.

— Педагогических, — повторил я. — Хорошее слово. Мне нравится. Пожалуй, я им воспользуюсь. — Я повернулся к Сильване. — Слышишь, девочка? У тебя будет урок. Долгий. Обстоятельный. Но сначала — ты скажешь нам всё, что нужно. А потом — мы продолжим. Наедине. Без свидетелей. Я покажу тебе, что бывает с теми, кто плюётся и кидается с ножами. И почему после этого они уже не сопротивляются.

Сильвана вскинула голову.

Её глаза — зелёные, прозрачные, как лесное озеро, — вспыхнули.

— Ты можешь продолжать сколько угодно, — произнесла она спокойно. Но в этом спокойствии было больше ярости, чем в крике. — Ты можешь меня бить. Жечь. Ломать. Можешь развязать все верёвки на моём теле. Но ты не услышишь ни слова. Ни о моём отце. Ни о сопротивлении. Ни о чём. Потому что я — не ты. Я не продаю своих.

Она выпрямилась.

— И ещё, — добавила она, глядя мне прямо в глаза. — Насчёт «недотраха». Если ты думаешь, что женщина может быть верна только тому, кто её трахнул, — ты себя выдал. С головой. Ты не знаешь, что такое верность. Ты знаешь только владение. И это — твоя слабость.

Тишина.

Роланд присвистнул.

Я смотрел на неё.

И чувствовал, как что-то во мне — тёмное, голодное, давно спящее — шевелится.

Она не просто сопротивлялась. Она била. Туда, куда нужно. В слабое место. Которое она даже не знала.

И это было восхитительно.

Я улыбнулся.

Медленно. Широко. Искренне. Впервые за долгое время.

— Ты забавная, Сильвана, — сказал я тихо. — Глупая. Самонадеянная. И забавная. Я давно так не развлекался.

Я не поднялся с кресла.

Наоборот — откинулся на спинку. Потянулся к столику рядом. Там стояла бутылка абсента. Зелёное стекло. Пробка. Бокал. Я налил себе. Медленно. Не торопясь. Как будто мы были не в пыточной, а в гостиной. Как будто она — не пленница, а гостья.

Абсент качнулся в бокале. Зелёный. Ядовитый. Я поднёс его к губам. Сделал глоток. Не отрывая взгляда от неё.

— Знаешь, что я сделаю? — спросил я. — Я дам тебе время. Подумать. Остыть. Понять, где ты и что тебя ждёт. А потом — мы снова пообщаемся. Наедине. В более... приватной обстановке.

— Не дождёшься, — процедила она.

— Посмотрим, — ответил я. И добавил, улыбнувшись в бокал: — И запомни: чем быстрее ты сознаешься — тем быстрее мы окажемся вдвоём. Так что подумай. Хорошенько. Может, стоит поторопиться?

Сильвана вспыхнула.

— Ты — мерзавец, — произнесла она сквозь зубы. — Самодовольный, избалованный мерзавец, который думает, что всё в мире крутится вокруг его члена. Ты не получишь ничего. Ни слова. Ни стоны. Ни меня. Слышишь? Ничего.

Роланд расхохотался.

Громко. Открыто. Довольно.

— О, Валентайн, — сказал он, вытирая глаза. — Она тебя расписала. По буквам. Это лучшее, что я слышал за последний год.

Я улыбнулся.

Не ей. Роланду.

— Согласен, — сказал я. — Она умеет говорить. Посмотрим, как она умеет молчать.

Я снова поднёс бокал к губам.

Абсент был холодным. Горьким. Тёплым — только на дне.

Я смотрел на неё сквозь зелёное стекло.

Она стояла. Связанная. Босая. Злая.

И — моя.

Она ещё не знала этого. Но я — знал.

И это было слаще абсента.

— Роланд, — бросил я. — Начинай.

Сильвана

1

— Имя? — спросил Роланд.

Голос лёгкий, почти светский. Будто он спрашивал, что подадут на ужин. Ручка замерла над пергаментом. Он смотрел на меня поверх бумаги и явно ждал развлечения.

Я молчала.

Губы сжаты. Внутри всё ходило ходуном. Не от страха — от бессильной, жгучей ярости. Двое мужчин решали мою судьбу. Для них это была вечерняя партия в шахматы. Я — пешка.

— Имя, — повторил Роланд чуть громче.

Без злости. С досадой человека, которому приходится объяснять очевидное непонятливому ребёнку.

— Не затягивай, — добавил он. — У нас впереди долгая ночь.

— Сильвана Этвуд.

— Возраст?

— Девятнадцать.

Роланд кивнул, записал что-то. Потом повернулся к Диаманту:

— Обвинение?

Диамант закурил. Дым потянулся к потолку — серый, сладковатый. Он не торопился. Затянулся, выпустил дым через ноздри, и только потом ответил:

— Мятаж. Сопротивление короне. Укрывательство изменников. Подрывная деятельность. И совсем недавно покушение на королевскую особу.

Он сделал паузу, стряхнул пепел на пол.

— Мелочи.

Роланд усмехнулся и начал писать.

Скрип ручки разносился по пыточной, как царапанье когтей по камню. Как нож по кости. Он записывал с аккуратностью человека, составляющего список покупок, а не перечень преступлений, за которые вешают.

— Признаёшь себя виновной? — спросил Роланд с усмешкой.

— Нет.

Колени дрожали. Я вжимала ногти в ладони, чтобы унять эту дрожь. Каждый вдох давался спазмом. Во рту — металл от прикушенной губы.

«Держись».

Роланд с удовлетворением вывел очередную строку. Сделал ручкой изящный завиток, будто рисовал миниатюру.

— Отказ от признания, — произнёс он. — Ожидаемо. Но слова — это слова. А вот тело... тело говорит куда красноречивее.

Диамант поднялся.

И шагнул ближе.

Я отступила. Спина упёрлась в холодную, влажную стену, пропитанную запахом чужого страха.

Его одеколон — гвоздика, корица, пряный и насыщенный — на секунду перебил даже запах крови и пота.

— У нас есть множество способов развязать язык даже самым стойким, — сказал он почти ласково. Участливо. Отчего становилось ещё страшнее. — Ты не первая, кто думал, что выдержит всё.

Я вскинула голову.

— И не последняя.

Роланд сухо хохотнул. Будто треснула ветка на морозе.

— Отвага без разума — просто глупость, — заметил он.

— А жестокость без причины — безумие, — отрезала я.

Роланд замер.

Ручка повисла над пергаментом.

В его взгляде на миг мелькнуло нечто — то ли раздражение, то ли невольное восхищение дерзостью. Но уже в следующую секунду лицо снова стало маской.

— Посмотрим, что скажет твоё тело, — произнёс он буднично и вернулся к записям.

Диамант подхватил:

— Тело.

Он произнёс это слово со странным, почти интимным знанием. Как произносят имя любовницы, с которой провели не одну ночь.

— Тело всегда говорит раньше, чем разум успевает солгать. Ты скоро это поймёшь. Своими связками. Суставами. Дыханием.

Он сделал паузу. Стряхнул пепел.

— И я послушаю. Мне нравится, когда тело признаётся первым.

К горлу подкатила тошнота.

Не от его слов. От того, как он их произносил. Спокойно. Со вкусом. Как смакуют дорогое вино.

— Ты не услышишь ничего, — выдавила я. — Ни от меня. Ни от моего тела.

— Посмотрим, — ответил он.

И щёлкнул пальцами.

Вошли двое стражников.

Пустые, кукольные лица. Они схватили меня за руки и оторвали от стены. Железные пальцы впились в кожу, оставляя синяки, которые, возможно, никто никогда не увидит.

— Отпустите! — крикнула я, рванувшись. — Вы ничего не добьётесь!

Меня волокли к центру комнаты.
К дыбе.

Железная. С ремнями для запястий и лодыжек. С датчиками на раме. С проводами, тяну-
щимися к потолку.

А рядом — стойка. На ней — пульт. Чёрный. Блестящий. С кнопками. С лампочками.
С рычажками.

Диамант подошёл к стойке.

Взял пульт.

Провёл пальцами по кнопкам. Медленно. Как будто ласкал.

— Знаешь, что это? — спросил он тихо. — Это — прогресс. Твои предки использовали
верёвки. Варвары. Мы — технологии. Леброн принёс их сюда. И они работают лучше. Быстрее.
Точнее.

Он нажал кнопку.

Дыба загудела. Тихо. Ровно. Как пчелиный улей.

Ремни на запястьях затянулись сами.

Кожа под ними вздулась. Покраснела. Я почувствовала, как металлические пряжки впи-
ваются в сухожилия. Как каждая жилка натягивается, будто струна.

Верёвки подняли мои руки вверх.

Сначала — глухое натяжение. Где-то в предплечьях. Далёкое. Как гул.

Потом — жжение. В запястьях. Словно кожу сдирали по кругу. Медленно. Сантиметр за
сантиметром. Обнажая розовое, живое.

Пальцы онемели. Стали чужими. Как будто их отрезали и пришили обратно — не той
стороной.

Я чувствовала, как в ладонях собирается влага. Кровь. Тёплая. Липкая. Она стекала по
запястьям. Капала на пол.

Он нажал ещё раз.

Что-то щёлкнуло.

Левый сустав вышел из впадины.

Я услышала это раньше, чем почувствовала. Хруст. Сухой. Короткий. Как ломается сухая
ветка.

А потом — боль.

Она ворвалась.

Раскалённым штырём. В плечо. В шею. В глазницы.

Мышцы выли. Связки натягивались до предела, готовые лопнуть.

Я закричала.

Не хотела. Клялась себе. Но закричала.

Он улыбнулся.

Широко. Искренне. Как ребёнок, получивший долгожданную игрушку.

— Вот так, — произнёс он. — Ещё раз.

Он нажал кнопку снова.

Правый сустав хрустнул.

Боль была белой. Ослепительной. Всепоглощающей.

Я чувствовала, как кость трётся о кость. Как суставная сумка рвётся. Как что-то внутри
— тёплое, живое — лопается.

Я хрипела. Дёргалась в ремнях. Ногти царапали воздух.

Он смотрел.

И — наслаждался.

Не скрывал этого. Не прятал улыбку. Не отводил взгляд.

Он любовался.

Мной. Моей болью. Моим криком.
Как художник — своей картиной.

— Предыдущая сломалась на пяти оборотах, — задумчиво произнёс он, не отрывая пальцев от пульта. — Посмотрим, каков предел этой.

Роланд отложил ручку.

— Слушай, — сказал он. — Может, хватит? Ей больно. Она не скажет. Ты же видишь.

— Не мешай, — ответил Диамант, не оборачиваясь.

— Я не мешаю. Я предлагаю сделку. — Роланд улыбнулся мне. Широко. Почти дружелюбно. — Давай закончим поскорее. Ты скажешь нам всё, что нужно. Я оставлю вас наедине. А его милость покажет тебе истинное гостеприимство. В своей спальне. Там тепло. Мягко. Только вы. Вдвоём.

Он подмигнул.

Меня передёрнуло.

Не от боли.

От того, как он это сказал.

Спокойно. Буднично. Как будто предлагал выбор между двумя сортами чая.

— Ты — мерзавец, — процедила я. Но голос дрогнул. От слабости. От унижения. От того, что он озвучил то, о чём я боялась думать.

— Я знаю, — ответил Роланд без злости. — Но я хотя бы честный мерзавец. Он — тихий. А я — громкий. Выбирай, кого бояться больше.

Диамант нажал кнопку снова.

Ещё один сустав. Ещё один хруст.

Мир схлопнулся в белую точку.

Я перестала видеть. Слышать. Чувствовать что-либо, кроме боли.

Она была всюду. В лёгких. В сердце. В костях. В мыслях.

Я потеряла счёт времени. Счёт кнопок. Счёт криков.

Кровь из запястий уже не капала — текла. Тёплая. Густая. Я чувствовала её на бёдрах. На коленях. На камне под собой.

Дыхание прерывалось. Лёгкие горели. Я не могла вдохнуть — только сипела и хватала воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег.

— Она теряет сознание, — произнёс Роланд. Теперь без шуток. Серьёзно. — Диамант. Останови.

— Ещё раз.

— Нет. — Роланд шагнул вперёд. Взял его за запястье. — Она сдохнет. А тебе нужна информация. Не труп.

Пауза.

Диамант посмотрел на него.

Долго. Холодно.

Потом — улыбнулся.

— Ты прав, — сказал он. — Труп мне не нужен.

Он отпустил кнопку.

Пульт упал на стойку с глухим стуком.

Дыба замерла.

Ремни ослабли.

Я упала на колени. На камень. На холодный, мокрый пол.

Перед глазами плыло.

Я видела расплывчатые очертания. Стол. Стойку. Стражников у двери. Роланда, который что-то писал. Диаманта, который подошёл ближе.

— Ну что, Сильвана, — произнёс он тихо. — Где твой отец?

Я подняла голову.
Насколько хватило сил.
— Иди ты... — прошептала я. Голос сорвался. Но слово было сказано.
Он рассмеялся.
Громко. Искренне.
И в этот момент — я увидела.
На полу. У ног Диаманта. Рядом с его сапогом.
Узел.
Тот самый. Потемневший. От пота. От времени. От слёз.
Он лежал на камне. Брошенный. Забытый. Никому не нужный.
Отец.
Прости.
Я не удержала.
Диамант проследил за моим взглядом.
Увидел узел.
Улыбнулся шире.
Наклонился.
Поднял его двумя пальцами.
Покрутил в воздухе.
— Сентиментальная штучка, — произнёс он. — Верёвка. Узел. Связь с папочкой? Или с женихом? Не важно. — Он разжал пальцы. Узел упал обратно на пол. — Всё это — прошлое. А прошлое здесь не работает. Ты уже не та девочка, что пришла сюда. Ты — моя. И скоро ты это поймёшь. В постели. Или на дыбе. Выбор за тобой.
Он не отошёл.
Он поднял ногу.
Медленно.
Сапог — чёрный, кожаный, начищенный до блеска — опустился на узел.
Подошва коснулась верёвки.
Я услышала хруст.
Не костей. Верёвки. Сухой. Короткий. Окончательный.
Он надавил.
Медленно.
Вдавливая узел в камень.
Верёвка расплющилась. Потемневшие волокна разошлись. Узел — тот, что отец завязал своими руками, — превратился в бесформенный комок.
Он держал ногу на нём.
Смотрел на меня.
Улыбался.
— Видишь? — произнёс он тихо. — Ничего не осталось. Ни верёвки. Ни отца. Ни тебя прежней. Только я. И то, что я с тобой сделаю.
Он засмеялся снова.
Смех эхом отразился от стен.
Я смотрела на его сапог.
На узел под ним.
На то, что осталось от связи с отцом.
И тьма — глухая, абсолютная — накрыла меня.
Последнее, что я почувствовала, — что-то тёплое и влажное ползло по щеке.
Слеза или кровь.
Уже не важно.

Диамант

1

Вечер опустился на Рокуэлл тяжёлой бархатной тряпкой.

Коридоры тонули в полумраке, и лишь дрожащий свет факелов отбрасывал на стены изломанные тени, похожие на призраков былых попоек. Сквозняк разносил запах воска, кислого вина и чего-то приторно-сладкого: то ли перезрелых фруктов, гниющих где-то в углу, то ли дешёвых благовоний, которыми Роланд любил окуривать свои покои.

Этот липкий, как патока, запах оседал на языке и вызывал тошноту.

Я шёл не спеша, даже не слушая эхо собственных шагов. Я точно знал, куда направляюсь. В покои Роланда, где смех всегда звучит слишком громко и истерично, а границы приличий стираются быстрее, чем воск на свече.

Дверь была приоткрыта.

Из-за неё доносились приглушённые смешки, звон бокалов и томные вздохи — мелодия, знакомая до оскомины.

Я переступил порог без стука, даже не потрудившись обозначить своё появление.

Комната утопала в дыму и винном перегаре. Повсюду хаос, будто здесь только что закончился пир вакханалии, а гости сбежали, бросив всё как есть. Шторы задёрнуты наглухо.

На низком столике — опрокинутый бокал, из которого ещё сочилась тёмная лужица. Рассыпанные ягоды, похожие на капли крови на белой скатерти. Крошки хлеба, разбросанные, как пепел.

В центре комнаты на широком ложе, обитом бордовым бархатом, полулежал Роланд.

Одной рукой он небрежно обнимал за талию молоденькую служанку. Её платье было смято и расстёгнуто ровно настолько, чтобы ткань прилипала к вспотевшей коже. Одна грудь вывалилась наружу. Сосок — тёмный, набухший — блестел от слюны. Роланд только что его лизал. Не стеснясь.

Заметив меня, служанка вздрогнула и попыталась отстраниться. Роланд удержал её. Грубо притянул обратно, как игрушку, в которую пока не наигрался.

— О, милорд! — воскликнул он, лениво махнув свободной рукой. — Присоединяйтесь. Компания лишней не бывает.

Голос гулкий, с хрипотцой, выдающей сытость и пресыщенность после долгих часов в компании вина и женского тела.

Я приподнял бровь.

Окинул сцену холодным, почти безразличным взглядом.

Всё это было предсказуемо. Вино, женщины, показная щедрость — дешёвые декорации к одной и той же истории. Приторная, липкая ваниль, от которой сводит скулы.

Но я подошёл.

Склонился над служанкой. Провёл пальцем по её губам. Они были влажные, распухшие от поцелуев. От её подбородка до груди тянулась влажная дорожка. Слюна. Его. Или её. Уже не разобрать.

— Хочешь сделать мне минет? — спросил я.

Она замерла. В глазах — страх, смешанный с любопытством. С возбуждением. С пониманием, что отказывать не принято.

— Никто тебя не принуждает, — добавил я.

Она сглотнула.

Потом кивнула.

Я расстегнул штаны.

Она опустилась на колени.

Колени коснулись камня. Холодного. Она вздрогнула. Но не отстранилась.

Я видел её затылок, тонкую шею, линию позвоночника, исчезающую под смятой тканью. Её губы сомкнулись на головке — неуверенно, с дрожью. Слюна потекла обильно, горячая, стекая по стволу. Тёплая. Тягучая. Как сироп.

— Осторожнее, милочка, — протянул Роланд, устраиваясь удобнее на подушках. — Его светлость не любит, когда кусаются. Хотя, знаешь, некоторым нравится лёгкая щекотка зубами. Но не ему. Ему нравится, когда глубже. И без зубов. Попробуй.

Служанка замерла на миг, потом продолжила.

Её голова двигалась ритмично, неумело, но старательно. Я чувствовал её язык, её нёбо, её зубы — она старалась не задевать, но получалось плохо. Слюна текла из уголков рта, стекала по подбородку, капала на грудь, на смятое платье. Тёмное пятно расплзлось по ткани. Мокрое. Липкое.

— Расслабь горло, — бросил Роланд. — Да не так. Глубже. Он не сломается. Давай, открой рот шире. Вот. Так. Ещё. Ещё глубже.

Она попыталась взять глубже.

Её горло сжалось вокруг меня. Тёплое, влажное, пульсирующее. Она закашлялась, по подбородку потекли слюна и слизь. Глаза наполнились слезами. Но она не остановилась. Не могла. Не смела.

— Вот так, — одобрительно кивнул Роланд. — Теперь работай языком. Да не как корова! Нежнее. И быстрее. Тебе же не впервой. Хотя, судя по лицу, впервой. Ну ничего. Научись. Он не первый, кого ты учишься брать в рот.

Он отпил вина, не сводя с нас глаз.

— Знаешь, — произнёс он задумчиво, — она недавно у нас. Повариха сказала, что она с севера. Может, поэтому такая неумелая? Северяне обычно дикие в постели, а эта... как бревно. Тёплое. Влажное. Но бревно.

Он махнул рукой.

— Впрочем, для твоих целей сгодится.

Я не отвечал.

Чувствовал только её рот. Тёплый. Мокрый. Податливый.

Она двигала головой, заглатывая меня глубже, чем, кажется, сама ожидала. Её горло сокращалось, сжималось, вызывая механическое удовольствие. Губы скользили по стволу, оставляя влажные следы. Слюна смешивалась с предэякулятом, текла по моим бёдрам, пачкала штаны. Мокрые пятна расплзлись по коже.

— Слышишь? — Роланд ухмыльнулся. — Эти звуки. Как будто полощут бельё. Но заводит, правда? Или у тебя уже не стоит? Она же не сопротивляется. Тебе же такие не нравятся.

Я бросил на него короткий взгляд.

— Скорее утомляет.

Он рассмеялся.

— Ну, ты всегда был привередлив.

Служанка продолжала.

Её ритм сбивался, она то ускорялась, то замирала, пытаясь справиться с рвотным рефлексом. Слёзы текли по щекам, смешиваясь с потом. Тушь расплывалась, оставляя чёрные дорожки. Из носа текло. Она всхлипывала, но не останавливалась. Не могла остановиться. Я не разрешил.

— О, боги, — протянул Роланд. — Посмотри на неё. Красотка, да? И такая старательная. Может, оставишь её себе? Будет развлекать по вечерам.

— Мне хватает Ванессы и прочих, — ответил я.

— Ванесса — это другое. А эта — свежая. Наивная. С такими интереснее: они ещё не научились притворяться. Хотя эта уже не первый раз стоит на коленях. Видишь, как она держит спину? Прямо. Не гнётся. Странно.

Служанка закашлялась, но не выпустила меня изо рта.

Платье промокло насквозь, прилипло к груди. Я видел очертания её сосков под тканью. Один — тот, что вывалился — блестел в свете факела. Мокрый. Тёмный. Набухший.

— Ну как? — спросил Роланд. — Стоящая?

— Сносная, — ответил я.

Это было правдой. Не более.

Рот у неё был тёплый, влажный, податливый. Физически всё работало. Но внутри не было ничего. Ни вызова, ни огня, ни сопротивления. Просто влажная полость, которая двигалась в такт. Как механизм. Как игрушка. Как труп.

Я кончил быстро.

Она сглотнула. Почти безропотно.

По лицу её текли слёзы, слюна и моя сперма. Всё смешалось в одну липкую массу. Она смотрела на меня снизу вверх — заплаканная, дрожащая.

— Свали, — приказал я.

Она поднялась. Ноги дрожали. Колени подгибались. Поправила платье. Бросила на меня короткий испуганный взгляд и исчезла в смежной комнате.

Я застегнул штаны и опустился в кресло.

— Она смоталась с такой скоростью, будто я вот-вот прикажу содрать с неё кожу, — произнёс я. — Это утомляет.

Роланд расхохотался, откинувшись на подушки. Смех густой и сытый, как у кота, объевшегося сливок.

— Просто она не привыкла к высочайшим визитам, — сказал он. — А ты, признаться, бываешь пугающе холоден. Даже я иногда ёжусь. Вот как сейчас, например. Ты вошёл — и стало холоднее.

— Мне скучно, — отозвался я. — Покорность меня не развлекает. В ней нет вызова. Нет огня. Это как трахать тёплый труп. Технически возможно. Но зачем? Роланд закашлялся, подавился смехом, но быстро пришёл в себя.

— Тебе подавай драму, кровь, слёзы и мольбы, — заметил он. — Извращённый вкус, ваша светлость.

— У меня есть вкус, — холодно парировал я. — Разница существенная.

Я замолчал.

Взгляд скользнул к окну, за которым чернела ночь, густая, как чернила.

И перед глазами вспыхнула Сильвана.

Не та, что кричала на дыбе. Не та, что потеряла сознание. А та, что смотрела на меня в пыточной — прямо. В глаза. С ненавистью. С вызовом. С жизнью.

Колючка, застрявшая в ладони.

Больно, но невозможно не трогать.

Она не боится. Или боится, но прячет это так умело, что сама становится охотником.

Это будило древний, первобытный азарт.

— Ты всё ещё думаешь о ней? — спросил Роланд.

Он приподнялся на локте. Взгляд стал острее, трезвее. Алкоголь не смог затуманить его проницательность.

Голос понизился до шёпота, который в тишине звучал почти интимно:

— О нашей строптивой пленнице?

Я не ответил сразу.

Провёл пальцем по краю бокала. Холодное, влажное стекло. Будто взвешивал слова на вкус. И опасность.

— Она отличается, — произнёс я наконец. — В ней нет страха. Или она прячет его так хорошо, что это становится вызовом. А вызов заставляет кровь бежать быстрее. Ты видел её

сегодня? На дыбе? Она кричала. Но не просила. Ни разу. Ни слова. Даже когда я выкручивал ей суставы — она смотрела мне в глаза. И ненавидела. И это было лучше, чем всё, что я чувствовал за последний год.

Я помолчал, глядя, как вино в бокале ловит свет факела.

— Ты замечал, что по-настоящему сладок только тот плод, который сопротивляется, когда его срывают?

Роланд хмыкнул.

— Вызов? — переспросил он, поднимая бокал и глядя, как рубиновая жидкость переливается в свете факела. — Ты всегда любил сложные задачи. И пленница, признаться, приглянулась и мне. В ней есть что-то дикое. Но я уступаю тебе пальму первенства. Хотя не уверен, что она с готовностью ляжет под тебя, раздвинув ноги, как ты привык.

— Это не имеет значения, — ответил я. — Я беру то, что хочу. Всегда.

Роланд склонил голову набок.

— И как же ты её возьмёшь? — спросил он с неподдельным любопытством. — Сильно сомневаюсь, что она сама приползёт к тебе в спальню и будет умолять.

Я откинулся на спинку кресла. Прикрыл глаза.

— Приползёт. Не сразу. Но приползёт.

Перед внутренним взором снова возникла Сильвана. Босая. Измученная. С невыносимо упрямым взглядом. И — узел. На полу. Под моим сапогом.

— Сначала я сломаю её, — продолжил я. — Медленно. Тщательно. С наслаждением. А когда она сломается — подниму с колен и посмотрю, что останется. Вот тогда и начнётся самое интересное. Я видел её узел. Она смотрела на него. Как на последнюю надежду. Я раздавил его. Сапогом. Медленно. Она видела. И — ничего. Ни слёз. Ни мольбы. Только ненависть. Ещё больше ненависти. Она думает, что это конец. Но она ошибается. Я только начал.

Роланд крутил бокал в пальцах, наблюдая, как капли вина стекают по стеклу, оставляя влажные следы, похожие на кровь.

— О, бедняжка даже не знает, какая судьба её ждёт, — сказал он со смехом, похожим на звон разбитого стекла. — Её трахнут и забудут. Или хочешь поиграться подольше? Проведёшь личный допрос с пристрастием у себя в спальне? Только не забудь — она ещё не ела. С утра. Может, покормишь её перед тем, как трахать? А то сдохнет — и всё. Ни тебе, ни мне.

— Возможно, — ответил я коротко. И добавил, усмехнувшись: — Покормлю. Потом. Когда начнёт просить.

Я поднялся.

На миг застыл в полумраке. Потом двинулся к двери, и тени дрожали, потянувшись следом.

Через плечо, не оборачиваясь, бросил:

— Так что возвращай назад ту мелкую шлюшку. А я, пожалуй, займусь нашей мученицей. Хоть какое-то развлечение.

— Долго ли планируешь развлекаться? — спросил Роланд мне в спину.

— До последней капли.

Я развернулся. Плащ взметнулся за спиной. В коридоре тени смыкались, обвивали меня, как змеи.

В голове билась одна мысль.

Медленно. Тщательно. С наслаждением.

И — сапог. На узле. Точно так же я растопчу всё, во что она верит.

До последней капли.

Сильвана

1

Тени кошмара всё ещё цеплялись за меня, когда я с трудом приоткрыла глаза. Они душили, шептали на забытом языке. Я мотала головой, разгоняя наваждение, но оно не уходило. Оно оседало на коже, как холодная испарина, и дышало в затылок.

Свет не изменился.

Всё тот же тусклый отблеск — не поймёшь, лампа ли это в коридоре или луна протиснулась сквозь щель под потолком. Сознание возвращалось медленно, будто продиралось сквозь смолу, цепляясь за обрывки видений.

Мне было холодно.

Каменная плита подо мной была ледяной. Я попыталась сесть, но мир поплыл. Стены, тени и свет слились в мутный калейдоскоп. Меня качнуло, я едва успела опереться ладонью о стену.

Камень был сырой. Липкий.

Запястья отозвались острой болью.

Верёвки дыбы оставили багровые борозды. Теперь каждый удар сердца отдавался в них, будто кто-то вколачивал гвозди под кожу.

Память вернулась.

Ударил сразу.

Скрип блоков. Натяжение верёвок, вгрызающихся в плоть. Хруст суставов, от которого темнело в глазах. Ослепительная, белая боль, стирающая всё, кроме агонии.

И его взгляд.

Холодный. Расчётливый. Изучающий каждую мою судорогу.

Я ощупала себя.

На плечах — тёмные синяки с фиолетовыми краями. Ссадины на предплечьях саднили при малейшем движении. У губы запеклась кровь, стягивая кожу. Но, кажется, сломано ничего не было. Чёртов садист знал, как причинить максимум боли, не нанеся серьёзных повреждений.

Тело била мелкая дрожь. По спине стекал липкий пот. Каждый вдох давался с трудом, будто воздух был отравлен.

Я приказала себе не плакать.

Стиснула зубы до скрежета.

Но слёзы всё равно обожгли глаза. Не от боли. От унижения.

Я не кричала. Не просила пощады. Но потеряла сознание. А это уже поражение. Знак слабости, которую я не могла себе позволить.

Я провела дрожащей рукой по лицу, смахивая влагу. Не разбирая, пот это или слёзы.

Он снова всплыл в мыслях.

Диамант.

Высокий. Стройный. С ленивой грацией хищника, знающего, что жертва никуда не денется.

Он не торопился. Смаковал.

Его лицо безупречно, как у мраморной статуи. Прямой нос. Резкие скулы. Губы, которые могли бы казаться чувственными, если бы не вечная холодная усмешка.

В его глазах нет тепла. Только расчёт. Холодный, как зимний рассвет. Острый, как лезвие.

Почему он так вгрызается в мою память?

Словно клеймо, выжженное на коже.

Это злило сильнее боли.

Я вспомнила тот момент. Каменные стены. Неровные тени факела, извивающиеся, как змеи. Я стояла перед ним измученная, с прокушенной губой и кровью на подбородке.

А он напротив — расслабленный, почти скучающий. Но с опасным блеском в глазах. Отблеск стали в темноте.

Его голос, ровный и безэмоциональный:

«Встань на колени».

От этих слов по спине пробежал ледяной озноб.

А потом он вжал меня в стену.

И — я вспомнила не только это.

Я вспомнила его тело.

Твёрдое. Горячее. Живое. Его грудь, прижатую к моей. Его бёдра — на моих бёдрах. Его дыхание на моих губах. Табак. Гвоздика. Корица.

Я вспомнила, как он развязывал узел. Зубами. Медленно. Его губы на моей шее. Его дыхание на коже. Как верёвка скользнула вниз. Как он сказал: «Ты уже моя».

И — тело отозвалось.

Снова.

Не на память о боли. На память о нём.

Страх — острый, животный — сжал сердце. Перехватил дыхание.

Подчиниться — значит капитулировать. Признать его власть. Сделать первый шаг к потере себя.

Но вместе со страхом внутри что-то дрогнуло.

Что-то тёмное. Запретное.

Между бёдер стало горячо. Влажно. Предательски.

Я сжала колени. До боли. Но это не помогло.

В его голосе была не просто властность. В нём была абсолютная, неоспоримая сила. И эта сила притягивала. Манила. Будила древнее и забытое, от чего кровь бежала быстрее.

Это неправильно.

Грязно.

Я должна ненавидеть его. Желать ему смерти. Он мучил меня. Разрушил мою жизнь. Убивает мою страну. Охотится на отца. Он — воплощение зла, пришедшего стереть в пыль всё, что мне дорого.

Но сердце колотилось чаще при воспоминании о его голосе.

Тело, несмотря на боль, отзывалось на память о его близости.

Низ живота сводило судорогой. Не от ран. Не от холода. От чего-то иного.

Я поймала себя на том, что губы сами вспоминают его дыхание. То, как он наклонился ко мне. Как его одеколон — гвоздика, корица, что-то тёмное, мужское — перебил запах пыточной. Как его тихий, почти ласковый голос прошептал:

«Последний шанс».

И как на один безумный миг мне захотелось, чтобы он не отстранялся.

Чтобы остался.

Чтобы прижал сильнее.

Чтобы не отпускал.

Я ненавидела себя за это.

Сильнее, чем его. Сильнее, чем боль. Сильнее, чем всё, что со мной сделали.

Потому что это было во мне. Не в нём. Во мне.

Я резко одёрнула себя.

Зажмурилась. Впила ногтями в ладони. Боль вернула меня в тело.

«Вспомни Теда».

Я попыталась.

Его тёплую, немного застенчивую улыбку. Его руки, которые всегда умели успокоить. Его тихий смех, от которого на душе становилось светло.

Но образ расплывался. Ускользал, как дым на ветру.

Я видела его лицо. Но не могла его удержать. Черты смазывались. Глаза — серые? Или — голубые? Как зимнее небо? Как лёд?

Губы — тёплые? Или — холодные? Как у него?

Я не помнила.

Я помнила только его.

Диаманта.

«Нет. Нет. Нет».

Я снова уцепилась за воспоминание, как за последнюю нить. Тед у окна. Тед с кусочком янтаря на запястье. Тед, прижимающийся лбом к моему лбу.

Но его лицо теряло черты. Растворялось.

А из тумана выступало другое.

Мраморное. Холодное. Невозможное.

От этого стало так страшно, что дыхание остановилось.

Страшно не за жизнь. Не за судьбу.

За себя.

За ту часть себя, которую я не понимала и боялась. За то, что где-то глубоко внутри, под слоями ненависти и боли, тлела искра влечения. Грязного. Постыдного. Запретного.

И — сильнее, чем страх, чем боль, чем ненависть к нему, — была ненависть к себе.

За то, что я это чувствую.

За то, что не могу остановиться.

За то, что тело хочет его. А разум — кричит. Но тело — сильнее.

За стеной продолжала капать вода.

Ритм похож на отсчёт времени до следующего кошмара.

Я вцепилась в край рваной ткани — единственное, за что можно держаться.

— Ненавижу, — прошептала я.

Голос дрожал. Срывался на хрип.

И — я не знала, кого ненавижу больше.

Его.

Или себя.

За то, что не могу его выбросить из головы.

За то, что он — там. Внутри. Под кожей. В крови. В низу живота.

И это — хуже всего.

Хуже дыбы.

Хуже боли.

Хуже смерти.

2

Дверь камеры открылась со звуком, похожим на скрежет ржавого ножа по стеклу.

Мурашки побежали вдоль позвоночника ещё до того, как я увидела вошедшего.

На пороге стоял массивный стражник в тусклых доспехах. Лицо скрыто под козырьком шлема. Он не произнёс ни слова. Лишь коротко кивнул, приказывая следовать за ним.

Его молчание давило сильнее любой угрозы.

Я поднялась с каменного ложа. Мышцы не слушались, задеревенели, будто чужие. Сделала шаг. Потом другой. Остановилась перевести дух.

Ноги дрожали. В висках стучало.

Выбора не было. Не пойти — значит получить новую порцию боли, только быстрее и злее.

Я шла по стёртым тысячами ног ступеням, едва чувствуя их под собой. Каждый шаг давался с усилием, будто пережитое вдавливало меня в землю.

Я ожидала, что меня снова поведут в пыточную.

Но мы поднимались.

Лестничный пролёт сменялся другим. Затхлость и холод казематов отступали, уступая место свежему воздуху. Почти чуждому. Подозрительному.

Затем — коридор.

И наконец передо мной массивная дубовая дверь с резными узорами. Слишком изысканными для того места, откуда меня привели. Осколок другого мира, забытый здесь по ошибке.

Стражник отворил дверь. Втолкнул меня внутрь. И исчез.

Дверь захлопнулась с глухим, окончательным звуком.

Я замерла на пороге.

Проверила углы. Прислушалась.

Тишина нарушалась лишь слабым потрескиванием свечей, похожим на дыхание спящего зверя.

И — гулом. Тихим. Ровным. Не свечи. Не ветер. Электрическим. Живым.

В воздухе пахло воском и чем-то цветочным. Нежным. Не железом и не кровью.

Этот аромат казался чужим. Подозрительным. Будто насмешка.

Комната просторная, с высокими потолками в лепных завитках. Свечи отбрасывали причудливые тени, похожие на когтистые лапы.

Но не только свечи давали свет.

Под потолком — длинные белые лампы. Те самые. Из пыточной. Безжалостные. Без тепла. Без дрожи. Они горели ровно. Освещали всё — до последней складки на бархате. До последней царапины на паркете.

Стены обиты тёмно-зелёным бархатом. Мягким. Почти живым на ощупь.

Я невольно провела по нему рукой.

И — отдёрнула.

Под пальцами — не только ткань. Что-то твёрдое. Гладкое. Стекло. Панель. Вмонтированная в стену. С кнопками. С лампочками. Мигающими зелёным.

Я отшатнулась.

Где я? Почему здесь так спокойно?

В центре стоял массивный стол красного дерева с прожилками, похожими на вены. На нём — серебряный поднос с кувшином воды и бокалом.

Я коснулась стекла. Холодное. Прочное. Слишком безупречное для этого места.

Задев кувшин, я вздрогнула от звона. Сердце заколотилось.

У дальней стены обнаружилась ещё одна дверь.

Я открыла её.

И застыла.

Ванна. Огромная, полная пара. Вода мерцала, пахла лавандой и розмарином. Рядом на резном стуле лежали простыни и льняное платье. Ткань нежная, почти невесомая.

А над ванной — зеркало. Не просто зеркало. Экран. В раме. Тёмный. Но я видела в нём своё отражение. Чёткое. Слишком чёткое. Как будто оно знало больше, чем должно.

Зачем всё это?

Чтобы я расслабилась? Чтобы потом ударить сильнее?

Я понюхала воду. Коснулась её пальцем.

Тёплая. Не обжигает.

Слишком правильная. Слишком выверенная. Как будто её нагревали не на огне. А на чём-то другом. На том, что гудело под полом. Ровно. Тихо. Живо.

Дрожь в руках мешала расстегнуть одежду.

Тело умоляло о горячей воде. Разум кричал об опасности, о ноже за каждым подарком.

Но усталость заглушала его, как шум прибоя.

Я стянула грязную одежду. Ткань прилипла к ссадинам, отдиралась с болью, оставляя на коже багровые полосы.

Тело ныло, будто по нему прошли палками. Но хуже боли была грязь. Чужая. Липкая. Въевшаяся в поры.

Я опустила в воду.

Запястья тут же зажгло. Верёвочные борозды пульсировали в такт сердцу. Кожа на ссадинах горела тысячей иголок.

Я стиснула зубы, давя стон.

Но затем спазм сжал горло, и всё вернулось разом.

Скрип блоков. Хруст суставов. Его взгляд.

По спине, несмотря на тепло, тёк холодный пот. Я вцепилась в край ванны, пытаюсь унять дрожь.

«Это ловушка. Это ловушка. Это ловушка».

Постепенно боль отступала.

Сменялась теплом.

Почти предательским в своей сладости.

Я закрыла глаза, пытаюсь сосредоточиться на запахе трав и мягкости воды.

Но мысли возвращались к Диаманту.

Я приказывала себе не думать о нём. Сжимала край ванны до белых костяшек.

Образ не уходил.

Я снова слышала его голос — низкий, спокойный, будто говорящий о погоде, а не о боли. Видела его глаза без тепла, холодные, как зимний рассвет. Вспоминала его руки, касавшиеся меня то с жестокостью, то с почти заботливой точностью.

Почему он приказал привести меня сюда? Почему ванна? Почему чистая одежда? Что он задумал?

Ответов не было.

Только холодная, липкая тревога, смешанная с чем-то, чему я отказывалась давать имя.

Я закрыла глаза всего на миг, чтобы перестать видеть каменные стены, пятна копоти и собственные руки с багровыми бороздами.

И тогда — свет изменился.

Лампы над головой мигнули. Раз. Два. Три. Как будто кто-то нажал кнопку. Где-то далеко. В другой комнате. В другом мире.

А потом — вода изменилась.

Сначала едва уловимо. Будто стала гуще, плотнее. Перестала быть водой и превратилась во что-то тёплое, живое, дышащее.

Мне показалось, что по руке скользят чужие пальцы.

Я вздрогнула. Распахнула глаза.

В ванне и комнате никого. Только пар, свечи и тишина.

Но лампы горели ровно. Слишком ровно. Как будто кто-то смотрел. Через них. Через стены. Через всё.

Сердце колотилось у горла. Я прижала ладонь к груди, пытаюсь унять его.

Но едва я снова закрыла глаза, ощущение вернулось.

Теперь отчётливее.

Чужие пальцы скользили по предплечью. Поднимались к плечу. Касались шеи.

Не грубо. Но властно.

Так, как касался бы он.

Я резко выпрямилась. Вода выплеснулась через край.

В бронзовой лохани у изножья ванны колыхалось моё отражение. И на одно безумное мгновение мне почудилось, что за плечом стоит Диамант.

Чёрные волосы тонут в тенях. Голубые глаза смотрят сквозь пар.

Я вскрикнула.

Резко обернулась.

Сзади ничего. Только стена, покрытая изразцами, и капли конденсата, стекающие вниз, как слёзы.

И — зеркало. То самое. С экраном.

«Это галлюцинация. От боли. От усталости. От страха».

Я заставила себя медленно и глубоко вдохнуть.

Но паника не отступала. Она поднималась изнутри, липкая и удушающая. Гораздо сильнее, чем в пыточной.

Там я знала врага. Знала, что нужно терпеть.

А здесь, в этой проклятой ванне, врагом становилась я сама.

И — комната. Она знала это. Считала. Запоминала. Ждала.

Я окунулась с головой.

Вода сомкнулась над макушкой, обрубил звуки, оставив лишь глухое биение сердца в ушах, висках и кончиках пальцев.

Я задержала дыхание.

Секунда. Другая. Пять. Десять.

Лёгкие начало жечь. Перед глазами вспыхивали багровые пятна.

Я держалась, пока хватало сил. Пока тьма не подступила со всех сторон. Пока не убедилась, что наваждение ушло.

Затем вынырнула.

Вода хлынула с волос, залила лицо, смешалась с чем-то горячим на щеках.

Я не сразу поняла, что это слёзы.

Не от боли.

От бессилия.

От того, что даже здесь, в этой украденной передышке, он не оставил меня.

Я выбралась из воды.

Накинула мягкий халат, лежавший рядом. Ткань окутала теплом — чуждым, неправильным, как маска.

Вернулась в комнату.

Лампы всё ещё гудели. Тихо. Ровно. Живо. Экран на стене мигал. Зелёным. Красным. Снова зелёным.

Я рухнула на кровать. Слишком мягкую. Слишком роскошную для пленницы.

Матрас под ладонями — не просто ткань. Что-то под ним. Тёплое. Живое. Он нагревался. Сам.

Я пыталась держать глаза открытыми. Анализировать. Искать подвох.

Но тело сдавалось. Разум растворялся, как сахар в горячей воде.

И вдруг меня настиг запах.

Гвоздика. Корица. Что-то тёмное, мужское.

Въевшееся в подушку. В простыни. В сам воздух комнаты.

Это был запах Даманта.

Секунду назад я была готова отбросить подушку. Сбросить одеяло. Сжечь простыни.

Но вместо этого, неосознанно, как зверь, ищущий нору, я уткнулась лицом в подушку.

И вдохнула.

Глубоко. Жадно. До дрожи.

Я ненавидела себя за это.

Но запах заземлял. Возвращал в тело. Давал странное, постыдное чувство безопасности — единственное, что осталось после пережитого.

Токсичное якорение.

Я знала, как оно работает.

Но всё равно не остановилась.
Лампы над головой мигнули ещё раз. Медленнее. Как будто кто-то смотрел. И — запомнил.

Последняя мысль — не о Теде. Не об отце. Не о Колтрейне.

О нём.

Сон накрывал меня — тяжёлый, лишаящий воли, памяти и страха.

Но перед тем как провалиться, я вдохнула ещё раз.

Глубоко и медленно.

В последний раз.

Лаванда. Розмарин. Тёплый воск.

И — гул ламп. Ровный. Как дыхание. Как чужое сердцебиение. Рядом.

А под ними — он.

Диамант.

Его запах пропитал всё, к чему я прикасалась. Обнял меня раньше, чем я успела закрыть глаза.

И тело-предатель приняло это.

Сон накрыл меня окончательно.

На миг я стала невесомой.

И это было страшнее любой боли.

Потому что в невесомости нет опоры.

Нет борьбы.

Нет меня.

Глава 3

Глава 3

Пробуждение

«В ту ночь я умерла. И в ту же ночь — родилась. Странно, но оба раза кричала одинаково».

Сильвана

1

Я очнулась ото сна, как будто вырвалась из трясины.

Рывком. С колотящимся сердцем.

Тени ночного кошмара всё ещё держали меня. Не хотели отпускать. Они лежали на груди, на горле, на запястьях — невидимые, но тяжёлые, как свинец.

Я попыталась сесть.

Тело взвыло.

Каждая мышца — будто подрезана тупым ножом. Боль не была острой. Она была глубокой, вязкой, разлитой по всему телу, как яд.

Я сжала кулаки. И заставила себя подняться, преодолевая слабость.

В висках стучал глухой молот. Во рту — пустыня. Язык присох к нёбу.

Я только начинала приходить в себя, когда дверь отворилась без единого звука.

Вошли двое.

В чёрных одеяниях. С пустыми лицами.

Один поставил на столик поднос: хлеб, мёд в керамической плошке, кувшин с водой. Второй развернулся и вышел, даже не взглянув на меня.

Но первый — задержался.

На полсекунды. Не больше.

Его взгляд скользнул по моим запястьям. По багровым бороздам. По синякам на плечах. И — на мгновение — в глазах мелькнуло что-то. Не жалость. Что-то другое. Страх. Как будто он видел это раньше. Много раз. И знал, что будет дальше.

Потом — маска вернулась. Пустота. Кукла.

— Почему я здесь? — голос сиплый, чужой. — Что происходит?

Ответа нет.

— Отвечайте! — я попыталась встать.

Мир поплыл. Ноги подкосились. Я рухнула обратно на кровать, хватая ртом воздух.

Запястья отозвались болью. Верёвочные борозды пульсировали в такт сердцу, отдаваясь в пальцах, висках, зубах.

Дверь закрылась.

Я осталась одна.

Беспомощно оглянулась по сторонам, стараясь зацепиться хоть за что-то.

Комната была огромной. Больше, чем любая комната, в которой я когда-либо была.

Та же комната, куда меня привели вчера. Бархатные стены. Высокий потолок. Свечи. Лампы — выключены. Кто-то погасил их ночью. Пока я спала. Кто-то заходил.

И тишина. Плотная, как ватная стена.

Я с трудом подошла к окну. Рванула шторы. Тяжёлый бархат не поддавался, цеплялся за пальцы, но наконец я отдернула его.

Взглянула в окно.

Из него видны серые башни, зубчатые стены, шпили в туманной дымке.

Рокуэлл.
Замок герцога Валентайна.
Логово дьявола с лицом прекрасного юноши.
Тишина давила на грудь. Мешала дышать.
Я вернулась к столу.
Руки дрожали. Пальцы не слушались.
Я взяла хлеб. Откусила.
Вкус пепла.
Желудок сжался. Тошнота подступила к горлу.
Сделала глоток воды. Прохладная. Но пустая, как обещание палача.
За дверью раздались шаги.
Я замерла.
Каждый нерв натянулся до звона. Сердце зачастило, отсчитывая мгновения.
Шаги приближались.
Потом стихли.
Удалились.
Я выдохнула. С облегчением. Которое тут же сменилось новой волной тревоги.
По спине стёк холодный пот. Колени дрожали. Я упёрлась руками в край стола, пытаюсь унять тело. Собраться.
Выстоять.
Воспоминание обрушилось внезапно.
Острое. Ослепительное. Как вспышка молнии.
Холодное дерево под ладонями. Хруст суставов. Густой, металлический запах крови, забивающий ноздри.
И его голос.
Спокойный. Почти равнодушный. Режущий хуже ножа.
А потом — тело отозвалось. Само. Против воли.
Запястья запульсировали. Не от боли. От памяти о его пальцах. На шее. На затылке. На волосах.
Внизу живота — тяжесть. Тёмная. Тянущая. Не от голода. Не от страха. От чего-то, чему я не хотела давать имя.
Я сжала колени. До боли. Чтобы прогнать.
Не помогло.
Спазм сдавил горло, будто невидимая рука стиснула шею.
Я зажмурилась, пытаюсь отделить реальность от кошмара.
Перед глазами встало лицо Диаманта.
Безупречное. Холодное. Мраморное.
Чёткие скулы. Тонкий нос. Чувственные губы, на которых застыла порочная усмешка.
В глазах — хищное, расчётливое выражение. Как у того, кто смотрит на редкую тварь под стеклом. Изучает. Оценивает. Предвкушает.
Что ему нужно?
Сломить меня? Вытянуть признания?
Или это только начало чего-то худшего, что перевернёт мой мир и разорвёт на куски?
Я задавала себе эти вопросы, пока за окнами не начало темнеть.
С наступлением вечера комната выстыла.
Тени выползли из углов и заполнили пространство. Живые. Тягучие.
Я натянула одеяло до подбородка. Оно не грело. Ткань казалась ледяной.
Холод шёл не снаружи.
Он сидел внутри. В костях. В сердце. В самой душе.

Но там же, внутри, горело слабое, дрожащее, но неугасимое пламя.
Я не сломана.

Я буду сопротивляться, пока есть хотя бы искра.

Память об отце. О Теде. О моей земле.

Вот мой маяк.

Даже если весь мир против. Даже если надежда — всего лишь тлеющий уголёк в шторме.

Я прислонилась лбом к холодному стеклу.

Оно обожгло зимней стужей, хотя на дворе только ноябрь.

Где-то далеко били часы.

Один удар.

Второй.

Я закрыла глаза.

Мне оставалось только ждать.

2

Вечерний свет сочился сквозь тяжёлые бархатные шторы.

Он рисовал на моём лице золотистые узоры, будто чья-то невидимая рука выводила на коже тайные знаки.

Моё уединение нарушили звуки со двора. Звон подков. Весёлые выкрики. Ржание лошадей.

Чужая, свободная жизнь врвалась в комнату, дразнила, напоминала о том, чего я лишилась.

Я поднялась с кресла, где просидела последние полчаса, безуспешно пытаюсь отвлечься от тягостных мыслей. Подошла к окну.

Каждый шаг отдавался глухим эхом в пустоте комнаты.

Я приподняла край шторы. Ткань скользнула по пальцам — холодная, неподатливая.

Во дворе царило оживление. Всадники возвращались с охоты.

И среди них сразу выделялся один.

Высокий. Статный. В охотничьем костюме из чёрного бархата.

Диамант.

Он легко, почти невесомо соскочил с огромного чёрного жеребца. Шерсть животного переливалась в закатных лучах, будто покрытая аметистовой крошкой. Жеребец фыркал, перебирал копытами, возбуждённый после скачки.

Диамант держал его одной рукой. Второй похлопывал по шее и что-то тихо приговаривал.

Его низкий, спокойный голос долетал даже сквозь стекло. Обволакивал. Проникал под кожу. Будил то, чему я не знала названия.

Я засмотрелась на него помимо воли.

В его движениях чувствовалась такая властная уверенность, что взгляд сам цеплялся за него, не желая отрываться. Даже издали было видно, как играют мышцы под тонкой тканью рубашки. Как длинные чёрные волосы рассыпаются по плечам, ловя последние лучи солнца. Как блестят глаза хищника, только что настигшего добычу.

Я пыталась объяснить себе происходящее физиологией. Он красив и опасен — вот тело и реагирует.

Но почему я не могла отвести взгляд?

Почему сердце колотилось, а дыхание сбилось, будто я сама только что мчалась во весь опор?

Дело не в красоте.

Во власти, облечённой в плоть. В хищнике, умеющем носить человеческую маску.

Внезапно Диамант поднял голову.

Словно почувствовал мой взгляд сквозь стекло.

Наши глаза встретились.

Время остановилось. Воздух сгустился, стал тяжёлым и электрическим.

Я замерла, забыв дышать. Кровь стучала в висках. Спина холодела.

Он усмехнулся.

Медленно. Едва заметно.

Но так, что холод продрал вдоль позвоночника, будто кто-то провёл лезвием по коже, едва касаясь.

В этой усмешке читалось всё. Осознание власти. Понимание, что я смотрю. И странное удовлетворение от этого.

Она пугала и манила одновременно.

Я отпрянула от окна. Задела край шторы. Тяжёлая ткань упала, отрезав двор.

Но образ Диаманта уже выжгся на сетчатке. Гордая линия подбородка. Изгиб губ. Блеск ярко-голубых глаз — холодных и обжигающих разом.

Я опустила на край кровати.

Закрыла глаза.

Попыталась вспомнить Теда.

Его улыбку — тёплую, искреннюю, без тени игры. Тепло его рук. Звук голоса, который всегда успокаивал и дарил безопасность.

Но едва образ любимого начинал проступать, его тут же затмевала другая картина.

Диамант, спрыгивающий с чёрного жеребца. Его уверенные движения. Насмешливый взгляд, обещающий что-то неизведанное, опасное, запретное.

Как такое возможно?

Это похоже на наваждение, действующее против воли, против разума, против всего, что я чувствую к Теду.

Аура Диаманта действовала как колдовство. Лишала воли. Затуманивала рассудок.

Я пыталась отогнать эти мысли. Они возвращались приливами, размывая границы между ненавистью и влечением.

В груди нарастала паника.

Как я могла засмотреться на того, кто причинил мне столько боли? Кто заточил меня здесь? Кто лишил всего и чьи руки по локоть в крови моего народа?

И всё же он засел в мыслях, как заноза.

Я вспоминала, как он держал коня — твёрдо, но без жестокости. Как его голос звучал спокойно, даже ласково. Как глаза блестели в закатном свете, отражая что-то древнее, первобытное.

Я сжала кулаки. Вогнала ногти в ладони.

Острая вспышка боли на секунду прояснила сознание.

«Держись. Помни, кто ты. Помни, за что борешься».

Но сердце предательски замирало при воспоминании о той усмешке.

Обещавшей нечто неизведанное. Опасное. Но отчего-то манящее.

То, от чего хочется бежать и шагнуть навстречу одновременно.

Дверь открылась с протяжным, почти жалобным скрипом.

Я вздрогнула всем телом. Резко обернулась.

На пороге стоял слуга.

Высокий. Худой. В тёмно-сером камзоле. Лицо будто высечено из камня: резкие черты, неподвижный взгляд, ни тени эмоций.

В полумраке коридора он выглядел ожившей статуей. Механизмом, лишённым воли и сострадания.

— Следуй за мной, — произнёс он глухим, плоским голосом.

Будто придавленным каменной плитой.

В словах ни интонации, ни паузы, в которую можно втиснуть вопрос.

Страх пришёл не мыслью — ощущением. Ледяная ртутная капля скатилась по позвоночнику и обвилась вокруг горла.

Но следом поднялось другое.

Любопытство.

Тёмное. Горячее. Непристойное. Как ядовитый цветок, проламывающий корнями камень.

Оно пульсировало где-то в рёбрах, заставляя дышать чаще.

Я ненавидела себя за это.

Поднялась. Колени подрагивали. Каждый шаг — как по тонкому льду, который уже трещит и расходится белыми линиями, но ещё держит.

Напоследок я окинула взглядом комнату. Тяжёлые шторы. Стол с нетронутой едой.

Я прощалась не с комнатой. С иллюзией, что ещё остаюсь хозяйкой хотя бы собственных мыслей.

И шагнула к двери.

Слуга уже развернулся, не дожидаясь и не оглядываясь. Движения точны, как часовой механизм. Без лишнего жеста. Без тени сочувствия.

Коридор принял нас, как глотка.

Стены из тёмно-серого камня — влажного, шершавого, покрытого скользкой плёнкой — поглощали звук шагов.

Замок шептал. Я не разбирала слов, но чувствовала их кожей. На руках. На затылке. Вдоль обнажённых ключиц.

И тогда — вернулось.

Его голос. В пыточной. Тихий. Почти ласковый. С запахом табака и гвоздики.

«Знаешь, что я сделаю? Я дам тебе время. Подумать. Остыть. Понять, где ты и что тебя ждёт. А потом — мы вернёмся к этому разговору. Наедине. В более... приватной обстановке».

Я вспомнила его улыбку. Тонкую. Уголком губ. Как будто он уже знал, что будет. Как будто это уже случилось.

Я споткнулась о ступеньку.

Слуга мгновенно перехватил меня за локоть, будто ловил бабочку. Но его пальцы сжались сильнее, чем требовалось. Железная хватка впечатала напоминание прямо в кость: ты не гостья. Ты собственность.

Он отпустил меня, не замедлив шага.

На коже остался горячий, ноющий след.

В одной из ниш я заметила статую. Её лицо пересекала глубокая, неровная трещина — от лба к скуле, как шрам от удара мечом. Каменные глаза смотрели пусто. Но в этой пустоте мерещился упрёк. Или предупреждение.

Забытая битва. Забытое имя.

А отметина осталась навечно. Вросла в мрамор, как страхи врастали в плоть.

Воздух менялся. Становился плотнее, холоднее. Пропитывался запахом древнего камня, оплывшего воска и тошнотворно-сладкой нотой тлена.

Так пахнет время, когда оно перестаёт двигаться и начинает гнить.

Я дышала этим воздухом. Он оседал на языке горьким пеплом.

Пульс грохотал в висках. Липкий пот полз по спине ледяной дорожкой. Озноб вцеплялся в кожу, в мышцы, в каждый нерв.

Язык присох к нёбу.

Слова Диаманта не уходили.

«Наедине. В более... приватной обстановке».

Что это значило? Что он сделает? Что будет дальше?

Я не знала.
Но тело знало. Тело помнило его руки. Его запах. Его голос.
И — оно хотело. Предательски. Постыдно. Неотвратимо.
Мы остановились перед массивной дверью из тёмного дерева.
На ней — резьба, от которой хотелось отшатнуться.
Узоры — переплетённые ветви терновника. Острые. Искривлённые. Хищные.
Каждая линия — коготь. Каждый завиток — силок.
Дерево будто дышало и тянулось ко мне, готовое вцепиться, оцарапать, не отпустить.
В центре — герб.
Металлическая вставка с изображением змеи, обвившей меч.
Сталь мерцала тускло, маслянисто, как чешуя живой гадюки. Притягивала взгляд с той же неотвратимостью, с какой притягивает бездна.
Герб рода Валентайн.
Вражеский герб.
Символ, под которым ломали судьбы, проливали реки крови и сжигали мой мир дотла.
Слуга поднял руку.
Трижды ударил.
Гулко. Мерно.
Удары прокатились по коридору, как удары сердца самого замка. Древнего. Каменного.
Равнодушного.
Я поняла: это начало ритуала. И я в нём не участница. Подношение.
Наступила тишина.
А затем раздался голос:
— Войдите.
Бархатный. Тёмный. Густой. Обволакивающий.
Он лёг на кожу, прошёл сквозь ткань платья, сквозь рёбра, скользнул вдоль позвоночника вниз, до самого низа живота, где свернулся тугим горячим узлом.
Волоски на руках встали дыбом.
Я знала этот голос.
Слышала его в пыточной.
И — не могла забыть.
Он сказал: «Мы продолжим наедине».
Теперь — продолжение.
Я боялась. Но не его.
Себя.
Я сглотнула.
Сердце колотилось так, что, казалось, стены слышали, а камни считали удары.
Ладони влажные и скользкие. Дыхание рваное, как у загнанного зверя, услышавшего хруст ветки за спиной.
Но я подняла руку.
Пальцы дрожали. Я сжала их до боли, до белых костяшек.
И толкнула дверь.
Протяжный, мучительный, ржавый скрип.
Петли стонали, как живое существо, которое молит остановиться.
Дверь не впускала.
Дверь предупреждала.
Я шагнула вперёд.
Замок выдохнул мне в спину ледяной порыв. Он ударил между лопаток, забрался под волосы, лизнул шею.

Последнее предупреждение. Последний шёпот.
Обратного пути нет.

З

Один шаг внутрь — и комната поглотила меня.

Просторная, но не воздушная. Она дышала и обволакивала, как утроба живого существа. Мягкий свет лампы под матовым стеклом лишь подчёркивал сумрак, клубящийся по углам. Тени ждали своего часа. Терпеливые, как палачи.

Воздух густой, почти вязкий. Терпкая полированная древесина. Едкая кожа кресел. При-
торная сладость дорогого парфюма.

А под ними, на самом дне, — железистый привкус, который оседал на языке и не имел
иного имени, кроме власти.

Диамант сидел в бархатном кресле, как на троне. Спинка вздымалась за его спиной двумя
тёмными крыльями. В длинных пальцах он держал бокал с зеленоватой жидкостью. Она пере-
ливалась в свете лампы радужной плёнкой, как глаз ядовитой змеи.

Каждое его движение неспешно и отточено. Так движется тот, кто давно выучил свою
роль, но продолжает шлифовать её из чистого удовольствия.

Свет ложился на его лицо, и черты проступали слишком правильные, чтобы быть
живыми. Ровный нос. Резные скулы. Линия подбородка, будто выточенная с маниакальной
преданностью идеалу.

Длинные ресницы отбрасывали полумесяцы теней, придавая взгляду глубину древнего
божества, способного карать и миловать по капризу, не меняя выражения лица.

Он поднял глаза.

Я замерла.

Его взгляд — холодный, изучающий, но заинтересованный — скользнул по мне, как
скальпель, вскрывающий кожу без крови. Словно он уже разложил меня на части и теперь
собирал заново, проверяя, где треснула пружина.

В его глазах читалось нечто, от чего сердце сжималось. То ли от страха, то ли от стран-
ного, пугающего трепета. Как перед грозой, когда воздух гудит, кожа покалывает от предчув-
ствия молний, и не знаешь, бежать или раскинуть руки навстречу.

Чёрная шёлковая рубашка блестела, как чешуя. Рукава закатаны до локтей, обнажая
запястья с проступающими жилами. Расстёгнутый ворот открывал бледную кожу.

От него веяло опасностью и соблазном, как от ядовитого цветка. Дурман проникал в
ноздри раньше, чем успеваешь задержать дыхание.

Вся его поза излучала спокойную власть. Уверенность человека, знающего цену каждому
слову и каждой паузе.

Он не спешил заговорить.

Позволял тишине нарастать и заполнять пространство между нами, как густой дым.

За его спиной, на стене — огромная панель. Чёрная. Глянцевая. Плазменная.

Рядом — стойка. С колонками. С усилителем. С проводами, тянущимися к потолку. Сте-
реосистема.

В углу — стойка с дисками. Не пергаменты. Не книги. Пластиковые коробки. С чёрными
кругами внутри. Музыка.

Слуга поклонился и исчез. Дверь закрылась бесшумно.

Я оглянулась.

Заперта.

По спине полз холодный пот, несмотря на тепло комнаты. Струился вдоль позвоночника
ледяными пальцами.

Наши взгляды встретились.

Я дрожала не от холода. От того, что рождалось где-то в самом нутре при столкновении с чем-то одновременно притягательным и смертельно опасным.

— Проходи, — произнёс он наконец. — Я тебя ждал.

Голос мягкий, почти ласковый. Но звучал как приказ, от которого невозможно уклониться.

Комната выдержана в сумрачных тонах.

Стены глубокого бордового цвета — цвета запёкшейся крови. Мебель из чёрного дуба. Портьеры из тёмно-зелёного бархата задёрнуты наглухо.

В воздухе витал густой аромат ладана, тяжёлого, как смола. Горький табачный дым. Приторный абсент.

От него першило в горле и слегка кружилась голова.

В центре стояла огромная кровать с резным изголовьем, покрытая бархатным покрывалом цвета запёкшейся крови. Резьба изображала древние символы — то ли знаки власти, то ли проклятия.

Кровать настолько велика, что на ней свободно уместились бы десять человек. Она выглядела как алтарь для неведомых ритуалов, где стираются границы между болью и наслаждением.

Одна из стен — зеркало от пола до потолка. Холодное. Бесстрастное. Готовое запечатлеть любую слабость.

Я случайно подняла взгляд вверх.

И отшатнулась.

Потолок тоже зеркальный.

Отражения множились, уходили в бесконечность, создавая лабиринт, в котором терялась сама реальность. Некуда спрятаться. Негде отвести глаза.

Сбоку стоял массивный шкаф с книгами в кожаных переплётах. Тиснённые золотом корешки шептали о запретных знаниях.

Рядом — стол из тёмного дуба, тяжёлый, как надгробие. Кресла с бархатной обивкой, чьи складки напоминали складки погребального савана.

Всё здесь говорило о власти, добытой чужой болью.

И — о другом. О том, что он выбирает сам. Музыка. Технологии. Комфорт. Он не просто палач. Он — человек, который живёт здесь. Спит. Слушает. Дышит.

Это было хуже всего.

Потому что делало его живым.

Я замерла у двери. Пальцы вцепились в резную ручку — последнюю связь с миром, где ещё существуют свобода и надежда.

Мотылёк в паутине.

Каждая нить — из насмешки и угрозы.

— Ну что же ты, Сильвана, — голос Диаманта прокатился по комнате шёлковым хлыстом. — Не стой как незваная гостья. Вчера ты вела себя куда... активнее.

Он полулежал в кресле. В одной руке по-прежнему бокал с абсентом. В другой — тонкая сигарета, из которой поднималась струйка дыма, извиваясь, как живая.

Свет лампы играл на его скулах, выхватывая из полумрака хищные черты.

Он кивнул на кресло напротив:

— Присядь. Или оставайся у порога, как подобает добродетельной девице. Но это тебе не поможет.

Я сглотнула. В горле — пустыня.

Каждый шаг к креслу отдавался глухим стуком сердца.

Я опустилась на край кресла. Сжала подлокотник так, что пальцы побелели.

— Я не понимаю, зачем меня позвали, — сказала я. — И почему сюда. А не в пыточную.

Голос дрожал. Но я заставляла себя говорить твёрже.

Диамант тихо рассмеялся. С издёвкой.

Смех скользнул по коже ледяными пальцами.

— В пыточную? — переспросил он, наклоня голову и разглядывая меня, как диковинное насекомое. — Тебе там так понравилось?

Он поднялся одним текучим движением.

Обогнул моё кресло. Встал позади.

Я почувствовала его раньше, чем услышала. Тепло чужого тела за спиной. Запах гвоздики и дыма. Дыхание у виска.

Меня начало трясти. В животе завязался ледяной узел.

— Не переживай, — произнёс он над самым моим ухом низким, бархатным голосом. — Мы там обязательно побываем. Но чуть позже.

По позвоночнику прошла горячая волна.

Я глубоко вздохнула. Так, что рёбра заныли. Выпрямила спину.

— Я ничего не скажу, — произнесла я ровным, сухим голосом. — Ни об отце. Ни о ком.

Он качнул головой. Тени на стенах качнулись следом.

— О нет. Я сейчас не об этом.

Он обогнул кресло и опустился на край стола прямо передо мной.

Дерево глухо скрипнуло.

Он не отрывал от меня взгляда. Изучал каждую тень на лице, каждый трепет ресниц. Будто читал текст, написанный на коже.

— Ты обязательно всё расскажешь, — сказал он. — Но позже.

Слово «позже» упало между нами, как монета в пустой колодец.

Он резко подался вперёд. Пальцы впились в подлокотники кресла. Дерево жалобно хрустнуло.

Его лицо оказалось так близко, что я различала тонкие прожилки в радужке — чёрные на тёмно-золотом, как трещины в янтаре.

— А сейчас... — произнёс он. — Речь о тебе.

Я вздрогнула.

В нос ударил его запах. Гвоздика. Корица. Горький дым и абсент.

Он проникал в лёгкие раньше, чем я успевала задержать дыхание. Затоплял голову. Будил где-то в животе тёмное, постыдное — то, чему я не знала имени и не хотела знать.

Сердце стучало чаще вопреки воле.

— Ты здесь, потому что я так захотел, — продолжил он, понижая голос, отчего тот становился только опаснее. — Потому что мне... любопытно.

Он выдержал долгую, расчётливую паузу. Наслаждался моим смятением, как коллекционер наслаждается редкой бабочкой, припигиленной к бархату. Ещё живой. Трепещущей. Но уже его.

— Любопытно, насколько далеко ты готова зайти, чтобы выжить, — добавил он. — Чтобы сохранить то, что у тебя осталось.

Каждое слово падало отдельно и тяжело, как капля расплавленного свинца на голую кожу.

К горлу подступала тошнота. Я вжималась в спинку кресла.

— Я не понимаю, — прошептала я.

Он поднял руку.

Медленно. Почти нежно.

И этот жест был страшнее любого удара.

Слова умерли у меня на губах.

— О, ты прекрасно понимаешь, — сказал он с медленной, тягучей, кошачьей улыбкой. — Ты ведь умная девушка. Не глупее меня.

Он склонил голову набок.

— Так скажи мне, — произнёс он. — Зачем я тебя позвал?

Его взгляд двинулся по моему лицу, плечам, дрожащим рукам. Медленно. Осязаемо. Как чужие пальцы.

Везде, где проходил этот взгляд, кожа горела.

Он впитывал мою дрожь. Ловил каждый сбой дыхания. Смаковал, как знаток смакует редкое вино.

— Я... — начала я.

Голос сорвался.

Стыд обжёг щёки, разлился по шее горячим румянцем. Ладони стали мокрыми. Дыхание рваное и мелкое.

— Что «я»? — он приподнял бровь с наигранным, почти театральным простодушием. — Не будешь играть по моим правилам?

Его голос стал шёлковым. Вкрадчивым.

— А есть ли у тебя выбор, Сильвана? Есть ли он вообще у кого-то в этом замке? Или в этой стране?

Он поднялся.

Вернулся к своему креслу. Опустился в него с ленивой грацией зверя, только что показавшего клыки и спрятавшего их обратно.

Закинул ногу на ногу. Взял бокал. Крутил его в пальцах. Стекло тихо звякало о перстень.

— Видишь ли, — протянул он, смакуя слова, — я привык получать то, что хочу.

Поднёс бокал к губам. Пригубил. Облизнулся медленно, не сводя с меня глаз.

— А сейчас... сейчас я хочу тебя.

Тишина обрушилась, как обвал.

Напряжение сгустилось, стало осязаемым и плотным.

Запах абсента и полыни смешивался с гвоздикой и корицей его кожи. Теперь этот аромат казался ядом. Сладким. Дурманящим. От которого мутилось в голове и слабели колени.

Я слышала собственное сердце.

Громко. Неровно. Отчаянно.

Как кулак, бьющий в запертую дверь.

Он тоже его слышал.

Уголок его губ дрогнул.

Едва заметно.

Хищно.

Удовлетворённо.

4

Слова Диаманта упали между нами.

Свинцовые. Удушающие.

Они вдавились мне в рёбра. Сплющили лёгкие.

Пол подо мной качался, становился топью. Я проваливалась в него медленно, дюйм за дюймом. Кресло ощущалось льдом над чёрной водой, который вот-вот треснет.

Мне хотелось закричать. Рвануться к двери.

Но тело окаменело. Превратилось в изваяние, лишённое крови и дыхания.

Диамант усмехнулся, поднося стакан к губам. Стекло лязгнуло о зубы. Зелёная жидкость скользнула в горло медленно и густо.

Он прикрыл глаза, смакуя напиток. На секунду его лицо стало почти мягким.

Но затем веки поднялись, и во взгляде снова проступило хищное, расчётливое, нетерпеливое.

— Или ты никогда не была с мужчиной? — спросил он голосом, который обволакивал, стелился по полу и забирался под кожу. — Поэтому так шарахаешься?

Он отставил бокал. Наклонился вперёд. Локти на коленях. Взгляд — прямо в меня. Без игры. Без прикрас.

— Ты девственница? — спросил он ровно. Как будто спрашивал, сколько мне лет. — Да или нет.

Я молчала.

Он не отводил взгляда.

— Ладно, — сказал он. Медленно. — Раз молчишь — значит, да. Логично. Ты из тех, кто бережёт себя до брака. Традиции. Честь. Всё это.

Он откинулся на спинку кресла. Сделал глоток. Не спеша.

— Тогда вопрос прямее. — Он посмотрел на меня поверх стекла. — Сосать умеешь? Или хотя бы пробовала?

Кровь прилила к лицу. Жаром. До корней волос.

— Что?! — выдохнула я.

— Что слышала, — ответил он спокойно. — Ртом. Ты когда-нибудь брала член в рот?

Я вскочила.

Кресло отъехало назад с глухим скрежетом.

— Ты — мерзавец, — произнесла я сквозь зубы. — Ты думаешь, что можешь говорить со мной так? Думаешь, что если ты герцог, то тебе всё можно?

Он улыбнулся.

Медленно. Широко. Искренне.

— Вообще-то, да, — сказал он. — Мне можно. Я герцог. И я здесь хозяин. А ты — моя пленница. Которая, судя по всему, не умеет даже элементарного.

Он вздохнул.

Театрально. С притворным сочувствием.

— Ну насчёт анала я думаю и спрашивать не стоит, — произнёс он. — Кошмар. Бедная ты. Я тебе сочувствую. Не люблю девственниц. Они всё время плачут. Но так и быть — помогу тебе с твоим несчастьем.

Я задохнулась.

От ярости. От унижения. От того, что он говорит это так спокойно. Так буднично. Как будто речь о погоде.

— Ты — больной! — выкрикнула я. — Ты — ненасытный, испорченный, жалкий ублюдок! Ты просто смазливый мальчишка! Думаешь, что твоя власть даёт тебе право на всё? На тела? На души? Ты — пустое место! Ты — ничто! Ты — тень своего отца! И даже он тебя не любит!

Тишина.

Он смотрел на меня.

Долго.

Потом — улыбнулся.

Шире. Язвительнее.

— О, как мило, — протянул он. — Ты решила меня оскорбить. Найти слабое место. Уколоть. Что дальше? Скажешь, что я не любим матерью? Что меня в детстве не обнимали? Что я одинок?

Он поднялся с кресла.

Медленно. Плавно. Как хищник.

— Продолжай, — сказал он тихо. — Мне нравится. Ты думаешь, что бьёшь меня. А на самом деле — раздеваешься. Каждое слово — как снятая одежда. Я уже вижу тебя голой. И мне нравится.

Я сжала кулаки.

— Ты — не получишь меня, — процедила я. — Ни телом. Ни душой. Ни словом. Ты можешь меня убить. Но не получишь.

Он рассмеялся.

Низко. Бархатно.

— Убить? — переспросил он. — Зачем? Мёртвая ты мне не нужна. Мне нужна живая. Брыкающаяся. Кричащая. Сопровивляющаяся. Потому что только тогда — интересно.

Он шагнул ко мне.

Я отступила.

Но взгляд метнулся по комнате.

Ваза.

Тяжёлая. Из тёмного мрамора. По бокам — переплетённые змеи с раскрытыми пастьми и слепыми каменными глазами.

Она стояла на низком столике у стены.

Я рванулась к ней.

Пальцы обхватили край. Мрамор обжёг ледяным холодом. На миг показалось, что змеи на боках шевельнулись. Поверхность шершавая, будто покрытая чешуёй.

Мышцы напряглись.

Ваза оказалась тяжелее, чем я думала. Боль в запястьях полыхнула огнём.

Но тяжесть в руках была правильной. Настоящей. Она придавала форму ярости.

Я развернулась и подняла вазу, как оружие.

— Ещё шаг — и я...

Диамант замер.

Но страха в его глазах не было.

Там горел интерес. Жгучий. Почти благоговейный.

— И что же ты сделаешь? — спросил он. — Разнесёшь мою вазу? Мою любимую вазу, которую я привёз из самого Эренхолла?

Он произносил слова медленно и бережно, будто гладил каждое.

— О, это было бы... драматично. Ты уверена, что хочешь начать войну именно с этого?

Он сделал ещё один шаг.

Его взгляд не отрывался от моего лица — от искусанных губ, от пальцев, побелевших на тёмном камне.

Тени от канделябров метались по стенам. Длинные. Изломанные. Как змеи на вазе. Как всё в этом проклятом замке.

— Если ты сейчас опустишь вазу и подойдёшь ко мне, — процедил он сквозь зубы, как яд сквозь сито, — я даже постараюсь быть нежным. Насколько умею. Признаюсь, это не моя сильная сторона.

Он затаился. Кончик сигареты вспыхнул алым. Дым поднялся к потолку, свиваясь в спирали и окутывая его силуэт серым саваном.

— Но если бросишь... — продолжил он. — Будет больно. И унижительно. Для тебя.

Последние два слова прозвучали отдельно.

Как приговор.

Как точка.

Наступила тишина.

Набухшая, как нарыв.

В ней слышалось всё: сухое тиканье часов на каминной полке, потрескивание фитиля, шорох моего дыхания — слишком частого, слишком рваного.

Пот стекал по ложбинке между лопатками. Сердце колотилось уже не в груди — в горле и в кончиках пальцев, сжимающих мрамор.

Ваза дрожала.
Но я не опускала её.
Опустить — значит капитулировать.
Мрамор холодный и гладкий. Единственное, что ещё принадлежало мне в этой комнате.
Мой последний бастион.
Пальцы белели. Костяшки ныли.
Но я держала.
— Ты думаешь, я буду стоять и смотреть, как ты... как ты...
Голос подломился. Хрустнул тонкой веткой.
Я стиснула зубы. Впилась взглядом в его зрачки — два чёрных колодца.
— ...как ты бесчестишь меня? — закончила я. — Своими взглядами. Своими словами.
Как играешь со мной — как с куклой, у которой отрезали нити.
Диамант усмехнулся.
Медленно. Лениво.
Шагнул вперёд. Половица скрипнула, и этот звук прошёл сквозь меня лезвием.
В его глазах — откровенное, почти сладострастное удовольствие от моего отчаяния. От дрожи в руках.
— Бесчещу, — протянул он, и слово покатилося с языка тягуче и маслянисто. — О, Сильвана. Ты так наивна. Так трогательно невинна в своей злости.
Он склонил голову набок. Слишком птичьим, слишком нечеловеческим жестом.
— Я ещё даже не начал. Ты даже не представляешь, насколько — не начал.
Его язык скользнул по нижней губе. Медленно. Влажно. С расчётливым бесстыдством.
Это было не предложение.
Обещание.
Меня передёрнуло. По позвоночнику прошла вибрация снизу вверх.
Диамант понизил голос до шёпота. Но тише не значило слабее. Этот шёпот обволакивал и оседал в крови, как опиум.
— Знаешь, что самое забавное? — произнёс он. — Мне нравится, когда сопротивляются.
Шаг.
— Чем сильнее борьба — тем слаще.
Ещё шаг.
— Я мог бы сломать тебя за минуту. Ты бы и вдохнуть не успела. Но это — скучно.
Слово «скучно» он произнёс с таким отвращением, будто скука — единственный грех, который он не мог себе простить.
— Гораздо интереснее наблюдать, как ты сама — постепенно, шаг за шагом — начнёшь сомневаться. Как гнев обернётся любопытством. Как страх перетечёт в... интерес.
Между нами оставалось расстояние в ладонь.
Его дыхание касалось моей скулы. Тёплое. Пряное. Пахнущее абсентом и гвоздикой.
А под этим — звериное, мускусное.
Запах просачивался в лёгкие, в кровь. Голова плыла.
Диамант заговорил уже почти в ухо. Я чувствовала, как от его слов шевелились волосы на виске.
— Представь, каково это — отдаться полностью. Чужой воле. Чужим рукам. Перестать бороться, перестать решать. Просто... покориться.
Его губы были так близко, что я ощущала их жар, хотя они не касались кожи.
— И в этом — наслаждение. Странное. Запретное. Такое, в котором невозможно признаться даже себе.
Почти беззвучно он добавил:
— Ты ведь уже чувствуешь его. Где-то глубоко. Там, куда боишься заглянуть.

Я задышалась.

Этот шёпот обжигал гортань, прокатывался вниз и вспыхивал в солнечном сплетении.

В груди всё сжималось в узел из отвращения и чего-то ещё. Тёмного. Тягучего. Пульсирующего внизу живота, как второе сердце.

Холодный пот выступил в ямке между ключицами. Дыхание стало рваными толчками, слишком громкими в этой тишине.

— Никогда, — выдавила я сквозь зубы.

Слово хрустнуло, как осколок стекла.

Я сжала вазу крепче. Боль в запястьях прошила до плеч острой, злой пульсацией.

Но эта боль была ясностью.

Она принадлежала мне.

— Я никогда не стану твоей игрушкой, — сказала я.

Диамант улыбнулся.

Без тепла. Без света.

С чистым, дистиллированным злорадством. Отошёл к столу, давая мне пространство.

— О, но ты уже ею стала.

Уголки его губ поднялись слишком резко. Это был оскал, не улыбка. Змея перед броском.

— Ты уже здесь. Ты уже отвечаешь. Ты уже чувствуешь.

Каждое «уже» — как удар молотка по гвоздю, вколачивающему крышку гроба.

— Это только начало, Сильвана, — произнёс он, пробуя моё имя на вкус, будто оно принадлежало ему. — И поверь мне — оно будет незабываемым.

Это стало последней каплей.

Чаша переполнилась через край.

Воздух сгустился и стал смолой. Замок затаил дыхание. Тени дрожали и тянулись к нам длинными чёрными пальцами, жаждущими коснуться.

Из глубины, откуда кричат не голосом, а утробой, вырвался крик.

В нём сплелись ярость, страх и отчаяние.

Я размахнулась.

Мрамор застыл в верхней точке дуги — тяжёлый, холодный. В его отполированном боку мелькнули блики свечей и тень моего искажённого лица.

Миг абсолютного бунта.

Полёт.

Свист рассекаемого воздуха.

Время растянулось в смолу и вечность.

Ваза летела прямо в лицо Диаманта. В его глаза — два осколка льда. В эту кривую, порочную, невыносимую усмешку. В воплощение власти, которая слишком долго оставалась безнаказанной.

Я видела, как расширяются его зрачки. Как дрожат ресницы. Как на долю секунды в его взгляде мелькнуло нечто новое.

Не расчёт. Не предвкушение.

Удивление.

Чистое. Неподдельное.

Человеческое.

5

Диамант уклонился.

С поразительной лёгкостью. Скользнул в сторону, как тень, как нечто, лишённое веса и плоти. Движение танцора и одновременно хищника.

Ваза врезалась в стену.

Грохот. Треск.

Затем мерзкий звон осколков, осыпавшихся на каменный пол.

Острые края блестели в свете лампы, как оскаленные зубы. Как остатки моей последней надежды, разбитой вдребезги.

Диамант рассмеялся.

Смех красивый. Глубокий. Бархатный.

И абсолютно мёртвый.

В нём ни тепла, ни тени человечности. Звук раскатывался по комнате, отражался от зеркал, множился и искажался, превращаясь в хор насмешливых голосов.

— О, какая страсть! — произнёс он. — Ты становишься интереснее с каждой минутой. Но ты сама предпочла более болезненный путь, милая. И я, признаться, даже рад.

Пауза. Лёгкий наклон головы.

— Вот только вазу жалко. Редкий экземпляр. Тебе ведь не приходило в голову, что я позволю так легко от меня отделаться?

Я отступала.

Позади — стена. Холодный камень впечатался в лопатки.

Мне казалось, что он живой. Дышит. Пульсирует. Впитывает мой страх, как губка — воду.

Колени дрожали. Я упиралась спиной в стену, чтобы не осесть на пол.

Холодный пот стекал вдоль позвоночника тонкой ледяной струйкой, хотя в комнате было душно. Почти жарко.

Пульс колотился в висках, заглушая мысли.

— Пожалуйста... — голос дрожал и ломался. — Остановись.

Я никогда никого не умоляла. Ни в детстве, ни после.

Но слово вырвалось само. Сорвалось с губ, как крик тонущего, который уже знает, что берег слишком далеко.

— У меня есть жених. Я люблю его. Он ждёт меня.

— Жених? — переспросил Диамант.

Шаг. Ещё один.

Расстояние сжалось до предела, когда уже невозможно не чувствовать чужого дыхания на коже, чужого тепла и чужого запаха.

Воздух между нами сгустился, стал вязким, тягучим, как смола.

— Какой оставил тебя девственницей? — произнёс он мягким, почти задушевым голосом, похожим на шёлк, под которым прячется лезвие. — Серьёзно? Ты ему что — сестра? Или он просто импотент?

Он внимательно посмотрел на меня. С искренним, почти научным интересом.

— Я серьёзно не понимаю. Если он твой жених, значит вы встречаетесь. И он даже не попытался? Или пытался, а ты не дала? Тогда вопрос к тебе. Что ты за женщина, если твой собственный жених не хочет тебя?

Его усмешка — тонкая, острее любого клинка.

— Или он хочет, но не умеет. Тогда я тебя поздравляю. С тем, что первым у тебя буду я. А не какой-то идиот, не умеющий обращаться с женским телом. Потом спасибо скажешь.

Голос звучал ласково. Так ласково, что от этой ласки внутренности скручивались в узел, а лёгкие отказывались вдыхать.

Угроза пряталась не в словах. В паузах. В тишине между ними.

— Я не хочу этого, — прошептала я.

Слёзы жгли глаза. Но я не позволяла им пролиться. Гордость ещё цеплялась за остатки воли.

— Пожалуйста. Я не твоя игрушка.

— Не хочешь? — переспросил он, наклоняясь ко мне.

Его дыхание коснулось моего лица. Тёплое. Горьковатое. С привкусом абсента и табака, с примесью чего-то дикого, звериного.

Запах проникал в ноздри и затуманивал разум, как отравы, которую вдыхаешь добровольно.

— А мне кажется — хочешь, — сказал он. — Иначе зачем так яростно сопротивляешься? Зачем швыряешь вазы?

Тихий смешок.

— Ты ведь знаешь, что это бесполезно. Ты уже моя, Сильвана. Просто ещё не осознала. Или тебе нужно... более наглядное доказательство?

Я попыталась отпрянуть.

Но позади стена. Камень. Холод.

Он резко схватил меня за запястья.

Пальцы сомкнулись, как жёсткие, горячие кандалы, раскалённые на огне.

Боль вспыхнула мгновенно, пульсируя в такт сердцебиению.

Я рванулась.

Хватка сжалась сильнее.

В его ярких, бездонных глазах вспыхнул опасный огонь. Азарт. Холодная решимость. Голод.

Так смотрит хищник на добычу, которая ещё дёргается и пытается бежать. И это только прибавляло ему аппетит.

Я дёрнула коленом вверх.

Он предугадал. Уклонился, не ослабляя хватки.

Я рванулась вперёд, целясь зубами в его губу.

Он отклонился.

Мои зубы щёлкнули в пустоте.

И — он рассмеялся.

Не громко. Не зло. С искренним, почти нежным весельем.

— О, боги, — произнёс он. — Это что сейчас было? Ты пыталась меня укунить? Или поцеловать? Я не понял.

Он посмотрел на меня сверху вниз. С сожалением. Как на ребёнка, который пытается играть во взрослые игры.

— Слушай, девочка. Я тебе честно скажу. Как мужчина мужчине. Ты целоваться не умеешь. Совсем. Это было... жалко. Правда. Я почти прослезился.

Он отпустил одно запястье. Коснулся моей нижней губы пальцем. Медленно. Провёл. Как будто изучал.

— Ты думаешь, что если броситься на мужчину с открытым ртом — это поцелуй? Нет. Это попытка каннибализма. Неумелая. И немного оскорбительная.

Он вздохнул.

Театрально. С притворным сочувствием.

— Ладно. Я вижу, тебя придётся всему учить самому. И целую. И остальному. Хорошо, я не против. Люблю сложные задачи.

Я задохнулась.

От ярости. От унижения. От того, что он говорит это так спокойно. Так буднично. Как будто речь о погоде.

— Ты — мерзавец, — процедила я.

— Да, — согласился он. — Я уже говорил. Но ты повторяешься. Это скучно. Придумай что-нибудь новое. Или — замолчи. И дай мне заняться делом.

Прежде чем я успела ответить или вдохнуть, он прижался к моим губам.

Жёстко. Властно. Без спроса.

Я попыталась отвернуться.

Он перехватил мой подбородок. Пальцы впились в скулы, фиксируя голову и лишая последней возможности уйти.

Его губы раздвинули мои. Язык проник в рот — горячий, требовательный, пропитанный горечью абсента.

Подчиняя. Утверждая право, которого у него нет.

Это не поцелуй.

Вторжение.

Он целовал так, будто уже владел мной. Глубоко. Жёстко. Без тени нежности.

Его язык скользил по моему языку, по нёбу, по внутренней стороне щёк — везде, где только мог достать.

Он не спрашивал. Он брал.

Я мычала ему в рот. Протест, ярость и отчаяние сливались в сдавленный, жалкий звук, похожий на всхлип.

Его губы поглощали мои.

Во рту смешивались вкусы.

Абсент. Табак. И что-то горько-сладкое, от чего голова плыла, а колени подгибались.

Прикушенная губа кровила. Моя кровь смешивалась с его слюной.

Он кусал не сильно, но достаточно, чтобы я почувствовала его зубы на нижней губе. Чтобы по коже прошла дрожь.

Не только от боли.

Головокружение накатило мгновенно. Нехватка воздуха. Спазм в горле. Невозможность закричать.

Мир сузился до его рта, до его рук на моих запястьях, до каменной стены за спиной.

В зеркале напротив отражались два силуэта: его — тёмный, нависающий. И мой — вжатый в стену, маленький, жалкий.

Его рука на моём запястье — как символ. Как приговор.

Тени ломали и искажали фигуры, превращая их в нечто гротескное, чудовищное.

Я пыталась оттолкнуть его. Ладони скользили по ткани рубашки. Я пыталась вцепиться ногтями в лицо.

Но силы неравны.

А мои руки — в его руках.

В ушах стучала кровь. Перед глазами искры — то ли от ярости, то ли от слёз, которым я так и не позволила пролиться.

Его запах — табак, абсент, что-то животное — заполнял лёгкие, пропитывал кожу.

Внутренности сжимались от страха.

И от чего-то ещё.

Тёмного. Горячего. Поднимающегося из низа живота, как волна, как прилив.

Я чувствовала, как тело отзывается против воли. Соски сжимались в твёрдые точки под тканью платья. Бёдра дрожали. Низ живота наливался тяжестью.

Я мысленно кричала, пыталась отгородиться, вспомнить, кто я.

Но его язык был во рту. Его запах — в лёгких. Его тело — слишком близко.

С Тедом всё было иначе.

Его поцелуи — лёгкие касания губами, мимолётные, невесомые, как дуновение тёплого ветра. Он целовал меня в лоб, в висок, в уголок рта.

Нежно. Осторожно. Будто боялся сломать.

Его губы — мягкие, сухие, тёплые. Они никогда не требовали. Только спрашивали.

И мне этого хватало.

Мы жили в своём тихом мире, где нежность была важнее страсти, а осторожность — важнее нетерпения.

Но сейчас этот мир лежал в осколках, как ваза, разбитая о стену.

Диамант целовал иначе.

Его губы жёсткие. Горячие. Требовательные.

Его язык наглый. Умелый. Бесстыдный.

Он не спрашивал разрешения. Он утверждал: ты моя, и это решено.

И самое страшное — тело понимало разницу.

Тело отвечало.

Он отпустил меня.

Я отшатнулась. Вытерла рот тыльной стороной ладони.

На губах — привкус абсента и металла. Я прикусила губу, пытаюсь сопротивляться.

На ладони осталась капля крови.

Моя кровь.

Алая. Яркая. Как печать. Как знак пересечённой черты, за которой нет возврата.

Диамант смотрел на меня и улыбался.

Медленно провёл пальцем по моей щеке. Прикосновение почти нежное.

И от этой нежности меня тошнило сильнее, чем от любой грубости.

— Видишь? — сказал он. — Ты уже изменилась.

Его палец задержался у уголка моих губ, там, где кровь.

— И это только начало.

6

Тишина повисла в комнате.

Густая, как дёготь. Осязаемая, как чужая ладонь на горле.

Она не просто давила. Она заполняла собой всё: рот, лёгкие, пространство между рёбрами.

Каждый вдох приходилось выдирать из неё, как нитку из раны.

Я стояла, сжимая кулаки. Ногти прокусили кожу ладоней.

Боль была правильной. Единственной честной вещью в этой комнате.

Всё остальное — ложь.

Внутри, под коркой ненависти и отчаяния, пульсировало другое. Безымянное. Тёмное.

То, от чего кровь гудела в венах, а сердце колотилось не в ритме ярости, а в ином, постыдном ритме. Древнем, как голод.

Пульс бился в висках, в горле, в кончиках пальцев, как барабанная дробь перед эшафотом.

— Как ты посмел? — произнесла я.

Вкус его рта — полынь и кровь — всё ещё жил на языке, въедался в нёбо.

По телу прошла дрожь. Незнакомая. Тягучая. Поднимающаяся откуда-то из глубины живота.

Это не страх.

Диамант усмехнулся.

Шагнул ко мне неторопливо, как хищник, который знает, что жертва уже в капкане.

Свечи бросали рваные тени на его лицо, и в глазах — холодных, с янтарной искрой на дне — тлело нечто нечеловеческое. Удовольствие. Сытое. Почти плотское.

От моей ярости. От моей дрожи. От каждого моего вздоха.

— Милая, это только начало, — его голос тёк, как тёплый мёд по ожогу. Каждое слово он перекачивал на языке, пробуя на вкус. — Что, твой женишок никогда не целовал тебя всасос?

Пауза. Уголок рта дрогнул.

— Ужасно. И скучно.

Эти слова легли на кожу раскалённой полосой.

Там, где не останется синяка.

Но навсегда останется рубец.

Я бросилась на него.

Из горла вырвался рваный, животный крик, сплетённый из ярости, страха и чего-то третьего, чему я отказывалась давать имя.

Кулаки молотили по его груди — твёрдой, как стена, — по скулам, по шее.

Я целилась в глаза. Хотела вырвать из них этот проклятый огонь. Стереть ухмылку. Содрать её вместе с кожей.

Хрипя и плача, я выкрикивала:

— Ненавижу! Ненавижу тебя!

Но он ловил меня.

Перехватывал запястья с ленивой точностью, с грацией человека, танцующего давно заученный танец.

Хореограф, ведущий марионетку.

Каждый мой рывок — его шаг. Каждый мой крик — его пауза.

Он тихо смеялся. В этом смехе не было ничего живого. Только звон металла о камень.

— Знаешь, ты очень страстная, — произнёс он.

Слово «страстная» прозвучало как раздевание.

— Ты становишься всё интереснее. Но, милая... ты забываешь, кто здесь хозяин.

Его пальцы сомкнулись на моём подбородке, заставляя поднять лицо.

Он развернул меня одним движением.

Прижал спиной к своей груди. Горячей. Твёрдой.

Я чувствовала его дыхание на шее. Его сердцебиение за своими лопатками. Ровное. Спокойное. Как метроном.

Его пальцы сомкнулись на моей талии, как тиски из кости и мышц. Вминались в кожу, оставляя отпечатки, которые к утру расцветут синяками.

Я извивалась. Пыталась ударить пяткой по голени.

Тщетно.

Его тело — стена. Якорь. Тюрьма.

Мои зубы щёлкали у его запястья.

Он перехватил мою челюсть и сжал так, что боль прострелила от скул до висков.

Я рванулась затылком назад.

Он уклонился. Будто знал наперёд. Будто читал мои мышцы раньше, чем я сама.

Наступила секунда неподвижности.

Бесполезность борьбы ощущалась как вода в лёгких: невозможно ни выплюнуть, ни проглотить.

— Отпусти! — прохрипела я. — Я не твоя игрушка!

— Конечно нет, — ответил он шёпотом прямо в ухо.

Его губы коснулись мочки.

Мурашки прошли по телу раскалённой волной — от затылка до копчика, от копчика до кончиков пальцев на ногах.

Кожа предала меня раньше, чем разум: покрылась испариной, натянулась, потянулась навстречу.

И от этого предательства к горлу подкатила тошнота.

— Ты гораздо больше, — продолжил он. — Ты — вызов. А я люблю вызовы.

Он подхватил меня.

Как подхватывают невесту на пороге. Легко. Почти нежно.

И швырнул на кровать.

Изголовье из чёрного дерева блестело в свечном свете. Резьба по нему складывалась в символы, которые я не могла прочесть. Забытые боги. Забытые жертвы.

Кровать была алтарём.

И я — подношением, распростёртым на тёмном покрывале, пахнущем лавандой и чем-то мускусным, звериным.

Канделябр бросал тень решётки на моё лицо.

Клетка уже сомкнулась.

В зеркале напротив я видела нас обоих: своё белое, мокрое от слёз лицо и его тёмный силуэт, нависающий сверху, как грозовая туча.

Отражение искажало и множило, превращая реальность в чей-то горячечный бред.

Пружины скрипели. Матрас принимал моё тело мягко и покорно, как земля принимает гроб.

Я упёрлась локтями, пытаюсь подняться. Колени дрожали. Каждая мышца горела от борьбы.

Но он уже навис сверху и прижал мои запястья к покрывалу.

Боль в запястьях пульсировала в такт сердцу.

А сердце стучало в такт его дыханию.

И я ненавидела это совпадение больше, чем всё остальное.

Пощёчина.

Хлёсткая. Мокрая.

Звук повис в комнате и не исчезал. Застыл, как натянутая до звона струна.

Щёку обожгло. Затем пришло онемение. Затем пульсация — горячая, чужая, словно под кожей забилось второе сердце.

Комната плыла: свечи размножались, стены качались, цветные пятна лопались перед глазами.

Я потянулась к щеке.

Он перехватил мою руку. Запястье хрустнуло в его пальцах.

— Нет! Не смей! — выкрикнула я.

— Слишком поздно, — ответил он.

Его губы коснулись моей пылающей щеки.

Медленно. Оставляя влажный след. Горячий, как яд, впитывающийся в кожу.

Поцелуй лёг точно поверх удара.

И от этого контраста — боль и нежность, кулак и рот — что-то внутри меня сломалось со звуком, который никто, кроме меня, не слышал.

А потом — его рука скользнула ниже.

По шее. По ключице. По груди.

Медленно. Пальцы едва касались ткани платья. Но под этой лаской кожа вспыхивала. Как от удара.

Я выгнулась.

Не от него. От себя. От того, что тело отвечало.

Соски затвердели. Резко. Болезненно. Под тонкой тканью — два камня.

Между бёдер стало горячо. Влажно. Не от страха.

Он замер.

Пальцы остановились на моём ребре. Ладонь накрыла грудь через ткань.

Он чувствовал. Сквозь шёлк. Как соски впиваются в ладонь. Как сердце колотится. Как дыхание сбивается.

Он посмотрел на меня.

Долго. Изучающе.

Потом — улыбнулся.

Медленно. Широко. Искренне.
— О, — произнёс он тихо. — Вот как.
Его палец прошёлся по моему соску через ткань. Круговым движением. Медленно.
Я вздрогнула. Всем телом.
Из горла вырвался звук — не крик. Не стон. Что-то между.
Он услышал.
Он всё услышал.
— Тебе нравится, — сказал он. Не вопрос. Утверждение. — Когда больно.
Палец нажал сильнее. На тот же сосок. До боли.
Я закусила губу.
Но тело уже предало. Бёдра дрожали. Влага между ног — не от страха. От чего-то другого.
Он видел это. Всё видел.
— Тогда мы точно поладим, — произнёс он.
Голос — бархат. Мёд. Яд.
Я вскинула голову.
— Ты — больной, — процедила я. Голос дрожал. Но я держалась. — Ты думаешь, что если я не могу тебя остановить, то ты победил? Ты ничего не знаешь обо мне. Ничего.
Он рассмеялся.
Тихо. Нежно. Почти ласково.
— О, я знаю достаточно, — сказал он. — Я знаю, что ты девственница. Знаю, что твой жених тебя не трогал. Знаю, что ты боишься своего тела. И — самое главное — знаю, что оно уже моё.
Он убрал руку.
И — ударил.
По другой щеке.
Хлёстко. Мокро. Не сильно. Но достаточно.
Голова мотнулась. В глазах вспыхнуло. Боль — на этот раз — пришла сразу. Без онемения. Без паузы.
И — тело отозвалось.
Сильнее, чем на первую пощёчину. Сильнее, чем на ласку.
Соски сжались до боли. Влага между ног — обильнее. Я почувствовала, как ткань платья прилипает к коже.
Он заметил.
Он всё заметил.
— Вот теперь я вижу тебя настоящую, — произнёс он. — Ту, которая прячется за словами о чести и женихе. Ту, которая хочет боль. Ту, которая уже течёт от одного удара.
Я задохнулась.
От ярости. От стыда. От того, что он прав.
— Ты — мерзавец, — выдавила я.
— Да, — согласился он. — Но ты снова повторяешься. Скучно.
Он наклонился.
Ближе.
Его губы оказались у моего уха.
Дыхание — тёплое. Пряное. Абсент и табак.
— Слушай внимательно, Сильвана, — прошептал он. — Ты уже в моей игре. И правила...
Кончик его языка коснулся края моих губ. Невесомо. Как обещание.
— ...устанавливаю я.
7
Раздался короткий металлический щелчок.

Сухой. Хирургически точный.

В полумраке сверкнула сталь наручников — почти чёрных, с гравировкой, похожей на руны забытых проклятий.

Зеркало напротив поймало их блеск и отбросило обратно зловещим, кривым отсветом.

Я замерла.

Не от страха.

От узнавания.

Словно где-то в глубине памяти, в той её части, куда не проникает дневной свет, я уже знала, что этим закончится.

Металл сомкнулся на запястьях. Холод впился в кожу, оставляя красные полосы. Печать, скрепляющая договор, который я не подписывала.

— Что... что ты делаешь?! — выкрикнула я.

Голос сломался на середине.

Он застёгивал второе кольцо нарочито медленно. Ритуально. Словно облачал жертву перед алтарём.

— Обеспечиваю себе спокойствие, — ответил он с усмешкой. — Чтобы ты не швырялась вазами. И не царапала мне лицо — оно мне дорого. Хотя... признаюсь. Это было возбуждающе.

Он затянул второе кольцо до щелчка.

И — замер.

Посмотрел на меня.

Долго. Изучающе. Без усмешки. Без иронии.

Потом — заговорил.

Мягче.

— Тише, — произнёс он почти ласково. — Не дёргайся. Тебе нечего бояться.

Его голос был другим. Не бархатным хлыстом. Тёплым. Глубоким. Как вода. Как одеяло. Как что-то, что накрывает и держит.

— Я не сделаю тебе больно, — продолжил он. — Точнее сделаю. Но не так, как ты это себе представляешь. Ты сама поймёшь, какой сладкой может быть боль. Ты уже начала понимать. Когда я ударил тебя.

Я хотела возмутиться. Хотела выкрикнуть что-то резкое. Но голос не слушался.

Слова падали в меня, как капли тёплого воска. Медленно. Обволакивающе. Растворяя сопротивление.

— Ты устала, — сказал он. — Я вижу. Ты устала бороться. Устала держаться. Устала быть сильной.

Он провёл пальцем по моей щеке. От виска до подбородка. Медленно.

— Просто отпусти. На один вечер. На один час. Позволь мне взять это на себя. Всё.

Я чувствовала, как его слова проникают в сознание. Как они находят трещины, о которых я не знала. Как заполняют их чем-то тёплым.

Я растворялась.

Против воли. Как сахар в горячей воде.

Голос был везде. В ушах. В груди. В низу живота. Он не приказывал. Он обещал.

— Доверься, — прошептал он. — Хотя бы на миг. Хотя бы на вдох. Я не враг. Я — то, что ты искала всю жизнь. Сама не зная.

Я закрыла глаза.

На секунду.

И — растворилась.

В его голосе. В его словах. В обещании, которому нельзя верить. Но я — верила.

Из последних сил, стараясь не поддаваться гипнозу, рванулась снова. Но уже слабее.

Наручники лязгнули о изголовье тонким, злым звуком. Кровать качалась. Пружины стонали.

— Ты пожалеешь об этом, — прошептала я. — Пожалуйста... остановись.

— Поздно, Сильвана.

Он наклонился. Его дыхание легло на мою кожу влажным теплом — лоб, висок, скула. Голос почти нежный.

И от этой нежности делалось страшнее, чем от любой грубости. Потому что за ней разверзалась бездна.

— Теперь ты в моей власти, — произнёс он. — И я поймею всё. Тебя. Твоё тело. Твою душу.

Его губы скользнули по моей щеке, едва касаясь.

— Просто потому что могу.

Его рука двинулась от плеча вниз — по ключице, по рёбрам, к талии. Медленно. Как змея по нагретому камню.

Я дёрнулась, пытаюсь отстраниться.

Но наручники держали безжалостно и абсолютно.

Перед глазамиплыли тёмные пятна.

А глубоко внутри, в том месте, куда не доставали ни стыд, ни разум, зарождался трепет. Предательский. Горячий. Неуправляемый.

Он растекался по венам, смешивался со страхом и превращал его во что-то иное, чему я не знала имени.

Тепло разливалось внизу живота. Дыхание ломалось.

— Нет... — выдохнула я.

Но это уже было не «нет».

Что-то другое.

Диамант не дал мне договорить.

Его губы накрыли мои жёстко и безжалостно, без намёка на нежность.

Этот поцелуй не спрашивал. Он забирал. Утверждал право на то, что принадлежало мне: тело, разум, дыхание.

Клеймо. Горячее любого железа. Впечатанное в губы.

Комната тонула в полумраке. Тусклый свет лампы дрожал на стенах. Тени дёргались, как пойманные демоны.

Свечи догорали. Их восковой дух мешался с терпким запахом полированного дерева, с металлическим привкусом наручников, с горьковатой солью моего пота.

И с чем-то ещё. Тяжёлым. Звериным. Что рождалось между нами, как грозовой фронт.

Зеркало ловило нас — моё отчаяние, его хладнокровие — и искажало. Уродливо. Будто показывая правду, которую мы оба прятали.

Запястья горели. Каждое движение вжимало металл глубже. Наручники позвякивали тихо и издевательски, нашёптывая: «Бесполезно».

— Отпусти! — крикнула я.

Попыталась ударить его ногой.

Он перехватил её легко, одним движением, и сел сверху, фиксируя мои бёдра своими.

Его вес вдавил меня в постель. Воздух вышел из лёгких разом, как из проколотого меха.

Последняя иллюзия свободы погасла.

Он — тёплая, дышащая могильная плита.

Диамант усмехнулся.

Медленно. Лениво.

Его глаза, холодные и непроницаемые, как промёрзшее озеро, скользили по моему лицу, по вздымающейся груди, по дрожащим пальцам.

Он изучал каждую деталь. Каждую трещину. Каждый вздох.

Как охотник изучает пойманного зверя, прежде чем решить, что с ним делать.

В его взгляде не просто удовольствие. Предвкушение. Голод. Благоговение хищника перед добычей.

— Какая энергия, — протянул он.

Ирония в голосе — лишь тонкая плёнка, под которой дышало что-то густое, чувственное.

— Но знаешь, Сильвана... это только распаляет. Видеть, как ты борешься. Как сопротивляешься. Ты — пламя, которое пытается сжечь само себя. И это... заворачивает.

Я рванулась снова. Изворачивалась всем телом, выгибаясь под ним.

Его рука скользнула к вороту платья.

Пальцы сжались на ткани.

Резкий, непристойный треск.

Платье разошлось от горла до середины груди, обнажая кожу, покрытую мурашками.

Холодный воздух лизнул плечи и ключицы, но тут же отступил перед жаром его ладоней.

Контраст невыносим.

Я содрогнулась не от холода.

От обнажённости.

Не тела.

Души.

Больше нет барьеров. Нет ткани. Нет защиты. Нет лжи.

Я дёрнула руки, пытаюсь прикрыться, спрятаться.

Наручники впились глубже.

Я осталась открытой. Выставленной. Как рана.

— Ты реально хочешь поиграть в изнасилование? — выдохнула я.

Голос дрожал, но в нём ещё теплилась искра.

Он рассмеялся.

Тихо. Насмешливо. Почти нежно.

— Вроде того, — ответил он. — Только это не совсем игра. А ещё и откровение.

Его пальцы нашли мой сосок и сжали.

Легко. Точно. Небрежно. Будто щипнули струну.

По телу прокатилась волна — боль, смешанная с чем-то запретным, острым, тёмным, поднимающимся из самого нутра.

— Я показываю тебе то, что ты сама боишься увидеть, — продолжил он. — Ту себя, которую прячешь под слоями чести, долга, обязательствами перед женихом. Ту, которая хочет этого. Прямо сейчас. Прямо здесь.

— Не смей! — выкрикнула я. — Я ненавижу тебя...

Голос ломался. Слова вылетали с хриплым, рваным дыханием, мешаясь с тихими всхлипами.

— Знаю, — ответил он.

Его губы коснулись мочки моего уха. Горячо. Влажно.

Мир сузился до этой точки, до горячего дыхания на тонкой коже, до шёпота, проникающего прямо в кровь.

— Но ненависть — это маска, Сильвана. Под ней всегда прячется голод. И ты это знаешь. Просто ещё не готова попробовать.

Его пальцы двинулись ниже.

По рёбрам, считая их, как чётки. По животу. Медленно. Изучающе. Будто чертили карту, которую знал только он.

Остановились у кромки бёдер.

Замерли.

Тепло его ладони проникало сквозь ткань.

Я чувствовала, как внутри, в самой глубине, что-то сдвигается тяжело и неотвратно.

То, что я годами держала под замком, просыпалось с каждым его прикосновением.

Ярче. Жарче. Больше.

Огонь растекался по венам, пожирал сопротивление, оставляя лишь пульсирующую, звенящую пустоту, заполненную желанием.

— Да, ты уже сдаёшься, — сказал Диамант.

В его улыбке не было милосердия. Зато было восхищение скульптора, увидевшего, как из грубого камня проступает форма.

— Я чувствую. Твоё тело говорит громче любых слов.

Его рука поднялась к талии. Вернулась к бедру. Палец провёл по внутренней стороне невесомо, едва касаясь.

Я вздрогнула. Стиснула колени, пытаюсь сжаться, исчезнуть, стать невидимой.

Но наручники не отпускали. Его руки не отпускали.

Я закрыла глаза, чтобы спрятаться хотя бы за веками.

Но темнота стала предательством.

Без зрения каждое прикосновение ощущалось вдвое острее. Каждый шёпот — вдвое громче.

Ни один мужчина не касался меня так. Ни один не видел меня такой — голой не от наготы, а от правды.

— Ты думаешь, я не вижу, как ты дрожишь? — спросил он.

Голос низкий. Бархатный. Скользящий по позвоночнику.

В нём была нежность. Та особенная нежность, которой режут без ножа.

— Как твоё сердце бьётся быстрее, когда я касаюсь тебя...

Его пальцы прошлись по моей шее. Задержались на пульсирующей жилке у ключицы.

Он считал мой пульс. Читал меня, как открытую рану.

Его дыхание коснулось моего виска. Горячее. Пряное. С привкусом полыни и чего-то тёмного, звериного.

— Ты можешь ненавидеть меня. Можешь проклинать. Но твоё тело говорит правду. Оно хочет меня. И ты это знаешь.

Я хотела закричать. Ударить. Впитаться ногтями в его лицо. Разорвать эту невыносимую близость и этот запах, от которого мутнело в голове.

Но вместо крика вырвался тихий всхлип.

Хриплый. Жалкий.

Слёзы обожгли веки, скатились по щекам.

И там, где они прочертили дорожки, кожа горела, будто и слёзы мои теперь принадлежали ему.

Борьба проиграна.

Не потому, что он сильнее. Хотя его руки сжимали меня так, словно кости мои — хрупкие ветки.

Она проиграна потому, что внутри, глубоко, в самом чёрном, самом тайном месте, разгорался огонь.

Он пожирал сопротивление, как пламя — сухую траву. Жадно. Безвозвратно.

И то, что оставалось после, — не пепел.

Желание.

Первобытное. Густое, как кровь. Как сама тьма, из которой мы оба вылеплены.

— Пожалуйста... — прошептала я. — Остановись...

Голос тоньше паутины. Тише шороха пепла.

Но моё «остановись» звучало как «продолжай».

И мы оба это слышали.
Диамант не остановился.
Его губы нашли мои — неспешно, как хищник, который знает, что добыча уже в капкане.
Этот поцелуй был не грубый. Медленный. Тягучий. Как яд, который вливают по капле.
Сладкий на вкус. Смертельный по сути.
Его язык коснулся моей нижней губы. Влажный. Горячий.
Прошёл по ней, словно пробуя и запоминая.
Потом проник глубже. Нстойчивее.
Подчиняя. Обучая. Переписывая каждый мой вздох и каждый изгиб рта под себя.
Мир сузился до его вкуса — терпкого, тёмного, дурманящего — его запаха и чего-то запретного, от чего сводило низ живота.
Тихий влажный звук наших губ в тишине — непристойный и откровенный, как признание, произнесённое вслух.
И когда мои губы ответили — невольно, предательски, — когда моё тело обмякло в его руках, как свечной воск у огня, я поняла: это конец.
Не гибель.
Хуже.
Перерождение.
Та, что была до этого поцелуя, уже не вернётся.
Он сжёг меня дотла. Медленно. Нежно. С жестокой заботой.
И на пепелище осталась только я — новая, обнажённая, целиком принадлежащая тьме.
Целиком принадлежащая ему.

8

Диамант отстранился всего на вдох.
Чтобы сорвать рубашку через голову одним злым, нетерпеливым движением.
Ткань шлёпнулась о ковёр мёртвой птицей.
И я забыла, как дышать.
Полуобнажённый, он стал невыносимо красив и невыносимо опасен. Не античный бог. Нечто древнее и голодное. Существо, вырезанное из кости и лунного света.
Тело, в котором каждая мышца натянута, как тетива перед выстрелом.
Он был художав, с почти девичьей гибкостью. Но мышцы под молочно-бледной кожей перекачивались, жили, дышали в такт его рваному, звериному дыханию.
Сила в нём не бычья. Гибкая. Хищная. Та, что ломает хребет одним точным поворотом кисти.
Он не был создан для восхищения.
Он создан, чтобы брать, вскрывать и оставлять после себя женщин, которые уже никогда не станут прежними.
Мой взгляд споткнулся о татуировку на его правом плече.
Змея с рубиновыми глазами, кусающая собственный хвост.
В тусклом свете чешуйки влажно мерцали, будто покрытые свежей кровью. Мне на миг почудилось, что тварь шевелится, скользит по его коже и шепчет одними губами: «Отдайся. Прими. Растворись».
Я моргнула.
Змея замерла.
Но шёпот остался где-то под рёбрами, в самом тёмном углу сознания, где я прятала всё, чего боялась хотеть.
Диамант завёл прядь за ухо.

В мочке качнулась длинная серебряная подвеска с топазом. Камень точь-в-точь цвета его глаз. Ярко-голубой. Прозрачный. Ледяной, как вода в горном озере, на дне которого лежат кости.

В этом совпадении было что-то нарочитое. Ритуальное.

Он сам такой — драгоценный и смертоносный. Реликвия, от прикосновения к которой сходят с ума.

Он медленно склонился надо мной. Его дыхание — горячее и рваное — коснулось шеи.

По рукам побежали мурашки.

Я дёрнулась назад.

Но он уже навис. Не телом — тенью, тьмой, чем-то, от чего не отодвинешься, потому что оно уже внутри меня. Уже устроилось поудобнее и облизнулось.

— Не дёргайся, — произнёс он сухим, как звук клинка, извлекаемого из ножен, аристократически ровным голосом. — Ты слишком долго притворялась, что не хочешь этого. Замолчи наконец. И слушай своё тело.

— Пошёл ты... — хрипло ответила я.

Получилось жалко. Почти шёпотом.

Он улыбнулся уголком рта. Медленно. Как человек, которому только что подтвердили то, что он и так знал.

— Пойду. Но сначала — в тебя.

Его руки сомкнулись на моих плечах и вдавили в кровать.

Кости ныли. Матрас проседал.

Я слышала, как скрипит каркас. Или это скрипело что-то внутри меня — последний запор, державший на месте всё, чему полагалось оставаться запертым.

В его грубости было что-то невыносимо правильное.

Предвкушение скручивало живот тугим горячим узлом.

И между ног было влажно.

Его пальцы скользнули по горлу, вниз по ключице, ещё ниже. Обвели сосок лениво, похозяйски, будто он давно принадлежал ему и просто был оставлен мне на хранение.

Каждое касание — как ожог, от которого кожа вспыхивала и тянулась следом за его рукой, требуя ещё. Требуя грубее.

Его взгляд — ледяной, немигающий — раздевал не тело. Душу.

Он смотрел так, будто уже знал каждый мой секрет, каждый постыдный сон, каждую мысль, которую я прятала даже от себя.

И все они его забавляли.

Я ударила локтем.

Он перехватил мгновенно, у самого плеча. Сжал так, что пальцы онемели.

Из горла вырвался всхлип.

Я рванулась коленом.

Он не стал ловить. Просто отклонился. Мягко. Презрительно. Как от надоедливой мухи.

И — посмотрел на меня.

Долго. Изучающе. С ленивой, искренней насмешкой.

— Ну вот это совсем лишнее, — произнёс он спокойно. — Коленом в пах? Серьёзно? Ты так хочешь остаться девственницей навсегда? Потому что если ты сейчас попадёшь — я не смогу тебе помочь. Даже если очень захочу.

Он покачал головой.

— Я думал, ты умнее. Ладно. Будем считать, что это была не ты. А твоя голова, которая не знает, чего хочет. Бывает.

Он прижал мою ногу бедром. Горячим. Твёрдым, как нагретый камень.

И я почувствовала его — сквозь ткань кожаных штанов. Тяжёлого. Налитого. Готового.

Прижатого к моему бедру как обещание и как приговор.

Я замерла.

И в этой неподвижности тело предало меня окончательно.

Жар плескал низ живота. Соски ныли и вытягивались. Дыхание стало рваным. Сердце колотилось о рёбра.

И я уже не знала, от страха это или от того, что страх только прикидывался страхом, а на деле был древнее страха и старше стыда.

Его рот нашёл мой сосок.

Сначала — губы. Тёплые. Мягкие. Он накрыл его ртом целиком. И — замер. Не двигаясь. Только дышал на него. Горячо. Влажно.

Я выгнулась.

От того, что тело отвечало на это сильнее, чем на боль.

А потом — он начал лизать.

Медленно. Круговыми движениями. Язык — шершавый, горячий. Он прошёлся по ореолу. Потом — по самому сосочку. Потом — снова по ореолу. Дразня. Не давая сосредоточиться.

И — он смотрел.

Не отводил взгляд.

Глаза — ярко-голубые, ледяные — были открыты. Направлены на меня. На моё лицо. На то, как я выгибаюсь. Как сжимаю кулаки. Как кусаю губу. Как пытаюсь сдержать стон — и не могу.

Он запоминал.

Каждую мою реакцию. Каждый вздох. Каждую дрожь. Каждую попытку сохранить лицо — и каждый момент, когда оно трескалось.

Он читал меня. Как книгу. Как карту. Как что-то, что принадлежит ему — и что он изучает с наслаждением.

Я закусила губу.

Но стон всё равно вырвался. Тихий. Хриплый. Жалкий.

Он услышал.

И — втянул сосок в рот. Резко. До боли. До вспышки перед глазами.

Мир треснул пополам.

Холод на горячей коже. Боль, мгновенно переплавленная в наслаждение. Такое резкое, что у меня потемнело в глазах.

Из горла вырвался звук, которого я от себя не ожидала.

Не крик.

Стон.

Низкий. Животный. Благодарный.

Принадлежащий не мне, а какому-то другому существу. Древнему. Лишённому стыда. Знающему только голод.

Боль и удовольствие сплелись в один жгучий узел.

И я не могла — не хотела — их разделять.

Он перешёл ко второму соску.

Те же движения. Тот же ритм. То же дразнящее посасывание перед вспышкой.

И — тот же взгляд. На мне. На моём лице. На том, как я ломаюсь.

Он запоминал.

Я уже не сопротивлялась.

Тело выгибалось само. Бёдра дрожали. Между ног — мокро. Так мокро, что я чувствовала влагу на внутренней стороне бёдер.

Он поднял голову.

На губах — влажный след. Улыбка та самая, ленивая, за которую хочется ударить и одновременно облизать.

— Спорим, ты уже течёшь? — прошептал он в самое ухо. Низко. Утробно. С вибрацией, проникающей в кости. — Врёшь себе с закрытыми глазами. А я сейчас проверю. И если я прав — ты скажешь это вслух. Слово в слово. Ты умеешь быть послушной, Сильвана?

— Не смей... — выдавила я.

— Уже смею.

Он спустился ниже.

Губами — по животу. По рёбрам. По внутренней стороне бедра.

И — остановился.

У самой кромки.

Дыхание — горячее. Влажное. Прямо туда.

Я замерла.

— Скажи, — произнёс он тихо. — Хочешь, чтобы я вылизал тебя здесь? Прямо сейчас?

Он выдержал паузу.

И — добавил. Медленно. С той же ленивой, язвительной улыбкой:

— Или ты хочешь мой член? Скажи честно. Я не обижусь.

Я дёрнулась.

Попыталась сомкнуть ноги.

Он не дал. Коленом развёл бёдра. Шире. До предела.

— Нет! — выкрикнула я. Голос сорвался. — Нет! Не смей! Не смей этого делать!

Я билась. Руками. Ногами. Всем телом. Но руки были в наручниках. Ноги — в его хватке.

Он смотрел.

И — улыбался.

Широко. Искренне.

— Ясно, — произнёс он лениво. — Значит, всё же хочешь.

Он не стал этого делать.

Вместо этого — его пальцы нашли меня. Скользнули по нежным, набухшим, скользким складкам.

Медленно. Дразняще.

И я услышала его тихий, довольный выдох.

Он считывал каждое содрогание моего тела, как слепой считывает шрифт. Я — текст, который он читал кончиками пальцев. Открытая книга. Развёрнутая карта.

Каждой влажной, предательской буквой кричащая «да», «да», «да».

— Ну надо же, — произнёс он почти нежно. — Промокла насквозь. Ещё до того, как я по-настоящему тебя коснулся. Скажи это.

Я мотала головой.

По вискам катились злые, унижительные, горячие слёзы.

Его палец вошёл внутрь.

Резко. Глубоко. Без предупреждения.

Я вскрикнула.

Мышцы сжались, пытаясь одновременно оттолкнуть и втянуть глубже. В самую сердцевину. Туда, где пряталась первобытная, дочеловеческая жажда, не имеющая имени.

— Скажи, — повторил он ровно и ласково, как палач, объясняющий, что будет проще, если не сопротивляться.

— ...мокрая, — выдавила я.

И возненавидела себя за облегчение, которое принесло это слово.

— Умница.

Его большой палец лёг на клитор.

Начал медленное круговое движение. Едва ощутимое. Почти невинное.
Потом жёстче. Быстрее.

Затем снова медленнее — ровно в тот миг, когда я уже тянулась к краю.

Он играл на мне, как на живом инструменте, извлекая звуки, о существовании которых я не подозревала.

Ногти впились в покрывало, оставляя борозды на ткани. И, кажется, на самой ткани мира.

Стоны срывались с губ сначала шёпотом, потом громче, ещё громче.

Заполняли комнату, отскакивали от стен, возвращались эхом, как молитва в пустом храме, посвящённом божеству, у которого нет имени и есть только зубы.

Тело выгибалось навстречу его рукам само. Помимо воли. Требуя. Умоляя. Забыв обо всём.

Я не помнила своего имени. Не помнила, как оказалась здесь.

Есть только он — его пальцы, его дыхание, его вес, его власть.

И этого больше, чем достаточно.

Второй палец вошёл рядом с первым.

Растяжение на грани боли.

Боль вспыхнула белым и тут же утонула в горячей, чёрной волне, став её остриём, её сладким сердцем.

Мой стон — не протест.

Сдача.

Капитуляция.

Признание того, что я больше не принадлежу себе.

И, страшнее всего, больше не хочу принадлежать.

— Видишь, я едва в тебе, — прошептал Диамант.

Его шёпот обвился вокруг моего горла шёлковой петлёй, затянутой ровно настолько, чтобы напомнить: петля здесь.

— Два пальца. Даже не мой член. А ты уже дрожишь, раздвинутая, мокрая, готовая.

— Ты создана для этого, Сильвана. Для боли. Для удовольствия. Для меня. Твоё тело поняло это раньше твоей гордыни — оно всегда умнее. Скажи, кому ты принадлежишь.

Я молчала.

Стиснула зубы так, что заныли челюсти.

Он замер.

Пальцы внутри тоже.

И эта внезапная неподвижность оказалась страшнее любого движения.

Тело выло от пустоты, от прерванного нарастания, от края, к которому он подвёл и оставил висеть.

— Я жду, — произнёс он.

— Будь ты проклят, — выдохнула я.

— Уже. Давно.

Пальцы двинулись снова.

Ритмичнее. Безжалостнее. Точнее.

Он находил каждую чувствительную точку, каждый нерв, каждый тайный рычаг, от нажатия на который тело скручивалось, выгибалось, скулило.

Ладонь другой руки легла на горло. Не сдавливая. Лишь напоминая, где его пальцы могут оказаться в любую секунду.

Большой палец на клиторе выводил жёсткие, точные круги. Будто расписывался на мне своим именем.

Напряжение внутри нарастало раскалённой спиралью, закрученной за предел.

Я в секунде от разрядки. Ещё одно движение — и всё. Ещё один круг — и я разлечусь на осколки.

С губ сорвалось хриплое, отчаянное, бессвязное:

— Пожалуйста...

— Пожалуйста — что? — спросил он ровно, как лезвие, положенное плашмя на кожу.
— Договаривай. Взрослые девочки говорят словами. Или мне остановиться?

— Не смей, — выдохнула я.

— Тогда — вслух.

— Не смей, не смей...

И мы оба знали, о чём эта мольба.

Не «отпусти». Не «пощади».

Не возвращай меня туда, где нет твоих рук, твоего запаха, твоей тьмы.

Не оставляй меня одну с собой прежней, потому что она больше не поместится в ту, кем была до тебя.

Это молилась не я.

Моё тело. Моя кровь. То, что было во мне до имени, до разума, до страха.

То, что он разбудил тремя касаниями и одной улыбкой.

Он вынул пальцы.

Резко. Без предупреждения.

В тот самый момент, когда я уже летела. Когда мышцы уже сжимались вокруг него. Когда клитор пульсировал под его большим пальцем. Когда ещё один толчок разорвал бы меня на части.

Пустота.

Внезапная. Ледяная. Безжалостная.

Тело выло и билось. Мышцы сжимались в пустоте, хватая воздух, хватая ничего.

Я задышалась.

Крик застревал в горле, потому что нет слов.

Есть только агония. Неразряженная. Скрученная в тугой узел. Оставшаяся внутри, как недоношенный стон.

Мои бёдра дёргались. Тело само тянулось за его рукой. Бесстыдно. Отчаянно. Без всякой воли.

— Что такое? — его голос прозвучал прямо над ухом. Мягкий. Почти сочувствующий. И от этого тошнотворно-издевательского сочувствия хотелось умереть. — Я же сказал: ты будешь просить. Красиво. На коленях. Вслух. А пока — потерпи.

Я не могла дышать. Не могла говорить.

Тело билось, как в лихорадке.

Между ног мокро и пусто.

И эта пустота хуже боли. Хуже всего, что он делал до этого.

— Ненавижу тебя, — выдохнула я.

Голос дрожал. Срывался.

В нём не было ни капли ненависти.

Только мольба.

— Знаю, — ответил он.

Его пальцы, только что бывшие во мне, коснулись моих губ. Размазали по ним мою собственную влагу.

— Но это тоже часть игры. Ты научишься.

Я машинально слизнула с губ солёное.

И лишь потом поняла, что сделала.

Поздно.

Он видел.

И улыбнулся так, как улыбается человек, чей план сработал безупречно.

9

Диамант отстранился резко, как хищник, меняющий хватку.

Одним яростным движением содрал с себя штаны. Кожа глухо и мёртво ударилась о пол.

Секунда тишины.

А затем он вошёл.

Одним безжалостным толчком.

Рассекая меня надвое.

Боль — белая, ослепительная, раскалённая — прожгла позвоночник насквозь и выбила воздух из лёгких.

Тело выгнулось дугой. Рот распахнулся в немом крике.

Но звук застрял где-то между рёбрами.

Я дёргалась, извивалась, пытаюсь выскользнуть из-под него.

Он навалился всем весом и вдавил меня в матрас, как зверь прижимает добычу к земле, чтобы та перестала трепыхаться.

Его пальцы впились в бёдра до мяса.

Я чувствовала, как под ними лопаются капилляры, как расцветают багровые пятна — метки, которые не сойдут неделю.

В висках стучала кровь. По спине прокатывался ледяной озноб.

Его движения — жёсткие, мерные.

В них ни тени нежности. Ни намёка на жалость.

Он трахал меня так, словно я не человек. Вещь. Тёплая, удобная, созданная исключительно для его удовольствия.

Мои всхлипы и слёзы существовали где-то за пределами его внимания.

Для него был только ритм. Только жар. Только утоление голода.

Каждый толчок отдавался в теле тупым гулом, как удар молота в пустом соборе.

Я задыхалась не от нехватки воздуха. От всего сразу.

Боль, страх и стыд смешивались в густую, вязкую массу, заливающую сознание, как смола.

Я пыталась что-то сказать.

Слова рассыпались на языке, превращались в невнятное мычание, тонущее в скрипе кровати и влажном шлепке плоти о плоть.

Пальцы вцепились в цепь наручников. Металл обжигал холодом и звякал тонко, издевательски.

Единственный звук, который принадлежал мне.

Каждый нерв выл от боли.

Но глубоко внутри, в самом потаённом, стыдном углу существа, что-то шевелилось.

Искра.

Крохотная. Еле тёплая. Как уголёк в золе.

Она не имела права существовать.

Но тлела.

И тело-предатель отзывалось на неё произвольной дрожью, от которой к горлу подкапывала тошнота.

— Пожалуйста... — голос трескался, как сухая ветка. Хриплый. Чужой. — Остановись...

Пощёчина.

Звук сухой, хлесткий, расколол воздух.

Голова мотнулась вправо. Перед глазами вспыхнули искры. Рот наполнился медным привкусом. В ушах зазвенело.

И — тело отозвалось.

Сжалось вокруг него. Сильнее. Глубже. Горячее.

Боль от пощёчины пульсировала в такт с болью между ног. И обе они — переплавлялись во что-то иное. Раскалённое. Тягучее. Тёмное.

— Не дёргайся, сучка, — его голос низкий, шипящий, как змея, скользнувшая в ухо. — Или будет хуже.

Его зубы сомкнулись на моём плече.

Резко. Глубоко. Почти до крови.

Укус хищника. Печать. Клеймо.

Кожа горела. Я знала: след останется. Будет темнеть и наливаться лиловым, напоминая о том, кому я сейчас принадлежу.

Он выдохнул прямо в рану:

— Блять, расслабься.

Его горячее дыхание обожгло прокушенную кожу.

Пальцы сдавили мои запястья поверх браслетов. Кости ныли, хрустели.

Тело инстинктивно сжималось.

Но сжиматься некуда.

Он везде. Заполнял собой всё пространство, весь воздух, всю меня.

Каждое его движение — грубое и расчётливое. Проверяло границу, за которой я перестану быть собой.

И он знал эту границу лучше, чем я сама.

Я послушалась.

Не от покорности. От усталости. От безысходности. От того, что сопротивляться — всё равно что бить кулаками о каменную стену.

Где-то далеко, в той жизни, что была до этой комнаты, Тед целовал меня в лоб и говорил: «Ты слишком дорога мне, чтобы торопиться».

Он был нежен. Бережен.

Но эта мысль ударила, как второй толчок: он был слаб.

Я застонала не от боли.

От понимания.

Тед никогда не взял бы меня так. Никогда не увидел бы меня такой. Он бы испугался.

А я не хотела больше быть той, кого берегут.

Я хотела быть той, кого берут.

Ещё пощёчина.

По другой щеке.

Хлёсткая. Мокрая. До звёзд в глазах.

И — тело снова отозвалось. Сильнее. Глубже. Я почувствовала, как влага между ног стала обильнее. Как соски затвердели до боли. Как что-то внутри — там, глубоко — сжалось и отпустило.

Диамант почувствовал это.

Он замер на секунду.

Посмотрел на меня.

И — улыбнулся.

— Вот видишь, — произнёс он тихо. Почти ласково. — Тебе действительно нравится, когда больно.

Он не ждал ответа.

Он продолжил.

Ритм стал жёстче. Глубже. Точнее. Он вбивался под другим углом — тем самым, от которого перед глазами вспыхивали белые пятна.

Я больше не сопротивлялась.

Всхлипы стихли. Дыхание замедлилось. Осталось неровным и рваным, но уже не паническим хрипом.

Только сердце продолжало колотиться в висках, в горле, на кончиках онемевших пальцев.

Я закрыла глаза, пыталась уйти, спрятаться.

Но реальность не отпускала.

Она была в запахе его пота. Горьковатом. Muskusном. Животном.

В скрипе матраса. В звоне цепи. В жаре его тела, от которого моя кожа становилась влажной и скользкой.

Что-то ломалось.

Сначала тихо, как далёкий гром за горизонтом.

Боль не уходила. Она изменялась, перетекала во что-то иное. Не имеющее названия. Запретное. Древнее стыда, древнее морали, древнее самого языка.

Волны нового ощущения накатывали медленно и неотвратно.

Это не боль. И не удовольствие.

Нечто между.

Раскалённое. Пронзительное. От чего тело вздрагивало уже не в попытке вырваться, а в попытке удержать и впустить глубже.

Я не заметила момент, когда сдалась.

Когда сопротивление стало согласием. А согласие — жаждой.

Моё тело, проклятое и предательское, уже двигалось само. Подавалось навстречу. Подстраивалось под его ритм. Требовало ещё, ещё, ещё.

Диамант почувствовал это.

— Вот так, — выдохнул он. — Вот теперь ты начинаешь понимать.

Его ладонь легла на мой живот и надавила.

Я почувствовала его член внутри себя ещё острее. Ещё глубже.

Пальцы другой руки сомкнулись на горле. Не сдавливая. Напоминая.

— Чувствуешь? — прошептал он. —

Чувствуешь, как ты течёшь для меня? Как твоё тело раскрывается? Как ты насаживаешься на мой член, хотя твой рот всё ещё орёт «нет»?

Я не могла ответить.

Могла только стонать.

Первый стон — тихий, задушенный, сжатый между зубами. Я пыталась проглотить его, спрятать.

Но он всё равно просачивался сквозь стиснутые губы и остатки гордости.

За ним — второй. Громче. Откровеннее.

Затем третий.

Они сливались в мелодию. Не мольбу. Не протест.

Признание.

Капитуляцию.

— Да, вот так, — выдохнул он мне в ухо. — Стони для меня. Пусть весь замок слышит, как дочь мятежника кончает под сыном короля. Я же говорил, шлюшка, тебе будет очень хорошо.

Эти слова вошли в сознание раскалёнными иглами. Грубые. Унизительные.

Но вместо отвращения они вызвали новую волну. Не страха. Чего-то более опасного и более честного.

Его дыхание смешивалось с моими стонами.

Пот, слёзы, слюна, звуки — всё это становилось запахом и вкусом моего падения.

— Ты уже близко, — прошептал он. — Я чувствую. Ты сжимаешься вокруг меня. Твои бёдра дрожат. Твоя спина выгибается. Ты хочешь кончить, Сильвана. Скажи это.

Я мотала головой.

Но тело говорило за меня.

Бёдра двигались навстречу. Мышцы сжимались. Стоны становились громче и отчаяннее.

— Скажи, — повторил он.

Его большой палец лёг на клитор. Жёстко. Точно.

— Скажи: «Я хочу кончить».

— Нет... — всхлипнула я.

Но это не было отказом. Последняя судорога гордости.

— Скажи.

Его палец двигался быстро и беспощадно, в такт толчкам. Двойная атака. Изнутри и снаружи.

Я больше не могла ни думать, ни дышать, ни сдерживаться.

— Я... Я хочу... — голос сорвался.

— Что? Громче.

— Я хочу кончить!

Крик. Громкий. Отчаянный. Бесстыдный.

Ещё несколько толчков.

Яростных. Рваных.

Его тело ударяло о моё с влажным, непристойным звуком. Каждый удар выбивал новый всплеск — острый, невыносимый, прекрасный.

— Кончай, — приказал он. — Кончай для меня.

Волна поднялась изнутри.

Огромная. Неотвратимая.

Перехватила дыхание. Залила глаза белым светом.

Комната исчезла. Звуки утонули.

Осталось только моё тело. Выгнутое. Горящее. Разорванное на части наслаждением, которое сильнее боли, сильнее страха, сильнее меня самой.

Оргазм обрушился.

Первый в моей жизни.

Как стена чёрной воды.

Снося всё: стыд, сопротивление, границы, имя.

Я кричала громко и отчаянно, не пряча ничего.

Тело сжималось и разжималось. Мышцы пульсировали вокруг него, вытягивая из меня всё: все силы, все мысли, всю прежнюю жизнь.

Он продолжал двигаться сквозь мою судорогу и сжатия, продлевая агонию наслаждения, не давая мне упасть обратно в тело, в реальность, в стыд.

— Вот так, — выдыхал он. — Вот так.

Я почувствовала, как он кончает.

Горячая пульсация внутри меня заполнила всё, что осталось пустым.

Последний толчок — глубокий, до самого конца.

Его стон — низкий, утробный, почти звериный — прозвучал где-то надо мной, как финальный аккорд.

Наступила тишина.

Только наше дыхание. Скрип остывающей кровати.

А на простынях, на коже, внутри меня смешивались пот, слёзы, сперма и кровь.

Я лежала раскинутая. Опустошённая. Разбитая на тысячу осколков.

И впервые за всё время не хотела собираться обратно.

Диамант

I

Она дрожала подо мной.

Мелко. Судорожно. Словно пламя свечи на сквозняке.

Каждая клетка её тела откликалась мне, пульсировала в такт моим движениям, отдавалась безумию без остатка. Её стоны ложились на тишину комнаты, как трещины на лёд.

Мне не хотелось останавливаться.

Я хотел получить от неё больше. Ещё больше. До последней капли её души. До того края, за которым не останется ничего — ни воли, ни имени, ни памяти о том, кем она была до меня.

Я хотел её рот.

Хотел чувствовать, как её губы сомкнутся вокруг меня. Как язык — неумелый, дрожащий — пройдёт по стволу. Как она захлебнётся, когда я войду глубже, до горла. Как слёзы потекут по щекам, смешиваясь со слюной. Как она посмотрит на меня снизу вверх — с ненавистью, с унижением, с тем тёмным, что уже проросло в ней.

А потом — я хотел попробовать с ней другое.

Не только тело. Не только боль. Что-то, что она не сможет забыть. Никогда. Что-то, что заставит её краснеть при одной мысли об этом. Даже через годы. Даже в могиле.

Мысль о верёвках. О том, чтобы подвесить её. Оставить висеть. Беспомощную. Полностью в моей власти. И брать её так, как я хочу. Медленно. Долго. Пока она не начнёт умолять.

Или — о том, чтобы заставить её смотреть. В зеркало. Видеть себя. Своё лицо. Своё тело. То, как она отвечает мне. Как она течёт. Как она кончает. И — не может отвести взгляд.

Но — я посмотрел в её лицо.

Затуманенное. Расплывающееся.

И понимал: она не выдержит.

Её кожа становилась слишком бледной, почти прозрачной, натянутой на скулах так, что под ней проступала сеть голубоватых вен. В дрожащем свете лампы она казалась призраком, сотканным из лунного света и предсмертного бреда.

Это вызывало во мне не жалость.

Тревогу иного сорта. Холодную. Расчётливую.

Что, если переступить черту — значит лишиться добычи?

Что, если сломать — значит обесценить?

Мёртвая игрушка не играет.

Её глаза были закрыты. Ресницы подрагивали мелко и беспомощно. Губы — покрасневшие, искусанные, припухшие — беззвучно шевелились.

Это не мольба. Не имя.

Что-то бессвязное. Младенческое. Как лепет ребёнка, потерявшегося в кошмаре и зовущего мать сквозь тьму, в которой матери никогда не было.

Она на грани.

Где удовольствие становится болью, а боль оборачивается наслаждением. Где тело перестаёт принадлежать разуму, а воля растворяется в инстинкте, как соль в кипящей воде.

На этот раз хватит.

Не из милосердия.

Потому что добыча ещё пригодится.

Сломанный клинок не режет. Пепел не горит.

Я сделал ещё несколько толчков.

Медленных. Тяжёлых.

Вбивающих в неё каждый звук, каждое ощущение, каждый удар пульса.

Это не ради удовольствия.

Ради клейма.

Чтобы она запомнила не разумом — кожей, мышцами, костями. Чтобы даже в тишине, в одиночестве, в самой глухой темноте чувствовала этот ритм. Мой ритм. Биение моего сердца внутри её грудной клетки.

Затем с низким, хриплым стоном, родившимся где-то в глубине живота, поднявшимся по горлу и вырвавшимся наружу, отрикошетив от каменных стен, я достиг пика.

Тело содрогнулось. Мышцы окаменели. Жилы на шее вздулись тёмными шнурами.

Затем — расслабление.

Такое полное и абсолютное, что лёгкие горели, отказываясь впускать воздух, ставший вдруг густым и тягучим, как нагретая смола.

Пот на спине остыл и сделался липким. Капли скатывались вдоль позвоночника медленно и щекотно, оставляя на коже влажный след, похожий на след чужих слёз.

Но даже в этот миг я не терял контроля.

Пальцы оставались сжатыми. Взгляд — острым. Воля — железной.

Скрип кровати замер.

В комнату хлынула тишина. Густая. Плотная. Давящая на барабанные перепонки, как толща воды.

Свет лампы подрагивал. Тени на стенах складывались в узоры, похожие на цепи, на прутья решётки, на письма забытого проклятия.

Запах пота, разгорячённой кожи и чего-то солоноватого, звериного смешивался с горьковатым ароматом догоревшего воска и привкусом металла на языке.

Я рухнул рядом с ней.

Матрас просел.

Тела остывали медленно и нехотя, как остывают камни после долгого пожара.

Её дыхание — рваное и судорожное. Она пыталась вдохнуть и не могла, будто воздух вокруг неё сгустился и стал слишком тяжёлым для её лёгких.

Её пальцы сжимались и разжимались, ища невидимую, недостижимую, ускользающую опору. Как вода между ладонями.

По её щеке скатилась слеза.

Она не замечала её. Не чувствовала.

Я ощущал, как моё сердце бьётся в унисон с её. Как наши тела всё ещё пульсируют отголосками пережитого — затухающей дрожью, фантомным теплом, эхом ритма, который уже закончился, но ещё звучал где-то в крови.

Она открыла глаза.

В них не было ни страха, ни ненависти.

Только пустота.

Глубокая. Бездонная. Абсолютная.

Зрачки расширены так, что радужка почти исчезла: два чёрных провала, в которых отражался дрожащий огонёк лампы, и больше ничего.

Я улыбнулся.

Медленно. Лениво.

В груди просыпалось что-то голодное, терпеливое, безымянное.

Игра только начиналась.

И правила буду диктовать я. До последней ноты, до последнего вздоха, до самого конца и чуть дальше.

Я поднялся.

Тело ещё гудело от разрядки. Мышцы наливались тяжёлой, сытой истомой.

Но разум оставался холодным. Как лезвие, которое после удара вытирают о шёлк, не глядя на кровь.

Босые ступни коснулись холодного камня. Пол обжёт приятно и отрезвляюще.

Я не стал одеваться.

И не отвёл взгляда от зеркала.

В отражении она лежала на смятых, влажных простынях. Раскинутая. Как сломанная кукла.

Её бледная кожа в багровых пятнах там, где мои пальцы сжимали бёдра, плечи, горло. На запястьях всё ещё одеты наручники, но сейчас она их не замечала. На внутренней стороне бёдер — тёмные разводы.

Из неё вытекало то, что я оставил внутри. Медленно. Вязко. Смешиваясь с кровью, с потом, с её соками.

Я смотрел и не чувствовал отвращения.

Отвращение — для тех, кто брезгует собственной природой.

Я видел результат.

Аккуратный. Законченный. Подписанный.

Удовлетворение — глубокое и тягучее, как первый глоток абсента после долгой жажды.

Но под ним — что-то ещё.

От чего я поморщился, отвернувшись от зеркала.

Голод.

Не утолённый. Напротив — разбуженный.

Он ворочался под рёбрами, как зверь, который попробовал крови и теперь не уснёт, пока не получит больше.

Я подошёл к столику.

Налил абсент — густой, зеленоватый, пахнущий полынью и анисом.

Бокал в ладони холодный и тяжёлый.

Сделал глоток. Второй.

Огонь прокатился по горлу и осел в желудке тёплым ядром. Но не погасил того, что горело глубже.

За спиной она дышала всё так же рвано и судорожно, как выброшенная на берег рыба.

Я не оборачивался.

Смотрел в тёмное окно, где вместо ночи было только моё отражение — размытое, бледное, с бокалом в руке.

Я думал о том, что ещё не взял.

Не всё.

Она кончила. Я чувствовал, как её мышцы сжимались вокруг меня, как тело ломалось под волной, которую она не могла ни остановить, ни принять.

Это было хорошо.

Это было начало.

Но её рот так и не произнёс моего имени.

Её глаза даже в беспамятстве не искали меня.

Её воля — та самая, что держала её на дыбе, — не сдалась. Прогнулась, но не сломалась.

А значит, игра не окончена.

Я поднёс бокал к губам.

Ещё глоток.

Абсент уже не горчил. Оседал на языке сладковатой плёнкой, как предвкушение.

Я хотел большего. Не только тела. Не только боли. Я хотел её волю. Её выбор. Её «да» — сказанное добровольно. Не под пыткой. Не под угрозой. А потому что она сама захочет. Потому что не сможет без меня.

Но — не сейчас.

Сейчас — она на грани. Ещё шаг — и сломается. Окончательно. И тогда — всё. Конец. Мёртвая игрушка. Пепел.

Я не хотел этого.

Я хотел её живой. Дышащей. Сопровождающей. Чтобы сломать потом.

— Интересно, что останется от тебя, когда я закончу, — произнёс я тихо, не оборачиваясь.

Тишина была мне ответом.

И это молчание нравилось мне больше, чем любые слова.

Сильвана

1

Тишина стояла в комнате, как остывающая кровь.

Густая. Вязкая.

Единственный звук — дыхание. Хриплое. Рваное. Словно из распоротых грудных клеток вырывался последний воздух.

Глубокие вдохи ломались о короткие судорожные выдохи, снова выравнивались и снова ломались. Смешивались с шорохом влажных простыней и тонким, почти нежным позвякиванием металла.

Я лежала, распластанная на постели, как жертва на алтаре после обряда.

Глаза закрыты.

На губах застыла улыбка. Непристойная в своём блаженстве.

Безумие это или та правда, которую говорят только телом?

На мгновение я вернулась в своё тело и увидела себя со стороны. Раскинутую. Мокрую. С его спермой внутри, с его слюной на губах, с его именем, застрявшим где-то в горле.

«Ты предала всех».

Мысль вошла ледяной иглой.

И тут же растаяла.

Тело всё ещё дрожало. Между ног горячо и пусто.

Я хотела, чтобы он вернулся. Чтобы снова наполнил меня. Чтобы смотрел на меня так, как смотрел минуту назад, — как на вещь, которая ему нужна.

Я плакала не от стыда.

От того, что стыда нет.

Обрывки мыслей кружили в голове, как мотыльки вокруг гаснущего пламени.

Стоило потянуться к ним — и они истлевали, растворяясь в воздухе, тяжёлом от запаха пота, разгорячённой кожи и оплывшего воска.

Тело ныло.

Каждая мышца хранила память о произошедшем: о каждом движении, каждом вжатии в матрас, каждом ударе его бёдер.

Боль ещё пульсировала в запястьях, где металл впечатался в плоть. В спине, вдоль позвоночника. В шее, хранившей жар его пальцев.

Но она уже не имела надо мной власти.

Она становилась чем-то другим.

Внутри разливалась странная, почти пугающая лёгкость. Так бывает, когда с плеч падает не ноша, а целая жизнь.

Будто цепи, годами врезавшиеся в душу, наконец проржавели и рассыпались трухой.

Кожа горела везде, где касались его руки. Где давило его тело.

По позвоночнику пробежала дрожь. Тонкая. Хрупкая.

И принесла с собой озноб, похожий на первый глоток ледяной воды после лихорадки.

Очищение.

Будто кто-то омыл израненную душу талой водой.
Я чувствовала наручники.
Холодный обхват на запястьях. Жёсткий. Непреклонный.
Но странно: он больше не сковывал.
Металл лежал на коже, как пустая оболочка. Как сброшенный хитин.
То, что должно было держать, — отпустило.
Я больше не пленница.
Ни железа. Ни страха. Ни его. Ни себя прежней.
Дыхание выравнивалось. Становилось глубже и медленнее.
В груди разливалось что-то знакомое. Тёмное. Тёплое спокойствие. Глубокое, как или-
стое дно.
Впервые в жизни я чувствовала себя живой.
Не загнанной. Не стиснутой стенами собственного ужаса.
Свободной.
В самом парадоксальном, извращённом смысле этого слова.
Свободной через боль. Через подчинение. Через то, что должно было растоптать, но вме-
сто этого переплавил, как огонь переплавляет руду: выжгло шлак и обнажило сердцевину.
Мысли путались и кружились, как осенние листья в воронке ветра.
Я тянулась к ним и не могла ухватить. Они просыпались сквозь пальцы, оставляя только
ощущения: влажная простыня под лопатками, горький запах воска, далёкий скрип половиц за
стеной.
Будто кто-то шептал на языке, которого я ещё не знала.
Я открыла глаза.
На потолке подрагивала тень. Огромная. Чёрная. Похожая на раскинутые крылья.
Ангела или демона — неважно.
Я смотрела на неё, и понимание приходило не мыслью, а ощущением: всё изменилось.
Не здесь. Не в этой комнате, провонявшей сексом и расплавленным воском.
Внутри меня.
Что-то сломалось и собралось заново. Иначе. Как кость, сросшаяся после перелома, —
крепче, чем была.
«Что дальше? Как жить с этим?»
Вопросы висели где-то на самом краю сознания. Бледные. Далёкие. Ненастоящие.
Сейчас имело значение только одно: я дышу.
Глубоко. Свободно.
Воздух входил в лёгкие и нёс с собой вкус — горький, тёплый, живой.
Я чувствовала его в каждой вене, в каждой клетке, в каждой ссадине на коже.
Я здесь. Я жива.
И этот миг — весь, целиком, с его болью, потом, привкусом крови на губах и металлом
на запястьях — принадлежал мне.

Глава 4

Глава 4

Перед Рассветом

«Это не было концом. Это было началом. Только никто из них ещё не знал — чего именно».

Сильвана

1

Я приходила в себя медленно.

Будто выплывала из глубин чёрного, неподвижного моря, где нет ни дна, ни поверхности, только тени, хватающие за щиколотки, и голоса, вплетающие проклятия прямо в кровоток.

Сознание возвращалось рывками. То швыряло обратно в вязкое забытье, то выталкивало на поверхность, и тогда я ловила обрывки реальности — скрип половиц, похожий на стон, мерное тиканье часов.

Мир за стенами спальни существовал отдельно.

И давно от меня отказался.

Каждый вдох давался как последний. Воздух густой, тёплый, пропитанный всем, что случилось. Терпкий абсент, вросший в горьковатую дымку сигарет.

Этот запах уже не принадлежал комнате.

Он принадлежал мне.

Оседал на языке, в лёгких, в памяти.

Я приоткрыла глаза.

Полумрак. Очертания предметов текли, как акварель по мокрой бумаге. Дрожали. Расплывались. Отказывались быть реальными.

Я не знала, сколько пролежала вот так. Может быть, несколько часов. Может, пару минут. Знала только, что за окнами по-прежнему ночь. Всё остальное расплывалось.

Услышав щелчок зажигалки, я перевернула голову к окну.

Лунный свет ложился на него, как руки любовницы. Обводил каждую линию, каждую впадину, каждый выступ с такой точностью, будто он не человек, а нечто, что луна создала специально для себя.

Где-то за стеной раздавались размеренные круговые шаги. Кто-то ходил и ходил, не останавливаясь, будто считал минуты до чего-то неизбежного.

За окном ветер скрёб ветвями по стеклу. Жадно. Настойчиво. Как пальцы, просящие впустить.

Диамант не потрудился одеться.

Его обнажённое тело, залитое бледным серебром, было одновременно оружием и храмом. Статуя бога войны, отлитая не из бронзы, а из лунного света и тени.

Я задержала взгляд на его спине.

И не могла не задержать.

Мышцы перекачивались под кожей при каждом едва заметном движении. Медленно. Тяжело. Как волны прибоя.

В этом было что-то первобытное, от чего перехватывало горло.

На правом плече — татуировка. Змея, кусающая свой хвост. В лунном свете чешуйки мерцали, как живые.

Я видела её. Когда он был сверху. Когда входил в меня. Когда я смотрела на его плечо, чтобы не смотреть в глаза.

Тогда я подумала: цикл. Боль — наслаждение — боль. Я уже в нём. Я не выйду.
Теперь я смотрела на неё снова. И думала то же самое. Только теперь — с ужасом.
В его пальцах — сигарета. Небрежно, как перо.
Дым тянулся вверх тонкими нитями, извивался в лунном свете, полз ко мне.
Я почти слышала, как он шепчет на языке, которого не знаю, но понимаю кожей.
Под лопатками — холод простыни и липкость не успевшего высохнуть пота.
Под кожей всё ещё жил жар. Всё ещё тлел внизу живота.
Пульсация в висках затихала, но не уходила. Глухое эхо бури, гуляющее по телу.
Мышцы отказывались двигаться. Окаменевшие. Помнящие каждый его рывок, каждое мгновение его веса на мне, его хватки.
Во рту — сухость и металл. Привкус слёз. Привкус крови от его укуса на плече.
Это не сон. И не кошмар.
Хуже.
Реальность, от которой нельзя проснуться.
Пальцы дрожали. Я сжимала и разжимала кулаки.
Бесполезно.
Тело жило отдельно.
Тело его помнило.
Хуже боли. Хуже унижения. Хуже ярости, скрежещущей внутри, как железо о железо, — то, что я не могла отрицать его красоту.
Зверину. Первобытную. Оскорбительную в своей безупречности.
В нём было что-то от древнего божества. Не доброго, не милосердного. Того, которому приносят жертвы. Которому не молятся, а подчиняются.
Даже тень, падающая от него на пол, казалась живой. Со своей волей и голодом.
Во мне бушевала буря. И у неё не было глаз.
Ненависть жгла изнутри, как калёное железо. Прожигала насквозь, оставляя рубцы, которые не заживут.
Я ненавидела его за грубость. За руки, знавшие, куда давить, чтобы было невыносимо.
За то, что он вытащил на свет часть меня, которую я хоронила годами. Глубоко. Тихо. Старательно.
Но восхищение пробивалось сквозь ненависть.
Упрямо и неостановимо, как корень сквозь камень.
Сердце билось быстрее. Кровь горячела.
Я ловила себя на том, что люблюсь.
И ненавидела себя за это с такой силой, что темнело в глазах.
«Я ненавижу себя за то, что не могу отвести взгляд».
Мысль обожгла, как клеймо.
Я пыталась выровнять дыхание. Спрятать реакцию — от него, от себя, от этой комнаты, пропахшей абсентом и грехом.
Бесполезно.
Тело предавало. Оно уже на его стороне. Пульсировало от боли и удовольствия, от их чудовищного, непристойного сплетения.
Голова кружилась. Мир терял края и плыл, как горячий воздух над асфальтом.
Я чувствовала себя разорванной.
И в этих разломах проступало что-то новое. Незнакомое. Страшное.
То, что приковывало к этой постели, к этому мгновению, к нему.
Как цепь, звеньями которой была я сама.
Это приковывало сильнее, чем наручники на запястьях.
Мой взгляд скользил по нему.

Медленно. Жадно. Против воли.

От широких плеч — вниз, по хребту, по пояснице, по длинным сильным ногам.

Я искала изъян.

Хоть один. Трещину, за которую можно уцепиться, чтобы вернуть себе контроль, чтобы снова возненавидеть его чисто, целиком, без примесей.

И не находила.

Он совершенен в своей жестокости. Прекрасен в своей опасности. Неотразим в своей власти.

Той, что не просит разрешения.

И тогда — сама не понимая, что делаю, — я заговорила.

Тихо. Хрипло. Голосом, который ещё не до конца принадлежал мне.

— Тебе действительно двадцать один?

Он не обернулся сразу.

Сначала — затянулся. Медленно. Дым поплыл вверх. Потом — повернул голову.

Через плечо. Лениво. Как будто ждал этого вопроса. Как будто знал, что я заговорю первой.

И — улыбнулся.

Одним уголком губ. Без тепла. Без насмешки. Просто — улыбнулся.

И это было хуже всего.

2

Диамант медленно повернул голову.

Ровно настолько, чтобы я увидела его профиль в косом свете свечей: острая линия скулы, тень под глазницей, уголок рта, приподнятый в намёке на усмешку.

Движение точное. Выверенное.

Так двигается змея за мгновение до броска. Не быстро, не медленно. Неотвратно.

— Действительно, — произнёс он. — День рождения был месяц назад, так что ты опоздала с поздравлениями. Но это не имеет значения. Я старше тебя на два года — и опытнее во всём. Во всём. И в этом ты только что убедилась.

Его короткий смех — сухой и хлёсткий, как удар кнута по обнажённой коже — повис в воздухе между нами.

И стал больше любой пощёчины.

Я отпрянула к изголовью. Спина впечаталась в резные деревянные прутья. Их узор врезался в лопатки.

И боль казалась спасением.

Чем-то реальным среди этого кошмара.

Руки дёрнулись. Металл впился в запястья. Цепь лязгнула о прут.

Звук разнёсся по комнате, ударился о каменные стены и вернулся обратно. Глухой. Окончательный.

Как напоминание и приговор.

Диамант наблюдал.

Его глаза впитывали мой страх, как сухая земля впитывает кровь.

Медленно. Нарочито медленно. Он подошёл ближе.

Матрас прогнулся под его весом.

Я чувствовала тепло его тела.

И от этого тепла становилось холоднее, чем от любого сквозняка.

Его пальцы коснулись наручников на моём запястье. Не кожи — металла.

Но озноб прошёл позвоночник так, словно он провёл ногтем по открытому нерву.

— Не стоит так бояться, — произнёс он голосом, в котором мёд и яд, бархат и битое стекло. — Я не собираюсь продолжать. По крайней мере, не сейчас.

Щелчок замка.

Тяжесть исчезла.

И — что-то во мне сорвалось.

Не мысль. Не решение. Что-то древнее. Животное. Ярость, которая копилась слишком долго.

Я кинулась на него.

Без плана. Без оружия. С голыми руками.

Вцепилась в его плечи. Попыталась оцарапать лицо. Шею. Всё, до чего могла дотянуться.

— Отпусти меня! — кричала я. — Отпусти! Слышишь? Отпусти меня!

Он не боролся.

Просто взял меня за плечи. Крепко. Твёрдо.

И — рванул на себя.

Я потеряла равновесие. Мир качнулся. Спина ударилась о матрас.

Воздух выбило из лёгких.

Он навис сверху. Быстро. Как будто всегда там был.

Его лицо — в полуметре от моего. Глаза — ярко-голубые. Ледяные. Без злости. Без раздражения.

Только спокойствие. Холодное. Абсолютное.

— Если ты продолжишь так брыкаться, — произнёс он тихо, — я повторю то, что было недавно. Прямо сейчас. И на этот раз — без подготовки. Без пальцев. Без слов. Просто возьму. И ты будешь кричать. Долго. Пока не поймёшь, что сопротивляться — не стоит.

Я замерла.

Дыхание сбилось. Сердце колотилось где-то в горле.

Он не блефовал. Я видела это по глазам. По тому, как он держал меня. По тому, как его пальцы впивались в мои плечи.

Он сделает это. Прямо сейчас. Если я продолжу.

Я обмякла.

Не от покорности. От понимания, что сейчас — не время.

Он почувствовал это. Ослабил хватку. Но не отпустил.

— Хорошо, — сказал он. — Умница.

Я смотрела на него снизу вверх. С ненавистью. С яростью, которая не уходила. Просто ушла глубже.

— Отпусти меня, — процедила я. — Ты не имеешь права меня держать. Никто не имеет. Отпусти.

Он улыбнулся.

Медленно. Широко. Искренне.

— Отпущу, — сказал он. — Обязательно. Как только поймаю твоего папочку. И как только вдоволь тобой наслажусь. Обещаю. Ты будешь свободна. Рано или поздно.

Он наклонился ближе.

— А пока — ты моя. И будешь моей. До конца.

Я дёрнулась снова. Инстинктивно.

Он прижал меня сильнее.

— Не советую, — произнёс он спокойно.

Я замерла.

Он отпустил меня. Чуть-чуть.

Но не встал. Не ушёл.

— Знаешь, что я сделаю, когда всё это закончится? — спросил он тихо. — Верну тебя твоему жениху. Он ждёт тебя. Наверняка. Думает, что ты осталась той же. Невинной. Чистой. Его девочкой.

Он выдержал паузу.
Улыбнулся шире.

— А я верну ему другую. Не такую невинную. Но зато — с опытом. Которого она больше нигде не найдёт. Он будет смотреть на тебя. И видеть меня. В каждом твоём движении. В каждом вздохе. В каждом стоне по ночам. Потому что я буду в тебе. Всегда. Даже когда меня не будет рядом.

Я задохнулась.

От ярости. От унижения. От того, что он прав.

— Ты — мерзавец! — выкрикнула я. — Ты — больной! Ты — ничтожество! Ты думаешь, что можешь всё? Что тебе всё можно?

Он не дёрнулся.

Не поморщился.

Не отвёл взгляда.

Только улыбнулся шире.

— Знаешь, что самое забавное? — произнёс он. — Ты кричишь на меня. Оскорбляешь. Сопровивляешься. А тело твоё уже помнит. Как я касался тебя. Как ты кончала. И оно хочет ещё.

Я вспыхнула.

— Ненавижу тебя! — крикнула я. — Ненавижу! Слышишь? Я никогда не буду твоей! Никогда!

Он склонил голову набок.

— Будешь, — сказал он спокойно. — Потому что тебе нравится боль. Я чувствую это. Вижу. Ты думаешь, что сопротивляешься. А на самом деле — ты уже сдаёшься. Каждый раз. Чуть больше. Чуть глубже. Из тебя выйдет неплохой сабмиссив. Возможно, одна из лучших, что у меня были.

Я замерла.

Слово ударило в меня. Незнакомое. Чужое. Оно было из другого языка. Не из Колтрейна. Из Леброна. Из его мира.

— Что? — переспросила я. — Что ты сказал?

Он улыбнулся.

Медленно. Смакуя мою реакцию.

— Сабмиссив, — повторил он. Чётко. Разделяя слоги. — Ты не знаешь, что это значит. Вижу по глазам. Твои соотечественники не говорят о таком. Не знают. Боятся.

Он наклонился ближе.

Его губы — у самого уха.

— Сабмиссив — это тот, кто отдаёт себя добровольно. Не из страха. Не под пыткой. А потому что хочет. Потому что не может без этого. Без власти над собой. Без чужой воли. Без боли, которая становится наслаждением.

Он выпрямился.

Посмотрел на меня сверху вниз.

— Ты — сабмиссив, Сильвана, — сказал он тихо. — Ты ещё не знаешь этого. Но твоё тело знает. Оно уже сказала мне это. Не раз. И не два.

Я смотрела на него.

Не понимала слов. Но понимала интонацию. Что-то тёмное. Что-то унижительное. И — правдивое.

— Объясни, — потребовала я. Голос дрожал. Но я держалась. — Если ты такой умный — объясни. Что это значит? Почему ты решил, что я — это?

Он рассмеялся.

Тихо. Нежно. Почти ласково.

— О, я объясню, — сказал он. — Обязательно. Но — не словами. Слова — это для трусов. Для тех, кто боится смотреть правде в глаза. Я объясню тебе это по-другому. Позже. На практике.

Он отстранился.

Поднялся с кровати.

Его пальцы коснулись моего подбородка.

Сухие. Горячие. Сомкнулись на челюсти. Подняли моё лицо к его лицу.

Он улыбнулся.

Улыбкой без тепла и без жизни. Улыбкой палача, который любит чистотой среза.

Я с ужасом отползла в сторону.

Он хмыкнул.

— Ты смеешь смеяться?! — вырвалось у меня. — После всего, что ты сделал... После того, как избил и изнасиловал меня, тебе — смешно? Ты...

Слова оборвались.

Мой взгляд упал на простыню.

Там пятно.

Небольшое. Тёмное. Бурое по краям, алое в центре.

Как печать, поставленная на теле документа, который невозможно оспорить.

Свидетельство. Клеймо. Его победа, впечатанная в ткань.

Я застыла.

Горло сжалось. Язык прилип к пересохшему нёбу.

Диамант отвернулся. Прислонился к краю кровати. Скрестил руки на груди.

Поза расслабленная. Небрежная.

Но под этой небрежностью ощущалась сила, натянутая до предела, как тетива.

Он держал нити. Он дёргал за них.

А я болталась на них, как тряпичная кукла.

— Да-да, изнасиловал, — произнёс он. — И убил. И съел. Шучу.

Пауза.

— Но не кидайся такими словами. Скажем иначе — я тебя подтолкнул. И ты, кстати, кончила.

Жар ударил в лицо.

Не стыд.

Ярость.

Он вскрывал меня, как вскрывают рану. Нарочно и умело. Находя самые незащищённые места.

Я открыла рот.

Но не могла произнести ни звука.

Тьма смыкалась на горле и не давала дышать.

Диамант шагнул ближе.

Наклонился.

Его губы оказались в нескольких дюймах от моего уха. Я чувствовала его дыхание — тёплое, с привкусом абсента и табака.

— Хочешь, я расскажу, как это было? — прошептал он. — Напомню, как ты дрожала, когда мои пальцы только коснулись тебя? Как твоё тело раскрывалось мне навстречу, хотя твой рот ещё пытался врать?

Я замерла.

Не могла отодвинуться. Не могла зажать уши. Не могла не слушать.

— Сначала ты сжалась, — продолжил он. — Вся, до последней мышцы. А потом... потом я почувствовал, как ты стала мокрой. Ещё до того, как я вошёл. Ты текла для меня, Сильвана. Твоё тело знало, чего хочет, даже когда твоя гордость кричала «нет».

— Замолчи... — выдохнула я.

Но голос был слабым. Сломленным.

— А когда я вошёл, — продолжал он, — ты выгнулась. Не от боли. От неожиданности. От того, что наконец-то почувствовала то, чего твой женишок не мог тебе дать. Твои ноги сжимались вокруг меня. Твои стоны заполняли комнату. Ты молила меня не останавливаться.

Он отстранился ровно настолько, чтобы я видела его улыбку.

Ленивую. Сытую. Безжалостную.

— А теперь скажи, — произнёс он, — это похоже на изнасилование? Или на то, что ты наконец-то стала собой?

Я мотала головой.

Слёзы жгли глаза, но я не позволяла им пролиться.

— Ты чудовище, — прошептала я. — Ты всё переворачиваешь. Ты...

— Я говорю правду, — перебил он. — А правда — штука неудобная. Она не вписывается в твою милую историю о невинной жертве и злом насильнике. Вот только жертва в ней — почему-то — кончила. И кричала не «отпусти». Кричала «ещё». Или ты уже забыла?

Я закрыла глаза.

Не могла смотреть на него. Не могла слышать.

Но его голос проникал сквозь веки, сквозь ладони, сквозь всё, чем я пыталась отгородиться.

И — о боги — его слова будили во мне что-то.

Не только ужас.

Память тела.

Ту самую, постыдную, предательскую.

Я помнила его пальцы. Его губы. Его вес. Помнила, как боль превращалась в наслаждение, как страх растворялся в чём-то тёмном и горячем.

И от этих воспоминаний низ живота снова сводило.

Я ненавидела себя за это.

— Не надо делать вид, будто это было против твоей воли, — продолжил он с ледяной уверенностью, твёрдой, как гранит. — А несколько лёгких пощёчин назвать «избиением» — это уж перебор. Если бы я захотел, мог бы сделать больше. Намного. И знаешь что?

Пауза.

Голос упал до шёпота, интимного и почти нежного:

— Тебе бы понравилось.

Яд.

Слово за словом. По капле в кровь.

Я чувствовала, как отравляется память. Как путаются воспоминания. Как размывается граница между тем, что было, и тем, что он хотел, чтобы было.

— Ты чудовище! — крикнула я, и крик сорвался в хрип. — Как ты можешь?! Как ты смеешь?!

Он пожал плечами.

Скучающе.

Смотрел на мой гнев, как на догорающую свечу. С вялым, угасающим интересом.

— Кстати, о словах, — произнёс он, понижая голос до шёпота, от которого мурашки бежали вдоль позвоночника, а волосы на затылке поднимались. — Ты ведь понимаешь, что обвинения в изнасиловании — дело серьёзное? Кто тебе поверит, если я скажу, что ты пришла сама? Что умоляла о внимании? Что висала на мне в коридоре, пока стража не вмешалась?

Его губы изогнулись.
Но это не улыбка.
Чертёж. Расчёт.
Он видел на несколько ходов вперёд. Кто поверит, кто промолчит, кто отвернётся.
Моя жизнь рушилась ещё до того, как он заканчивал фразу.
— Думаешь, кто-то станет слушать дочь мятежника? — спросил он почти ласково.
И эта ласка была страшнее ножа. Холоднее стали. Точнее скальпеля.
— Особенно когда у меня есть свидетели. Записи. И, возможно, кое-какие... доказатель-
ства.
Кровь отлила от моего лица.
Холод вполз в кости, сковал суставы, парализовал грудную клетку.
Он не угрожал.
Он объяснял.
Терпеливо и безжалостно, как взрослый ребёнку, который ещё не понял, что мир устроен
по чужим правилам.
— Ты лжёшь, — прошептала я.
Голос чужой. Тонкий. Ломкий.
Даже я ему не верила.
— Конечно лгу, — легко согласился он. — Но кто докажет обратное?
Он поднялся.
Начал неторопливо одеваться.
Каждый жест — присвоение этой комнаты, этого воздуха, этого времени.
Он застёгивал ворот. Поправлял манжеты.
И в этих обыденных движениях было больше власти, чем в любом приказе.
Пространство принадлежало ему.
И я — тоже.
Я осталась на кровати, сжавшись в комок. Простыня липла к бёдрам. Зубы стиснуты до
хруста, до боли в челюсти. Кулаки сжаты. Ногти впились в ладони.
Внутри буря: крик, рыдание, истерика.
Но снаружи — ничего.
Я не дам ему и это.
— Завтра мы продолжим, — протянул он.
В его голосе звучало обещание, от которого кровь превращалась в лёд.
— Будет интереснее. И не хнычь о невинности. Была — и нету. Не вернёшь. Не скучай,
милая.
У двери он обернулся.
Глаза блестели в полутьме.
— Хотя... если очень попросишь, я изображу сожаление. Поплачу над твоей утраченной
добродетелью. Хочешь?
Не дожидаясь ответа, он послал мне воздушный поцелуй.
Издевательский. Нарочито нежный.
И вышел.
Дверь закрылась тяжело, как крышка гроба.
Запах остался: дым, пот и что-то терпкое, тёмное, звериное.
Его запах.
Запах власти.
Наступила тишина.
Я одна.
Свеча оплывала на столике, бросая рыжие блики на каменные стены.

На полу лежали наручники. Цепь тихо позвякивала, покачиваясь, словно маятник, отсчитывающий время до следующего раза.

Это не конец.

Это начало.

З

Дверь закрылась.

Я швырнула подушку ему вслед.

Изо всех сил, вкладывая в этот бросок всю ярость, всё бессилие, всю ненависть, что душила меня с первой секунды его присутствия.

Подушка глухо ударилась о дерево.

Из коридора донёсся его смех.

Негромкий. Отчётливый. Пропитанный издёвкой и холодным, сытым удовлетворением.

«Завтра мы продолжим...»

Эти слова вонзились в сознание раскалённым шипом.

Щелчок замка.

Тишина обрушилась разом. Тяжёлая. Давящая. Пропитанная запахом абсента и его кожи.

Я осталась одна.

Совершенно одна.

И это одиночество было страшнее любой пытки.

Сначала — не было ничего.

Пустота. Звон в ушах. Тишина, которая гудела.

Потом — пришло.

Не слёзы. Слёзы — это для тех, кто может себе позволить слабость. У меня не было ничего, кроме пустоты.

А пустота не плачет. Пустота — кричит.

И я закричала.

Не словами. Не мыслями. Горлом. Лёгкими. Животом.

Вой. Долгий. Рваный. Как у зверя, которого придавило камнем.

Я рухнула на постель. Лицом в простыню. В его запах. В холод и липкость того, что осталось.

И — забилась.

Руками. Ногами. Всем телом. Как рыба на песке.

Спазмы в горле. Судороги в животе. Меня выворачивало. Наизнанку. Наружу. Всем, что я держала внутри.

Слёзы пришли позже.

Сначала — только вой. И судороги. И простыня, мокрая от слёз, которые ещё не пришли.

Потом — пришли.

Рваные. Судорожные. Они вырывались из самой глубины, будто прорвали плотину. Спазмы в горле не давали говорить — слова застревали, царапали изнутри. Всхлипы переходили в хрипы. Я задыхалась. Глотала воздух. И снова выла.

Меня тошнило.

От себя. От того, что я делала. От того, что чувствовала.

Я успела добежать до угла. Там — таз. Нашла в темноте. Рухнула на колени.

И меня вывернуло.

Желчью. Горечью. Всем, что было внутри. Всем, что я не могла переварить.

После — легче не стало. Только слабость. Только грязь. Только пустота.

Я лежала на полу. Щекой на камне. Холодно. Твёрдо. Реально.

И — выла. Долго. Пока голос не сорвался в шёпот.

Всё рухнуло.

Всё, во что я верила, чем гордилась, что считала незыблемым, — честь, достоинство, верность — рассыпалось в прах за считанные часы.

Перед глазами встал Тед.

Его спокойный, тёплый взгляд — без осуждения, только понимание и любовь. Его улыбка, согревающая в самые мрачные дни. Его руки, всегда готовые обнять.

Но теперь я видела в его глазах не гнев.

Жалость.

И это было невыносимее любых упрёков.

— Прости... — прошептала я. — Прости меня...

Слова выходили кривыми. Сломанными. Как рёбра после падения.

Я знала: больше не смогу смотреть ему в глаза.

Грязная. Использованная. Опозоренная.

Не смогу притворяться, что ничего не случилось. Не смогу скрыть пропасть, разделившую моё прошлое и настоящее.

Стыд накатил новой волной. Удушающий. Заполняющий каждую клетку.

Перед Тедом.

Перед отцом.

«Честь — это всё, что у нас есть».

Его слова зазвучали в ушах приговором.

Перед всем Колтрейном.

Перед самой собой.

Как ты могла? Как позволила этому случиться?

Призрачные голоса шептали, и я не могла им возразить.

Потому что в глубине души знала: это не совсем насилие.

Не полностью.

Где-то внутри, в той тёмной, запретной части, которую я всегда старалась не замечать, было желание.

Было влечение.

Было... удовольствие.

И оно вырвалось наружу.

И что хуже всего — это проклятое влечение никуда не ушло.

Оно стало сильнее. Пульсировало в глубине, смешиваясь с ненавистью в ядовитый коктейль.

Я ненавидела его за то, что он разбудил во мне это. За то, что заставил моё тело предавать разум. За то, что теперь я не могла отделить боль от наслаждения, ненависть от вожделения.

— Нет! — выкрикнула я, ударив кулаком по полу. — Я не хотела! Я не...

Ложь оседала на языке горькой пылью.

Я хотела.

Хотела, когда пожирала его глазами из окна.

Хотела ещё вчера, в пыточной, когда только увидела.

Хотела, когда его губы накрыли мои.

Хотела, когда его пальцы были внутри меня.

Хотела, когда он приказал мне кончить — и я подчинилась.

И это делало всё ещё ужаснее.

Превращало меня в женщину, которая сама позволила себе пасть.

Стыд — не перед ним. Перед собой.

Я сама. Моё тело. Моё желание. Моё предательство.

И это было хуже всего.

Я кое-как дотащила до кровати и села на край постели.

Простыня соскользнула, и я увидела себя. Бледную. В пятнах. С красными полосами на запястьях.

Мои руки. Мои бёдра. Моя кожа.

Всё это было моим.

И всё это теперь носило его отпечатки.

Я дотронулась до укуса на плече.

Кожа под пальцами — горячая, припухшая. След его зубов — ровный, чёткий.

Я надавила.

Боль вспыхнула. Острая. Ясная. Моя.

И на секунду я почувствовала нечто вроде благодарности.

Боль была единственным, что не лгало.

Ярость вспыхнула внезапно.

Ослепляющая, как молния.

Я поднялась с постели, шатаясь, и огляделась. Лихорадочно. По-звериному. Ища, на что обрушить кипящую смесь ненависти и стыда.

Столик.

На нём, небрежно брошенный, лежал кинжал.

Тонкий. Острый. С узорчатой рукоятью, переливающейся в тусклом свете. Узор напоминал переплетение змей — холодный, завораживающий, опасный.

Я схватила его.

Металл обжёг ладонь холодом.

И это ощущение принесло странное, почти болезненное облегчение.

Холод проникал в пальцы, стекал по венам, умиряя лихорадочный жар внутри. Будто замораживал бурю, хотя бы на мгновение.

Вес клинка в руке оказался идеальным. Ощутимый. Увесистый. Словно созданный для моей ладони.

Убить его.

Просто убить.

Один удар — и всё закончится.

В прошлый раз, в пыточной, не повезло. Но, может быть, вот он — последний шанс?

Не важно, что будет потом.

Главное — не дать ему прикоснуться ко мне.

Никогда больше.

Ни за что.

Иначе...

Мысль была пугающе ясной. Пугающе притягательной.

Я представила, как поднимаю клинок, как вонзаю в его грудь. Или в шею. Быстро. Без колебаний.

Его глаза, широко раскрытые от удивления.

Его кровь на моих руках.

И на мгновение стало почти спокойно.

Почти свободно.

— Ты должна ненавидеть его, — прошептала я.

— А ты ненавидишь?

Этот голос. Внутри. Мягкий. Вкрадчивый. Чужой — и до ужаса мой.

— Да.

— Врёшь.

Слово упало, как пощёчина.

— Ты не ненавидишь его. Ты ненавидишь себя. За то, что текла для него. За то, что выгибалась под ним. За то, что кончила, когда он приказал.

— Замолчи.

— Зачем? Чтобы тебе было уютнее в твоей лжи? Посмотри на себя. Ты всё ещё помнишь его запах. Всё ещё чувствуешь его внутри. Всё ещё хочешь, чтобы он вернулся и сделал это снова.

— Нет!

— Да. И именно поэтому ты сейчас сжимаешь кинжал. Не для него. Для себя. Чтобы доказать, что ты ещё что-то можешь. Но мы обе знаем: ты не ударишь.

— Я ударю.

— Ты даже себе не можешь признаться, что он тебе понравился. Как ты убьёшь его?

— Замолчи!

— Он был прав. Ты кончила. Ты молила. Ты хотела. И до сих пор хочешь. Ненависть — твоя последняя ширма. За ней — только голод. Ты, дочь лорда, гордость Колтрейна, невеста Теда, превратилась в мокрую дырку для смазливового тирана. И тебе это понравилось.

— Замолчи! Замолчи! Замолчи!

— Ты хочешь его. И это хуже, чем всё, что он сделал. Потому что это — правда. И ты её знаешь.

Я положила кинжал под подушку.

Прикоснулась к нему пальцами, ощущая твёрдую, безжалостную реальность металла.

Завтра.

Как только увидишь его — сделаешь это.

Но мысль не принесла покоя.

Тело начинало расслабляться, мышцы отпускало. Но разум оставался напряжённым. Лихорадочно перебирал варианты. Взвешивал риски. Искал лазейки.

Я снова вынула кинжал из-под подушки.

Он лёг в ладонь. Тяжёлый. Холодный. Настоящий.

Пальцы сомкнулись на рукояти, и на мгновение стало легче: в этом весе было что-то правильное. Что-то, что возвращало мне ощущение собственного тела.

Я провела подушечкой пальца по лезвию.

Острое, как мысль, как обида, как решимость.

Кожу зашипало, и на подушечке выступила крошечная капля крови.

Я смотрела на неё.

Алая. Яркая. Живая.

Это — единственное, что осталось в моих руках. Единственное, что не отняли. Единственное, что ещё принадлежит мне.

Я прижала остриё к запястью.

Не всерьёз. Не для того, чтобы умереть.

Просто чтобы почувствовать: вот эта тонкая кожа, вот этот пульс под ней, вот эта граница между мной и пустотой.

Она всё ещё моя.

Я всё ещё могу решать.

Могу ударить — его или себя.

Могу оставить всё как есть.

Могу жить.

Выбор.

Крошечный. Ускользающий. Но — мой.

Холод металла отрезвлял. Он входил в кожу ровно настолько, чтобы напомнить: я не вещь. Не кукла. Не пустое место, которое можно заполнить чужой волей.

Я убрала кинжал.

Снова положила под подушку. На этот раз ближе, так, чтобы рука сама находила его во сне.

И только после этого — закрыла глаза.

— Ненавижу тебя, Диамант, — прошептала я. — Ненавижу.

Слова повисли в воздухе.

Пустые.

Ненависть, даже самая яростная, не могла стереть того, что уже произошло.

Не могла стереть его прикосновений, от которых по коже до сих пор бежали мурашки.

Его слов, звучащих в голове как проклятие и заклинание одновременно.

Его взгляда, прожигающего насквозь даже сейчас, когда его не было рядом.

Не могла стереть ту часть меня, которая всё ещё помнила: как его руки — грубые, властные — вызывали дрожь, которую я не могла контролировать.

Как его голос, низкий и насмешливый, проникал в самое сердце.

Как моё тело предавало меня, отвечая на его прикосновения, на его власть, — вопреки разуму, вопреки гордости, вопреки всему, что я считала собой.

Я легла. Натянула одеяло до подбородка, сжимая под подушкой кинжал. Последнее оружие. Последнее обещание себе.

Глаза закрылись, но сон не шёл.

Мысли кружились. Злые. Горькие. Полные боли и стыда. Сплетаясь в безумный хоровод.

Постепенно дыхание выровнялось. Тело поддалось усталости.

Но сознание оставалось настороже.

И, продолжая проклинать его последними словами, я провалилась в тяжёлый, беспокойный сон.

Сон, в котором он снова был рядом.

Его руки скользили по моей коже.

А голос шептал что-то неразборчивое.

Но от этого лишь более мучительное.

Диамант

1

Воздух в пыточной всегда плотный.

Как вязкая смола, заливающая лёгкие с каждым вдохом.

В нём сплетались запахи железа и пота, а также приторная, дурманящая сладость благовоний. Эти запахи не смешивались — сплетались, как тела любовников. Проникали в сознание, размягчали его, делали податливым, как воск.

Здесь невозможно думать ясно.

Да это и не требовалось. По крайней мере сейчас.

В центре пыточной, в колеблющемся пламени факелов, звучала тягучая, мрачно-чувственная мелодия. Каждый аккорд отзывался в теле то нежным касанием шёлковой нити вдоль позвоночника, то обжигающим поцелуем плети.

Где-то в дальнем углу монотонно капала вода. Мерный отсчёт, отмеряющий мгновения литургии.

Я стоял перед девушкой, которая висела в цепях, раскинув руки и запрокинув голову, как распятая святая на алтаре наслаждения.

Пламя бросало дрожащие блики на её кожу, высвечивало багровые полосы — следы моих ласк.

Мои пальцы скользили от ключиц к талии, задерживаясь там, где кожа ещё пульсировала от ударов.

Я чувствовал этот жар. Набухший. Болезненно-сладкий. Живой.

Следы идеальны: не настолько глубоки, чтобы испортить холст, но достаточно выразительны, чтобы напоминать, кто здесь художник.

Девушка, чьё имя я так и не запомнил, запрокинула голову и подставила шею.

Цепи звенели тихо и мерно, в такт нашим движениям. Это не звук плена. Звук ритуала.

Металл вторил биению сердец, вплетался в мелодию, и всё вокруг — камень стен, дрожащий свет, её дыхание — становилось храмом. Древним. Языческим. Залитым кровью и мёдом.

Я наклонился и поймал её губы.

Жадно. Требовательно. Без единой капли нежности.

Но в этой жёсткости была своя правда. Страсть без прикрас. Чистая и беспощадная, как клинок.

Она отвечала с той же силой: прикусила мне губу до крови и рассмеялась сквозь поцелуй.

В этом смехе не было ни боли, ни страха. Только упоение и восторг от того, что мы знали правила этой игры лучше, чем собственные имена.

Моя ладонь скользнула по её животу вниз, к бёдрам. Пальцы сжали нежную плоть и раздвинули.

Она всхлипнула. Выгнулась в цепях.

Я чувствовал, какая она горячая, влажная, готовая.

Её тело отвечало мне сразу. Жадно. Без остатка.

— Какая отзывчивая, — прошептал я ей в шею. — Такая послушная. Такая... скучная.

Она не слышала последнего слова. Или слышала, но не поняла.

В этот момент дверь скрипнула. Протяжно и жалобно, будто застонала под тяжестью чужих тайн.

Я оторвался от девушки. Откинул влажные волосы со лба. Облизал кровь с губы, чувствуя её медный и тёплый привкус на языке, как причастие.

И посмотрел на вошедшего.

Роланд замер на пороге. Его силуэт чернел в дверном проёме, как тень, не решающаяся войти в храм.

Но он шагнул.

Он единственный, кто мог не бояться моего гнева. И единственный, кто понимал, какой чести это стоит.

— А, Роланд, — протянул я, прижимая девушку к себе теснее. — Хочешь присоединиться?

Моя ладонь лежала на её бедре. Собственнически. Тяжело.

Пальцы сжимали кожу, оставляя белые следы, медленно наливающиеся розовым.

Девушка повернула голову. В её тёмных, влажных глазах с расширенными зрачками не было испуга. Только любопытство и вызов.

— Могу поделиться, — добавил я. — Давай втроём. Ты же знаешь, я не жадный. Особенно когда добыча такая... податливая.

Роланд окинул девушку взглядом.

— На ней живого места нет, — произнёс он ровно. — А я не любитель игр с плётками. Мне нравится, когда женщина стонет, а не воет.

Я рассмеялся.

— Ну и зря. Ты не знаешь, от чего отказываешься.

— Знаю. Поэтому и отказываюсь.

Он прошёл глубже в комнату. Остановился у столика. Налил себе вина из графина — неспешно, по-хозяйски.

— Валентайн, ты всегда был извращенцем, — добавил он, не оборачиваясь. — Но эта... она же уже никакая. Посмотри на неё. Она даже не понимает, где находится.

— В этом и суть, — усмехнулся я.

Моя ладонь скользнула по спине девушки. Медленно, от лопаток к пояснице, по каждому позвонку, как по чёткам.

Она вздрогнула. Не от боли. От предвкушения.

Кожа покрылась мурашками. Дыхание сбилось.

— Это чистый кайф, — прошептал я ей в шею.

И почувствовал, как она дрожит.

Я снова повернулся к девушке.

Наши губы соприкоснулись. Медленно. Мучительно медленно. Глубже, будто мы делились не воздухом, а самой сутью существования.

Причастие тайного культа.

Я — жрец. Она — жертва, добровольно лежащая на алтарь.

Роланд стоял, молчал, смотрел.

А мне вдруг резко, как обрыв струны, расхотелось.

Я уже дважды брал её разными способами. А боль — нет, слишком низкий порог: она ломалась, не успев согнуться.

Скучно.

Разочарование ударило неожиданное и ледяное.

Я хотел большего. Чтобы она кричала по-настоящему. Чтобы сопротивление было отчаянным и яростным. Чтобы каждый её вздох был пропитан смесью наслаждения и агонии. Чтобы она боролась, рвалась из цепей, заставляла меня завоёвывать её снова.

Но она уже податлива. Глина, принявшая форму. Остывшая. Бесформенная.

Бесполезно.

Она не выдержит настоящего испытания.

Я медленно отстранился. Тени от факела плясали по моему лицу, заостряя черты до звериного оскала.

Разочарование обнажало то, что я обычно прятал под маской лени и порока. Голод, который эта девушка не сумела утолить.

— Как скажешь, — произнёс я.

Дёрнул цепь. Наручники разомкнулись с коротким лязгом.

— Свободна.

Девушка вздрогнула так, будто её ударили.

В глазах на миг вспыхнула мольба. Немая. Жалкая. Просьба остаться, продлить, удержать.

Но я уже отвернулся.

Она перестала существовать раньше, чем цепи коснулись пола.

Она одевалась быстро. Судорожно. Путаясь в шнуровке, не поднимая глаз.

Ткань легла на плечи, и всё, что было между нами, оказалось погребено под слоями шёлка.

Она почти выбежала, задев плечом дверной косяк.

После неё остался только запах. Сладкий. Тяжёлый, как перезрелый инжир.

И горькое послевкусие недосказанности, повисшее в воздухе вместе с дымом факелов.

Я проводил её взглядом.

Внутри разгоралось холодное, ровное пламя: слишком быстро сдалась, слишком послушна.

— Скучная пизда, — бросил я Роланду, вытирая уголок губ тыльной стороной ладони. Стирая не поцелуй, а досадное пятно. — Надо найти что-нибудь поострее. Чтобы кричала. Чтобы умоляла. Чтобы...

Я не договорил.

Слова «Чтобы было как с этой мелкой сучкой Сильваной» застряли в горле.
Я рухнул в бархатное кресло у стены.

Оно скрипнуло протяжно и жалобно. Бархат под ладонями тёплый, истёртый до лысин на подлокотниках. Пахнет старой пылью и чужими грехами.

Бутылка абсента стояла на низком столике. Зелёная, как глаз ведьмы.

Я наполнил бокал до краёв. Щедро. Размашисто. Как человек, давно переставший считать и капли, и последствия.

Хрусталь звякнул. Рука дрожала. Несколько капель упали на полированное дерево и растеклись тёмными кляксами.

Роланд наблюдал молча. Скрестив руки на груди и опустив подбородок. Как человек, который ждёт, когда зверь в клетке перестанет метаться.

— Ты пьян, — произнёс Роланд ровно, без осуждения, но с осторожностью, с какой подходят к краю обрыва.

— Пьян? — я рассмеялся коротко и хрипло. Поднял бокал на уровень глаз, уставился в зеленоватую муть. — Возможно. Но это не мешает мне ясно мыслить. Или тебе кажется иначе?

— Что случилось? — спросил он, подавшись вперёд. Взгляд острый, как хирургический нож.

— Ничего, — ответил я, откидываясь на спинку кресла.

Веки опустились. Голос стал тише. Почти шёпотом. Почти признанием:

— Просто вечер выдался... утомительным.

— Это из-за неё? — спросил Роланд прямо.

Я не ответил.

— Из-за девчонки из подземелья? — продолжил он. — Из-за той, что кричала на дыбе?

— Замолчи.

— Нет, — он не отступил. — Рассказывай. Что она тебе сделала? Ты её трахнул?

Я закинул ногу на ногу с тяжёлым вздохом. Тени на стенах качнулись.

Пальцы барабанили по подлокотнику рваным, нервным ритмом. Взгляд метался по комнате, куда угодно, только не в глаза Роланду.

— Трахнул. Так что она кричала от удовольствия. И при этом назвала меня самовлюблённым смазливой мальчишкой, — произнёс я, закуривая.

Плечи дёрнулись в жесте оскорблённого достоинства. Тщательно отрепетированном. Абсолютно неубедительном.

— И едва не разбила вазу о мою голову. Хорошая ваза была, между прочим. Реально жалко. Фарфор из Эйренхолла, ручная роспись. Я её год выслеживал на аукционах.

— И что? — Роланд приподнял бровь. — Ты из-за вазы так пьёшь?

— А потом она обвинила меня в изнасиловании, — выпалил я. — В изнасиловании, Роланд.

Я резко выпрямился. Позвонки хрустнули в тишине.

— Я никогда не трогал женщин, которые меня не хотят. Никогда.

— А она не хотела? — спросил Роланд ровно.

Я замер.

— Она кончила, — произнёс я после паузы. — Кончила так, что кричала на весь замок. И после этого она смеет говорить, что я её изнасиловал?

Роланд молчал.

— Я никогда не брал женщин, которые меня не хотят, — я откинулся в кресле, — хотя, тех кто меня не хотел, по правде говоря, и не существовало.

Собственный смех показался мне привкусом полыни на языке.

— Но она... она другая. Как заноза, вошедшая под ноготь. Как осколок стекла в подошве — каждый шаг напоминает, что он там, внутри, и вытащить нельзя, не разорвав плоть. Сильвана. Чёртова сука.

Имя упало в воздух. Тяжёлое. Горячее. Как капля расплавленного воска на обнажённую кожу.

В нём звучала не просто злость. Смесь раздражения, голодного восхищения и тупой, ноющей досады. Словно она — шифр, который я не мог разгадать.

— Эта гордячка... Эта сука, которая вообразила, будто способна мне противостоять.

Роланд кивнул медленно и обдуманно, как кивают шахматисты, оценив чужой гамбит.

— Она тебя зацепила, — сказал он не вопросом. Утверждением.

— Она меня раздражает.

— Нет. — Роланд покачал головой. — Ты злишься, потому что она не сломалась. Ты привык, что женщины падают к твоим ногам, а эта — плюнула тебе в лицо. И тебя это возбудило. Я медленно повернул голову.

— Не говори ерунды.

— Это не ерунда. — Он смотрел мне прямо в глаза. — Ты пришёл сюда, чтобы трахнуть эту безымянную девку, а думаешь о Сильване. Ты сидишь с абсентом, злишься, куришь одну за другой. И всё из-за неё. Из-за девчонки, которая отказалась ползать перед тобой на коленях.

Он сделал паузу.

— И это, друг мой, называется одержимость.

— Не носи бред, — я передёрнул плечами, — а то складывается впечатление, что пьян ты, а не я.

Я затаился. Медленно. Выдохнул дым.

И — не выдержал.

Слова пошли сами. Как будто я держал их слишком долго. И они рвались наружу.

— Хочешь знать, что было? — спросил я тихо. Глядя не на Роланда. В стену. — Я тебе расскажу.

Роланд не перебивал.

— Я дал ей пощёчину. Не сильно. Так, чтобы щека загорелась. И — она возбудилась. Понимаешь? От удара. Я ещё ничего не сделал. Только ударил. А она — уже мокрая. Уже готовая. Уже моя.

Он усмехнулся.

— Потом — вторая. По другой щеке. И она снова отозвалась. Телом. Не словами. Слова у неё были «ненавижу». А тело — «ещё».

Роланд поставил бокал. Смотрел внимательно.

— Я трахал её пальцами. Двумя. Сначала одним. Потом — вторым. Она была узкая. Тесная. Целка на месте. Но мокрая. Такая мокрая, что пальцы скользили. Я чувствовал, как она сжимается. Как тело просит ещё. А рот — кричит «нет». Знаешь, что это за звук? Когда тело хочет, а рот врёт? Это самый сладкий звук в мире.

Я затаился снова.

— Она едва не кончила мне на пальцы. От боли. От унижения. А потом — я вошёл. В неё. Девственную. Рвал целку членом. Медленно. Чувствуя, как она рвётся. Как кровь идёт. Как она кричит. Не от боли. От того, что наконец-то получила то, чего хотела. Всю жизнь. Сама не зная.

Я поставил бокал на столик. Резко.

— И она кончила. От члена. От боли. От того, что я её трахал. Как суку. Как последнюю шлюху. А она — стонала. Так, что у меня едва не заложило уши.

Я посмотрел на Роланда.

— А теперь она говорит, что я её изнасиловал. После всего этого. После того, как она текла мне на руки. После того, как кончила. Это — не изнасилование. Это — пробуждение. Я разбудил её. И она это знает. Просто не хочет признать.

Роланд отставил бокал. Медленно. Смотрел на меня долго.

Потом — покачал головой.

— Слушай, Валентайн. Я тебе как друг скажу. Ты забываешь одну вещь. Она — из Колтрейна. Не из Леброна. У них здесь другие правила. Скованные. Целомудренные. До свадьбы — ни-ни. Может, для неё то, что ты сделал, — это реально изнасилование. По их меркам. Ты бы мягче. Сначала. Потом — жёстче. Она бы сама приползла.

Я посмотрел на него.

Долго.

Потом — рассмеялся.

— Мягче? — переспросил я, растягивая слово. — Ты серьёзно? Мягче с дочкой мятежника, которая кидается ножами и плюёт в лицо? Может, мне ещё цветы ей подарить? Стихи почитать? На колено встать?

Я хмыкнул. Отпил абсента. Ощутил, как он обжигает горло.

— Я тебе вот что скажу, Роланд. Баба — как лошадь. Чувствует, кто в седле. Если ты ей позволишь решать, она сядет тебе на шею. И поедет. А если ты её объездишь — она будет твоей. До конца. Что до псевдо-морали Колтрейна — плевать. Тело не врёт. Тело всегда хочет того, кто сильнее. Она кончила. Значит, хотела. А если её рот кричит «нет», а пизда течёт — это не изнасилование. Это игра. И она в ней уже по уши.

Роланд поморщился.

— Красиво говоришь. Только сам себе врёшь. Она не «баба». Она — человек. С волей. С гордостью. С болью. И ты её сломал. Не объездил. Сломал. Разница есть.

— Разницы нет, — отрезал я. — Сломанная или объезженная — в стойле стоит одинаково. А вот результат — разный. Сломанную — выбросить. Объезженную — оставить. Я её не сломал. Я её разбудил. Она сама ещё не знает, что проснулась. Но узнает.

Я потянулся к бутылке. Налил ещё.

— И кстати. Насчёт «мягче». Знаешь, что было бы, если бы я действовал мягче? Она бы решила, что я слабак. Что меня можно прогнуть. Что я поддаюсь. А я не поддаюсь. Никому. Никогда. Особенно — бабам.

Я затаился. Выдохнул дым в потолок.

— А то, что она называет это изнасилованием — это её проблема. Не моя. Пусть идёт плачет в подушку. Глядишь, полегчает. Или — приползёт. Просить. Ещё.

Роланд покачал головой.

— Ты сам себя загоняешь, — сказал он тихо. — Она не обычная шлюха. Она дочь мятежника. У неё есть воля. И она тебя ненавидит. По-настоящему.

— Именно поэтому она мне и нужна, — ответил я. — Именно поэтому. Это будет эксперимент. Тело уже ответило мне. Остался разум, или что у неё там вместо него.

В пыточной повисла тишина.

Густая. Плотная. Как дым ладана на похоронах.

Абсент в бокале подрагивал от неувливаемого сквозняка. Пламя факелов колебалось, и тени на стенах корчились, извивались, будто души, запертые в камне.

Я смотрел на зелёную маслянистую гладь.

И думал о том, что Сильвана даже не представляет, насколько глубоко увязла.

Её сопротивление — мотылёк, летящий к огню. Бьёт крыльями, думает, что свободен.

А на деле лишь ускоряет неизбежное.

2

Рассвет едва тронул небо бледной лазурью, когда я переступил порог спальни.

Воздух, пропитанный ночной прохладой, нёс едва уловимый запах дыма и абсента. Немой свидетель моих ночных походов.

Я замер.

Вслушиваясь в тишину, нарушаемую лишь мерным тиканьем старинных часов в углу. Каждый удар отдавался в висках, словно отсчитывал мгновения между прошлым и будущим.

Взгляд скользнул к постели.

Она спала, свернувшись калачиком, укрытая лишь краем шёлкового покрывала, готового вот-вот соскользнуть.

Одна рука сжата в кулак. Будто она держала невидимое оружие, готовая в любой момент дать отпор.

Прядь волос упала на лоб, но она не поправила её. Только нахмурилась во сне, слегка вздрогнула, словно от кошмара.

На мгновение задержала дыхание, прежде чем оно снова стало ровным, но всё ещё прерывистым.

Даже во сне на её лице читалась напряжённая складка.

Она продолжала бороться с чем-то невидимым. Или с кем-то.

Я медленно приблизился.

Остановился у изножья кровати.

В сознании вспыхнула мысль: лучше бы я продолжил развлекаться с ней.

Эта мысль пронзила сознание острым лезвием желания.

Секс с безымянной девицей в пыточной оставил лишь раздражение. Механическое, пустое удовольствие, не утолившее ни тела, ни духа.

Я не запомнил ни её лица, ни имени, ни запаха.

Как уже много лет не запоминал никого из своих женщин. Все они были одинаковыми и пресными.

А вот Сильвана будила во мне иное.

Не просто желание. Азарт. Тягу к игре, к покорению неприступного.

Её непокорность. Ярость. Готовность сражаться до последнего вздоха.

Они разжигали огонь, давно тлевший под пеплом пресыщенности.

Она — редкий экземпляр в коллекции. Тот самый, что не даётся в руки. Пока не даётся.

Я опустил в кресло напротив постели. Устало потёр виски.

Если продолжить сразу, не дав ей времени прийти в себя, — я просто сломаю.

Эта мысль отрезвила, как ледяной душ.

Я не боялся сломать.

Но сломанная игрушка теряет ценность.

Мне нужны были её борьба. Её сопротивление. Её ярость.

Именно это делало охоту увлекательной.

Я хотел видеть, как она колеблется между ненавистью и влечением. Как разум борется с телом. Как гордость сталкивается с желанием.

Это куда интереснее, чем просто взять то, что и так принадлежит мне по праву силы.

Взгляд упал на столик у кровати.

Пуст.

Кинжала, оставленного там накануне, нет.

Я замер.

Мгновенно напрягся.

А затем медленно, почти лениво улыбнулся.

Взяла.

Я представил, как она, дрожа от ярости и страха, сжимала холодное лезвие, вынашивая план мести.

Неужели она думала, что я не замечу?

Какая наивность.

Я почти растроган.

В этом была своя прелесть. Наивная, почти детская попытка противостоять мне.

Она с первого раза ничему не научилась. Но в этом и заключалось её очарование. В упрямой вере, что она способна изменить ход игры.

Я знал с холодной уверенностью человека, привыкшего к опасности, умеющего читать движения, предугадывать удары и чувствовать угрозу за милю: у неё не хватит навыков.

И даже если она попытается — не причинит вреда.

Но в том-то и ирония: её беспомощность делала игру ещё увлекательнее.

Пусть держит кинжал. Пусть верит, что у неё есть шанс.

Это лишь добавит остроты.

Мышь, получившая игрушечный меч и решившая сразиться с кошкой.

Забавно. Трогательно. И очень возбуждающе.

Я поднялся.

Бесшумно подошёл к постели. Опустился на край, едва касаясь покрывала.

Она не шевелилась.

Но дыхание чуть сбилось. И она что-то прошептала неразборчиво, почти неслышно.

Словно ощущала моё присутствие даже сквозь сон.

Наверное, проклинает меня.

Эта мысль вызвала улыбку. Не насмешливую. Почти тёплую.

«Да, проклинай. Ненавидь. Только не переставай бороться. Потому что именно тогда ты станешь по-настоящему моей».

В голове роились планы. Один изощрённее другого.

Завтра я заставлю её играть по моим правилам. Заставлю умолять. Заставлю ненавидеть меня ещё сильнее — и одновременно жаждать моих прикосновений.

Я знал все слабые места человеческой души. Все потайные тропы к покорности.

Умел разгадывать людей, как загадки. Находить болевые точки. Играть на страхах и желаниях.

Сильвана не исключение.

Её гордость — всего лишь иллюзия. А сопротивление — тонкая паутина, которая кажется прочной, пока не коснёшься.

Она думает, что может сопротивляться. Думает, что её воля — это сталь. Думает, что ненависть — это щит.

Глупая.

Ненависть — это не щит. Это топливо. Чем сильнее она ненавидит, тем сильнее будет контраст. Тем слаще будет момент, когда она сдастся.

А она сдастся. Не потому, что слаба. Потому что тело сильнее. Тело уже выбрало. Тело уже знает.

Я видел это. Когда она кончила. Когда кричала. Когда сжималась вокруг меня. Когда смотрела на меня после — пустыми глазами, в которых не было ничего, кроме пустоты и шока.

Она ещё не знает, что это было. Но узнает.

Я покажу ей.

Я покажу ей, что такое — быть сабмиссивом. Не по книжкам. Не по слухам. А на практике.

И она поймёт.

И она примет.

И она попросит.

Ещё.

Я сбросил одежду.

Лёг, откинувшись на спину, раскинув руки. Уставился в потолок.

Сон не шёл.

Вместо него в голове крутились образы, слова, сценарии.

Завтра всё изменится.

Она поймёт, что бежать бесполезно.

Первые лучи солнца проникали сквозь занавески, окрашивая комнату в золотисто-розовые тона. Мягко падали на её лицо, подчёркивая уязвимость.

Я закрыл глаза.

И улыбнулся.

Сегодня начнётся новая глава нашей игры.

И я уже знал, что она станет увлекательной.

Потому что на этот раз я не просто возьму то, что хочу.

Я заставлю её саму отдать мне это по доброй воле.

И тогда её поражение будет абсолютным.

Глава 5

Глава 5

Сделка

«Он дал ей выбор. Выбора не было».

Сильвана

1

Косой солнечный луч прорезал комнату, заставив меня открыть глаза.

В висках стучало. В груди ещё трепетал отголосок сна — того самого, где я бежала без конца, задыхаясь от страха, а преследователь всякий раз оказывался моей собственной тенью. Искажённой. Пугающей. Но всё же моей.

Единственный враг, от которого не скрыться, жил внутри.

Я медленно повернула голову.

Реальность обрушилась с холодной беспощадностью: мой настоящий кошмар лежал рядом и безмятежно спал на расстоянии вытянутой руки.

Диамант.

В утреннем свете его лицо казалось почти беззащитным. Расслабленные черты. Чуть приоткрытые губы. Тёмные ресницы, отбрасывающие бархатные тени на высокие скулы.

Он дышал ровно и размеренно.

Спал сном праведника.

Сном человека, не знающего мук совести, не помнящего вчерашних деяний, не чувствующего тяжести моих слёз.

Воспоминания ударили в голову, заставив меня содрогнуться.

Его руки — сильные, безжалостные. Его голос — низкий, вкрадчивый, пропитанный насмешкой. То, как он взял меня, не спрашивая и не считаясь с моим «нет». То, как я кричала, а он лишь усмехался с ленивым, почти философским удовлетворением, словно демонстрировал непреложный закон мироздания: он решает, я подчиняюсь.

Затем пришло другое воспоминание.

От которого кровь бросилась в лицо.

Его губы на моей шее. Его пальцы внутри меня. Его голос, приказывающий кончить.

И моё тело, отзывавшееся на этот приказ вопреки разуму, вопреки ненависти, вопреки всему.

Как я могла кончить под ним, когда он насиловал меня?

Ожесточение вспыхнуло с новой силой. Жгучее. Всепоглощающее.

Оно заполняло каждую клетку, превращая мир в чёрно-белую палитру, где Диамант — абсолютное зло, а я — последняя надежда на справедливость.

Воздух дышал утренней свежестью.

Но сквозь неё пробивался запах пота и металла. Запах кинжала, спрятанного под подушкой.

И ещё его запах: вишнёвый табак, гвоздика, корица.

Он пропитал подушку, простыни, мою кожу.

Даже сейчас, ненавидя его каждой клеткой, я дышала им.

Мысль о ноже пронзила внезапно.

Рука сама скользнула под подушку.

Рукоятка легла в ладонь. Холодная. Твёрдая. Настоящая.

Тот самый кинжал, что я вчера взяла дрожащими пальцами с единственной мыслью: «Если он снова подойдёт — я ударю».

Я медленно, почти бесшумно приподнялась.

Пальцы сомкнулись крепче. Металл приятно оттягивал ладонь, отдавая холодом стали.

Странное ощущение силы. Возможности остановить его, положить конец безумию.

На мгновение я почувствовала себя богиней возмездия.

Я занесла нож.

Медленно. Осторожно.

Замерла в верхней точке. Лезвие блеснуло в утреннем свете, поймав луч солнца.

И тут я снова поймала себя на предательском, постыдном ощущении: несмотря на ярость, боль и унижение, я не могла не отметить его красоту.

Потрясающую. Почти нечеловеческую.

Чёрные как смоль волосы разметались по подушке хаотичным, но завораживающим узором. Линия подбородка резкая, аристократическая, словно высеченная из мрамора. Изгиб губ чувственный и одновременно властный, обещающий и наслаждение, и боль. Тень от ресниц на бледной коже тонкая и изящная, так жестоко контрастирующая с его тёмной сущностью.

Сама природа издевалась надо мной, заключив в одном человеке чудовище и произведение искусства.

Я ненавидела его.

За поступки.

И за то, что он так прекрасен в своей порочности.

За то, что даже сейчас, когда я держала нож у его горла, он оставался воплощением эстетического совершенства.

Я замерла, замороженная этим противоречием.

Нож дрожал.

Пальцы тряслись. Я чувствовала, как затекает рука. Как пот стекает по спине. Как сердце колотится где-то в горле.

Я стиснула зубы. Попыталась унять дрожь.

Не получилось.

Дыхание стало прерывистым.

На мгновение мне почудилось, что я вижу не Диаманта, а себя в отражении лезвия: разъярённую, отчаявшуюся, стоящую на самом краю.

«Убей его. Сейчас. Пока спит. Пока не знает. Избавь себя, Колтрейн и весь мир от этого чудовища».

Но что-то удерживало.

Это не страх. Через него я давно перешагнула.

Не жалость. Во мне не осталось ни капли милосердия к этому человеку.

Что-то другое.

Чему я не могла дать имени.

Может, любопытство — желание узнать, как далеко он готов зайти.

Может, тайное восхищение его непоколебимой уверенностью.

Или — что страшнее всего — проблеск того самого чувства, которое я ненавидела в себе больше всего.

Влечения.

Перед глазами снова вспыхнуло: его руки на моих бёдрах. Его член внутри меня. Его голос, низкий и властный: «Кончай для меня».

И моё тело, содрогнувшееся в оргазме. Первом в моей жизни. Вырванном силой, но оттого не менее настоящим.

Я ненавидела его.

Ненавидела себя за то, что не могла перестать помнить.
Я глубоко вздохнула.
Рука дрогнула. Ещё раз. И ещё.
Лезвие качнулось. Ближе к его шее. К коже. К тому месту, где под тонкой мраморной оболочкой билась жилка.
Я видела её.
Пuls. Ровный. Спокойный. Он спал. Он не знал. Он был в моей власти.
И — я не могла.
Рука опустилась.
Сама. Мышцы разжались.
Я смотрела на него.
Долго.
Он спал. Не знал. Не видел.
А я — знала. И — видела.
Я глубоко вздохнула, пытаюсь унять дрожь.
Взгляд задержался на его лице. Спокойном. Безмятежном. Почти невинном во сне.
Внутри боролись два начала.
Жажда мести.
И неясное, пугающее притяжение.
И — что-то третье. То, что я не хотела признавать. То, что я уже знала.
Я не могу его убить.
Не потому, что боюсь.
Не потому, что жалею.
А потому, что хочу его.
Потому что тело помнит. Потому что тело хочет. Потому что — вопреки всему, вопреки разуму, вопреки ненависти — я уже не могу без него.
Я снова занесла нож.
«Это единственная возможность. Давай».
Но рука дрожала. Нож так и остался занесённым. И я не могла заставить себя опустить его.

2

В этот момент Диамант открыл глаза.
Наши взгляды столкнулись.
Его взгляд был сонный, подёрнутый дымкой. Но уже в следующее мгновение стал острым, как хирургический скальпель.
Он смотрел так, словно вскрывал меня слой за слоем, мысль за мыслью, раскладывая внутренности моей души на холодном прозекторском столе.
Мой взгляд был полон ненависти, растерянности и чего-то третьего, чему я не знала имени. Оно ворочалось в глубине, тёмное, тёплое, живое, как змея, разбуженная чужим теплом.
Диамант не шевелился. Не отпрянул.
Лишь скользил взглядом по ножу в моей руке, по побелевшим костяшкам, по дрожащим губам.
В его глазах не было страха. Ни тени.
Только холодное, почти лабораторное любопытство.
— Любоваться на того, кого собираешься убить, — верх глупости, — произнёс он.
Голос разрезал тишину негромко, но точно, как лезвие, рассекающее шёлк.
Ярко-голубые глаза вспыхнули в полумраке, как два осколка арктического льда, в которых не отражалось ничего человеческого.

— Ну прямо-таки верх глупости, — протянул он лениво, почти игриво, приподнимаясь на локтях.

Мышцы на его руках перекатывались под кожей.

И я ненавидела себя за то, что заметила это.

— Знаешь, что бывает с охотником, который посмотрит волку в глаза перед выстрелом? По моему позвоночнику прошёл ледяной озноб. Осязаемый, как чужие пальцы.

Он сам ответил:

— Он замешкается. Опустит ружьё. А волк... прыгнет. И разорвёт на части.

Он медленно сел.

Каждое движение выверенное, перетекающее, хищное.

Он поднялся плавно и бесшумно, как тень, отделившаяся от стены.

Воздух между нами сгустился, стал тяжёлым и вязким, пропитанным чем-то звериным.

Я чувствовала его приближение всем телом: кожей, волосками на руках, каждым нервом.

Сократив дистанцию до длины вдоха, он сказал:

— Так что, когда решаешь убить — убивай. Не медли. Не смотри. Не дыши.

Пауза.

Его губы дрогнули в подобии улыбки.

— А если не можешь... не пытайся. Себе дороже.

Я сглотнула.

Горло стянуло, будто невидимая рука сжимала его изнутри.

Больше всего пугали не его голос, не угроза, не физическое превосходство.

Безмятежность.

Ледяное, нечеловеческое спокойствие.

Он говорил со мной так, словно я не убийца с ножом, а ребёнок, потянувшийся к огню.

— Ты не посмеешь... — прошептала я чужим, тонким, далёким голосом.

Диамант усмехнулся.

И эта усмешка была страшнее крика и удара: в ней не было ни грамма веселья, только отточенная, годами выдержанная жестокость, как старое вино, ставшее ядом.

— Вчера я вполне наглядно показал тебе, что слов «не посмею» в моём словаре нет, — ответил он. — Я делаю то, что хочу.

Он придвинулся так близко, что его тёплое, чуть рваное дыхание коснулось моей щеки, скулы, уголка губ.

— А сейчас ты перешла черту, Сильвана. И теперь придётся ответить.

Бросок.

Молниеносный. Змеиный.

Его пальцы впились в моё запястье. Кости хрустнули. Кожу обожгло.

На висках выступил холодный пот, скатился к скулам тонкими дорожками. Сердце рвалось в горло и стучало так, что закладывало уши.

Нож глухо и коротко ударился о ковёр.

Он швырнул меня на матрас.

Воздух выбило из лёгких.

В то же мгновение он оказался сверху: колени вжались в мои бёдра, стальные пальцы перехватили запястья и пригвоздили их к изголовью.

Я распята. Обездвижена. Поймана.

Он обнажён.

Это осознание вошло под рёбра горячее и острое, как клинок.

Ужас и что-то запретное, тёмное, постыдное хлынули одновременно, переплелись, стали неразличимы.

Ледяная рассудочность его глаз — и жар его тела надо мной. Белая кожа. Странная татуировка. Блеск топаза в серебряной подвеске. Мускулы, перевитые венами, напряжённые, каменные.

Комната пропахла потом, металлом и его пряным ароматом — корица, гвоздика, дым.

И я вдыхала всё это, не в силах остановиться или отвернуться.

И я чувствовала его.

Твёрдого. Горячего. Прижатого к моему бедру.

Его член вжимался в мою кожу сквозь тонкую ткань. Я чувствовала его пульс, его жар, его желание.

А потом — его колено.

Оно легло между моих бёдер. Твёрдое. Горячее. Давящее.

Прямо туда. На то место, где всё горело. Где было мокро. Где тело уже предало меня.

Я вдохнула — резко, судорожно. И замерла.

Он почувствовал.

Он всё почувствовал.

Он надавил сильнее. Ровно. Точно. Так, чтобы я почувствовала каждый миллиметр этого давления.

Я выгнулась. От того, что тело ответило. От того, что между ног стало ещё горячее. Ещё влажнее. Ещё хуже.

— Вот как, — произнёс он тихо. Почти ласково. — Ты хочешь убить меня. А сама течёшь. Забавно.

Я зажмурилась.

Щёки горели. От стыда. От ярости. От того, что он прав.

Соски сжались в твёрдые точки. Низ живота наливался тяжестью.

Я с ужасающей ясностью понимала, что хочу его.

Хочу, чтобы он вошёл в меня снова. Прямо сейчас.

«Что со мной происходит? Что он со мной делает?»

— Это не то, что ты думаешь... — выдохнула я.

Слова рассыпались, как пепел.

— О, я прекрасно понимаю, что это именно то, что я думаю, — ответил он.

Его голос опустился до шёпота. Низкого. Обволакивающего. Как шёлковая петля, медленно затягивающаяся на шее.

Его рука сжала моё запястье сильнее. Кожа багровела и расцветала лиловым: будет ещё один синяк. Его печать.

Он склонил голову. Прядь тёмных волос скользнула по моей щеке невесомо, почти нежно.

— Или, может, ты решила поиграть в ролевые игры с ножами? Но, милая... у тебя совершенно нет опыта.

Пауза.

Тень опасной, обещающей улыбки.

— Впрочем, я займусь твоим обучением.

Он наклонился к моему лицу. Его губы в дюйме от моих.

Я чувствовала его дыхание.

В голове вспыхнула бесстыдная мысль: «Поцелуй меня. Жёстко. Грубо. Так, как вчера. Так, чтобы губы треснули, чтобы на языке осталась кровь».

И тут же другая, отчаянная: «Что со мной? Что он со мной делает?»

Но обе тонули в вихре ощущений: жар, страх, возбуждение, ненависть, голод. Всё смешивалось в единый тёмный водоворот, утягивающий на дно.

— За попытку покушения на монаршую особу в целом и на твоего господина в частности... — прошептал он, и каждое слово ложилось на мою кожу, как раскалённое клеймо. — Ты будешь наказана.

Его большой палец медленно провёл по внутренней стороне моего запястья, где пульс бился загнанной птицей.

Одно прикосновение. Почти ласка. Почти пытка.

— Милосердия не жди. Но кто знает... может, наказание тебе понравится.

Я закусила губу до крови.

Солёный, медный привкус заполнил рот.

Но не помог.

Внизу живота скручивался тугой раскалённый узел. Пульсировал. Рос. Затапливал тело жидким огнём.

Я должна была кричать, вырываться, плюнуть ему в лицо.

Но не могла пошевелиться.

Его взгляд, его голос, его тяжесть на мне пригвождали к месту.

Он наклонился ещё ниже. Губы скользнули вдоль моей скулы, не касаясь, но так близко, что кожа горела от одного обещания.

Тело пронзал не страх.

Огонь.

Настоящий, живой, пожирающий.

Страх умер. Остался только голод. Тёмный. Звериный. Невыносимый.

И тогда — он поцеловал.

Не так, как вчера. Не жёстко. Не грубо. Не так, чтобы губы треснули.

Медленно. Глубоко. Властно.

Его губы накрыли мои. Тёплые. Твёрдые. Уверенные. Они не спрашивали. Они брали. Но — не спеша. Не грубо. С чувством. Как будто он пробовал меня на вкус. Как будто он запоминал каждую линию. Каждый изгиб. Каждую трещинку на моих губах.

Его язык скользнул по нижней губе. Медленно. Влажно. Дразня. Потом — проник глубже. Настоячиво. Уверенно. Он раздвинул мои губы. Нашёл мой язык. Коснулся. Отступил. Снова коснулся. Играя. Дразня. Обучая.

Я замерла.

Сначала — от неожиданности. От того, что это было не так, как я ожидала. Не боль. Не насилие. Что-то другое. Что-то, от чего колени подгибались, а голова кружилась.

Потом — от того, что тело ответило.

Само. Против воли. Против разума.

Мои губы дрогнули. Приоткрылись. Я почувствовала, как его язык скользнул глубже. Как он коснулся нёба. Как он нашёл ту точку, от которой по позвоночнику прошла дрожь.

Я хотела вырваться. Хотела оттолкнуть. Хотела укусить.

Но — не могла.

Вместо этого — я ответила.

Несмело. Неумело. Но — страстно.

Мой язык коснулся его языка. Робко. Пробуя. Как будто спрашивая разрешения. Как будто извиняясь за то, что не умею. Как будто прося ещё.

Он почувствовал.

И — усмехнулся. Прямо в поцелуй. Прямо в мои губы.

А потом — отстранился. На миллиметр. На вдох. Так, чтобы я видела его глаза. Его улыбку. Его насмешку.

— Ты совсем не умеешь целоваться, — произнёс он тихо. — Слишком робко. Как будто боишься, что тебя отругают.

Он провёл пальцем по моей нижней губе. Медленно. Стирая слюну. Свою. Мою. Уже не разобрать.

— Но это ничего, — добавил он. Улыбка стала шире. — Я научу. У меня было много учениц. И все они заканчивали одинаково. На коленях. С моим именем на губах.

Я задохнулась.

От ярости. От унижения. От того, что он прав. Я целовалась как девственница. Потому что я и была девственницей. До вчерашнего вечера. До него.

И — от того, что тело хотело ещё. Хотело учиться. Хотело его.

Резкий стук в дверь расколол тишину, как удар топора.

Диамант замер.

Тонкие брови сошлись к переносице. В глазах вспыхнула чистая, первобытная ярость, которая тут же подёрнулась коркой раздражения.

Второй стук — громче и настойчивее.

— Милорд Диамант! Ваше высочество! Срочно! Пойманы заговорщики, требуется ваше присутствие!

Он медленно поднял голову.

Взгляд всё ещё горел.

Но уже не только мной.

Между нами была натянута невидимая раскалённая нить.

И я чувствовала, что она не оборвалась.

Его пальцы разжались нехотя, по одному.

На моих запястьях остались набухающие следы.

— Блять... — прошипел он сквозь зубы.

Рывком поднялся. Движения стали резкими, рваными — единственное, что выдавало напряжение под маской ледяного контроля.

— Это не конец, Сильвана. Мы продолжим позже.

Он поднялся с постели одним текучим движением.

Так поднимается хищник, утоливший лишь первый голод.

Одежда легла на тело быстро и привычно: тёмные кожаные штаны скользнули по бёдрам, шёлковая рубашка цвета ночи обняла плечи, оставляя расстёгнутой верхнюю пуговицу.

Пальцы прошли по волосам не глядя, на ощупь.

И лишь потом он бросил короткий взгляд в зеркало. Не ради тщеславия. Ради контроля.

Широкий, хищный шаг к двери. Половицы стонали под его весом.

Он остановился и обернулся.

На одно мгновение. Может, на два.

Достаточно, чтобы его глаза нашли меня.

Достаточно, чтобы я перестала дышать.

В этом взгляде не было нежности.

Только обещание. Тяжёлое. Неотвратимое. Как занесённый клинок.

«Я вернусь. Я доиграю. И ты будешь ждать — потому что больше не умеешь иначе».

Дверь резко распахнулась.

Сквозняк хлестнул по разгорячённой коже.

Я вздрогнула и обхватила себя руками.

Он шагнул в темноту коридора.

И растворился в ней.

Тишина обрушилась.

Оглушительная. Звонящая.

Но он не ушёл до конца.

Комната пропитана им. Пряный аромат корицы и гвоздики оседал на смятых простынях, цеплялся за мою кожу, забирался в лёгкие при каждом вдохе.

Сладковатый дым вишнёвых сигарет ещё висел в воздухе. Тонкий. Почти видимый. Как призрачный след.

Я могла бы открыть окно и выветрить его.

Но не двигалась.

Моё дыхание — рваное, тяжёлое, чужое — было единственным звуком.

Сердце колотилось где-то в горле, в висках, между бёдер.

Тело горело и не утихало, а разгоралось, подбрасывая в топку воспоминания: его руки, его шёпот, его зубы на моей шее.

И его поцелуй. Медленный. Глубокий. Властный. Тот, от которого колени подгибались. Тот, на который я ответила. Несмело. Но страстно.

Я ненавидела себя за это.

Но — не могла остановиться.

Огонь пожирал изнутри. Медленный и ненасытный.

И я понимала с пугающей, кристальной ясностью: самоконтроль уже сгорел.

Остался только пепел и ожидание.

Он вернётся.

Скоро и неизбежно.

И я буду ждать в этой комнате, пропахшей корицей и грехом.

С его меткой на коже.

И его именем, застрявшим между рёбрами.

Диамант

1

Я неспешно спускался по винтовой лестнице.

Каждый шаг отзывался глухим эхом в полутёмном коридоре, будто сам замок вторил моей поступи покорно, почти подобострастно.

Пламя свечей вздрагивало от сквозняка, роняя на каменные стены причудливые тени. То ли танцующие, то ли корчащиеся в безмолвной агонии.

Воздух был густ от запахов: тёплый воск, старое дерево, едва уловимая примесь железа.

Я любил этот запах.

Запах страха и господства. Терпкий. Почти осязаемый.

В просторном зале под массивными сводами меня уже ждал Роланд.

Рядом с ним — капитан стражи, чья фигура чётко вырисовывалась на фоне зарешёченных окон.

Шестеро солдат в тёмно-серых плащах замерли по стойке «смирно», руки на эфесах мечей. Живые статуи, отлитые из стали и преданности.

А перед ними, в круге холодного света, стояли пятеро пленников.

Джейкоб Этвуд держался прямо, несмотря на скрученные за спиной руки.

Седые волосы сбились на лоб, но взгляд твёрдый, как кремь. Не дрогнул при виде меня.

Такой же бесстрашный, как его дочь.

И такой же глупый.

Бесстрашие без силы — не доблесть, а самоубийство.

Рядом с ним — четверо его людей. Потрёпанные. С кровоподтёками на лицах. Но с тем же непокорным огнём в глазах.

Чуть в стороне стоял ещё один. Парень постарше меня. Он смотрел с такой неприкрытой ненавистью, что она, казалось, могла бы прожечь броню.

Но только не мою.

Я давно привык к ненависти. И более того — наслаждался ею.

Ненависть как эхо лишь подтверждала, что ты достаточно громок, чтобы тебя услышали.
Я скользнул по парню взглядом с проблеском интереса, почти любопытства.
И повернулся к Роланду.

— Милорд, — шагнул он вперёд. Голос ровный, хотя в глазах мелькало напряжение. — Мы задержали их у западных ворот. Пытались проникнуть в замок под видом странствующих торговцев, но стража узнала Этвуда. При обыске нашли оружие и план подземелий.

Я медленно обошёл пленников.

Шаг за шагом. Неспешно.

План удался. Они пришли за ней. Даже быстрее, чем я думал.

Отец Сильваны оказался здесь как нельзя кстати.

Интересно, будет ли она плакать, когда узнает, что её отец в моих руках? Или проявит ту же упрямую гордость?

В любом случае это будет занимательно.

Я развернулся к пленникам.

— Ну что, господа, — произнёс я, и мой голос сочился ледяной иронией. — Плетёте заговоры против законной власти? Очень глупо. Очень неосмотрительно.

Джейкоб Этвуд рванулся вперёд, натянув путы до предела.

— Мальчишка! — воскликнул он со сталью в голосе. — Ты можешь держать нас здесь, угрожать, даже убить. Но ты не остановишь то, что уже началось!

— О? — Я склонил голову, будто заинтересованный кот. Что за манера у этой семейки тыкать меня возрастом? — И что же, по-вашему, началось?

— Правда, — коротко бросил он. — Люди знают. Они ждут. И когда придёт час... Твоё господство и господство твоего папаши падут. И вы умоетесь собственной кровью — так же, как утопили в крови народ Колтрейна.

Я шагнул ближе.

Голос опустился до шёпота, от которого у окружающих обычно пробегал озноб по хребту:

— Час? Ваш «час» — это миг, когда я решу, жить вам или умереть. Вы забыли, с кем имеете дело?

Пауза.

Я смаковал их бессильную ярость, как терпкое вино.

— Или, может, забыли, где находитесь? Это мой замок. Мои стены. Моя страна. И здесь есть только один закон. Мой.

Парень, стоявший в стороне, рванулся вперёд.

Солдаты схватили его за плечи и резко дёрнули назад. Один из стражников сжал его плечо железной хваткой:

— Тихо, щенок! Ещё слово — и получишь по зубам!

Но парень не сдался. В его тоне сквозило отчаяние, но глаза пылали всё той же ненавистью.

— Отпустите её! Вы не имеете права держать Сильвану взаперти! Она ни в чём не виновата!

Я замер.

Внутри вспыхнуло то ли раздражение, то ли любопытство: жених. Как трогательно. Как предсказуемо.

— Вот как, значит... — протянул я.

Достал тонкую вишнёвую сигарету. Неспешно закурил. Дым окутал лицо полупрозрачной завесой.

— Ты и есть жених моей птички... Ну, как я и предполагал — глупый идеалист. Романтик, наверное. И вот он, весь твой романтизм: ты здесь, в цепях...

Затянулся. Выпустил дым через ноздри, глядя ему прямо в глаза.

Пауза. Растянутая, как тонкая струна, готовая лопнуть.

— А твоя подружка... Знаешь, она оказалась куда более... покладистой, чем можно было ожидать от дочери мятежника.

Он замер с таким видом, как будто я сообщил о конце света.

Зрачки расширились. Костяшки сжатых кулаков побелели.

— Что ты несёшь, ублюдок?! — прорычал он.

Снова рванулся вперёд.

Солдаты удержали.

Я пожал плечами, стряхивая пепел на каменный пол:

— Я несу факты. Твоя невеста — очень отзывчивая натура. Особенно когда понимает, что сопротивление бесполезно.

— Ты лжёшь! — его крик метнулся под своды, отразился от стен и вернулся жалким эхом. — Сильвана никогда бы...

— Никогда бы не кончила подо мной? — прервал я с ленцой и холодной, почти отеческой улыбкой. — А вот это ты зря. Видимо, ты совсем её не знаешь.

Дым растворялся в холодном воздухе зала, смешиваясь с запахами металла и пота.

Лицо парня стало белым, как извёстка. Он дышал рвано, с хрипом, будто я вогнал ему в грудь клинок по самую рукоять.

— Ты... Ты заплатишь за это. Клянусь.

— Разумеется, — легко согласился я. — Как только, так сразу. Но сначала — насладюсь твоей невестой.

Я окинул его взглядом с головы до ног, как товар на рынке.

— Ты бы лучше подумал, как выжить в моём подземелье. А о Сильване не волнуйся. О ней есть кому позаботиться.

Я видел, как он сломался. Не телом. Духом. Смотрел на меня — и не видел. Он видел её. В моей постели. Подо мной.

Это было слаще, чем я ожидал.

Но — странно — не так сладостно, как могло бы быть. Что-то мешало. Что-то царапало изнутри. Как будто я говорил не о ней. А о чём-то другом. О том, что принадлежало только мне. И — что я сам ещё не до конца понял.

Я отогнал это. Не время. Не место.

Я обернулся к капитану стражи.

— Капитан, поместите их в подземелье. Под усиленную охрану. Наши гости заслуживают особого внимания к своим персонам.

Солдаты двинулись вперёд. Цепи гремели. Шаги эхом металась под сводами.

— Диамант! — голос Джейкоба прозвучал резко.

Все остановились.

— Мальчик, ты думаешь, что контролируешь ситуацию. Утопаешь в крови, богатстве, разврате! Но этому придёт конец! Ты за всё ответишь!

Я передёрнул плечами, стряхивая его слова, как надоедливых мух.

Слова — бесполезный шум.

Действия — вот что имеет вес.

— Уведите их.

Пленников увели.

Зал опустел.

Остались только я и Роланд. Он наблюдал за мной, прислонившись плечом к колонне и скрестив руки на груди.

— Ну и что ты собираешься с ними делать? — спросил он.

Я затанулся. Выпустил дым.

— Пока — ничего. Этвуд и женишок пусть посидят. Подумают.

Пауза.

— А остальные мне не нужны. Хотя... нет, пожалуй, сгодятся, чтобы развлечь. А вот с ней... с ней я ещё не закончил.

2

Роланд замер в полутени у массивной дубовой двери.

На лице — смесь облегчения и настороженности.

— Ну что, — произнёс он наконец, шагнув вперёд. — Поздравляю. Последние из мятежников у нас в руках. После такого они долго не оклемаются.

— Везение? — я усмехнулся, не поворачиваясь. — Это не везение, Роланд. Это работа. Мы с тобой не в лотерею играем.

В комнате было жарко от камина. Воздух дрожал над пламенем.

Но из узких окон тянуло ледяным сквозняком. Пробирало до костей.

Контраст, напоминающий мою натуру.

Роланд хмыкнул. Он давно привык к моей манере превращать очевидные удачи в плоды собственного гениального планирования.

— Ну да, ну да, — сказал он. — А захват Этвуда — тоже твоя гениальная заслуга? Или всё-таки моя?

— Твоя, — легко согласился я. — Но идея была моя.

— Ага. Конечно.

Он подошёл к столу. Налил себе вина.

— Ладно, — сказал он, отпив. — Что дальше? Они заговорят, рано или поздно. Все говорят.

— Заговорят, — кивнул я. — Вопрос — когда. И сколько с ними возиться.

Я подошёл к окну. Уставился во двор.

Двор был пуст. Только ветер гнал сухую листву по камням. Скоро зима.

— Но дело не только в них. Дело в Сильване.

Роланд замер.

— В Сильване? — переспросил он. — Думаешь, она сдастся из-за папаши и женишка? После всего, что ты с ней сделал?

— Она уже сдалась, — перебил я. — Просто пока не поняла. Страх за близких — самый сильный аргумент. А у неё теперь есть что терять.

Я позволил себе улыбку.

— Когда человек теряет опору, он становится мягким. Сильвана думала, что борется за справедливость. За свободу. За любовь. А теперь — она будет бороться только за их жизни. Это делает её предсказуемой.

Я опустил в кресло. Скрестил пальцы.

— Знаешь, что она сделала сегодня утром? — спросил я.

Роланд покачал головой.

— Пыталась меня убить. Моим же кинжалом. Пока я спал.

Роланд напрягся.

— И что?

— А то, — я коротко рассмеялся, — что у неё ничего не вышло. Занесла нож, замерла, как дура, и уставилась на меня. Любовалась. Пока я глаза не открыл.

Я откинулся на спинку.

— Ты бы видел её лицо, Роланд. Ненависть, страх и похоть — всё в одном флаконе. Держит кинжал у моего горла, а у самой между ног уже мокро. Я это чувствовал. Даже сквозь сон.

Роланд хмыкнул.

— И что дальше?

— А дальше — обезоружил, швырнул на кровать, навис сверху. И знаешь что? Она не вырывалась. Не кричала. Ждала. Тело ждало. Если бы не этот долбаный стражник с его «пойманы заговорщики» — я бы её там же отымел. Она бы кончила. Снова.

Я закинул ногу на ногу.

— Она ненавидит меня. И хочет меня. И это рвёт её на части. Медленно. Изнутри. Мне это нравится.

Роланд кивнул.

Но в глазах — сомнение. Я видел.

— А если не сработает? — спросил он. — Что, если она выберет идеалы? Ты видел её на дыбе. Она не из тех, кто легко ломается.

Я рассмеялся.

Коротко. Сухо.

— На дыбе ломается тело, Роланд. А тело — просто мясо. Мне нужна её воля. И для этого у меня теперь есть два рычага. Старый папаша, готовый сдохнуть за свою честь. И глупый женишок, готовый сдохнуть за свою любовь. Как думаешь, сколько она продержится, глядя, как они мучаются?

Роланд молчал.

— И что ты ей предложишь? — спросил он наконец.

Я улыбнулся.

Улыбка — как оскал.

— Выбор. Простой и красивый. Её тело — в обмен на их жизни. Полное подчинение — в обмен на их безопасность. Её гордость — в обмен на их дыхание.

Я поднялся. Подошёл к камину. Уставился на тлеющие угли. Багровые. Мерцающие. Как глаза древнего зверя.

— Знаешь, что самое смешное? Она согласится. Не потому, что слабая. А потому, что сильная. Именно её любовь к этим двоим сделает её моей. По-настоящему. Добровольно.

Роланд подошёл ближе.

— А если согласится, но не сломается? — спросил он. — Ты сам говорил: сломанная игрушка не играет. А что, если она продолжит сопротивляться, даже когда ты уже выиграл?

Я обернулся.

— Тогда будет ещё интереснее. Ломать тело — скучно. А ломать дух, который не хочет сдаваться... вот это — искусство. И я в нём — мастер.

Роланд кивнул.

Он понимал. Когда я говорю о «выборе», это никогда не значит свободу.

Только новую форму контроля. Более изощрённую. Более жестокую.

— Как скажешь, — произнёс он.

Я шагнул вперёд.

В груди разливалось приятное тепло предвкушения. Сладкое. Опасное. Как яд.

Скоро.

Совсем скоро мы увидимся.

И тогда начнётся самое интересное.

Сильвана

1

Я сидела у окна, невидящим взглядом уставившись во двор.

Тяжёлые бархатные шторы обрамляли проём, приглушая скупые лучи солнца и отбрасывая на пол густые тени.

В комнате царил полумрак, разбавленный лишь дрожащим светом одинокой свечи на прикроватном столике. Пламя вздрагивало при каждом порыве ветра, бросая на стены причудливые, извивающиеся тени.

Мысли вихрем кружились в голове.

Я вспоминала утро. То неожиданное мгновение, когда меня охватила неистовая, пугающая страсть к этому человеку. Тюремщику. Врагу. Насильнику.

Я сжимала кулаки, впиваясь ногтями в ладони до боли.

Пыталась прогнать воспоминание о том, как моё тело предательски откликнулось на его близость.

Он угрожал наказанием.

А я хотела вновь ощутить его властные губы и тяжесть его рук.

Как я могла хоть на миг забыть, кто он и что со мной сделал?

Я провела рукой по лицу, словно стирая невидимые следы его прикосновений.

Но чем сильнее пыталась изгнать эти мысли, тем ярче всплывали в памяти его взгляд — холодный, пронзительный, но в то же мгновение обжигающий; его голос — низкий, вкрадчивый, от которого по спине пробегал предательский трепет; ощущение его рук — сильных, безжалостных, но таких волнующих.

Это неправильно.

Это грязно.

Это предательство.

Дверь резко распахнулась.

Звук, похожий на удар хлыста, разорвал тишину.

Вошёл стражник. Высокий. Немолодой. С невозмутимым лицом. Доспехи глухо звенели при движении.

— Следуй за мной, — произнёс он без тени эмоций, даже не взглянув на меня.

Я медленно поднялась.

Ноги казались ватными, налитыми свинцом. Но я заставила себя сделать первый шаг.

Стражник молча двинулся к выходу. Я — следом.

Холодный пот выступал на спине.

Мы спускались по узким каменным лестницам мимо голых стен, покрытых паутиной трещин.

Воздух становился всё холоднее и сырее. Запах воска и дерева сменялся затхлой сыростью подземелий, смешанной с металлическим привкусом цепей и едва уловимой примесью гнили.

Где-то в темноте монотонно капала вода. Шуршали крысы, скребущие по камню.

Звуки эхом отдавались в ушах, усиливая ощущение безысходности.

Наконец мы достигли массивной железной двери.

И я узнала её.

Она вела к подземным тюрьмам. Туда, где я сама не так давно была узницей.

Сердце сжалось от дурного предчувствия.

Неужели опять?

Стражник толкнул дверь.

Мы прошли несколько поворотов — лабиринт коридоров, где каждый шаг отдавался эхом — и наконец остановились.

Перед нами была гладкая железная дверь, не похожая на остальные. На ней был кодовый замок, впрочем сейчас дверь была открыта.

Стражник кивнул, пропуская меня внутрь. Я вошла и увидела просторный зал. Широкий. Пустой.

Одна из стен зала представляла собой сплошное матовое стекло.

Сквозь него угадывались очертания камер, но свет внутри был погашен, и разглядеть что-либо не удавалось. Лишь смутные тени едва шевелились в темноте.

В конце зала, у дальней стены, стоял Диамант.

В неизменном облачении из чёрной кожи и шёлка, которое сливалось с сумраком помещения.

Его силуэт чётко вырисовывался на фоне тусклого окна. Лицо оставалось в тени, и черты казались почти демоническими.

Он медленно оторвался от стены.

Его глаза, казалось, светились в полумраке. Холодные. Пронзительные.

Он сделал несколько шагов навстречу. Сапоги глухо стучали по каменному полу, отсчитывая мгновения, словно удары судьбы.

— Скучала? — произнёс он ровным, почти ласковым голосом, от которого становилось лишь страшнее. — Надеюсь, ты хорошо отдохнула?

Ещё шаг.

Он оказался совсем близко.

Я могла разглядеть его лицо: спокойное, почти безмятежное. Но в глазах плясали тени, словно внутри бушевал невидимый огонь.

Диамант усмехнулся.

И нажал на встроенную в стену кнопку.

Свет в камерах по ту сторону стекла вспыхнул.

И — мир рухнул.

Я увидела их.

И — закричала.

Не словами. Горлом. Лёгкими. Животом.

Крик был беззвучным. Потому что воздух застрял где-то в горле.

Я рванулась к стеклу.

Ноги подкосились. Я упала на колени. Прямо на камень. Боль прошла сквозь тело. Но я её не почувствовала.

Я била по стеклу кулаками.

Раз. Два. Три. Пять. Десять.

Кожа на костяшках лопалась, но мне было плевать.

Я била и била. Беззвучно. Отчаянно. Как зверь в клетке. Как птица о прутья.

За стеклом — отец.

Он стоял с гордо поднятой головой. Несмотря на цепи. Несмотря на кровь на виске. Несмотря на всё.

Он не видел меня. Не слышал. Не знал, что я здесь. В двух шагах.

Я видела его руки. Те самые. Которые подбрасывали меня в воздух, когда я была ребёнком. Которые учили меня держать лук. Которые вытирали мои слёзы, когда я падала.

Теперь они были в цепях.

Из-за меня.

Рядом — Тед.

С кровоподтёком на скуле. С запёкшейся кровью на губе. С тем же непокорным огнём в глазах.

Он смотрел вперёд. Не на меня. Просто вперёд. Как будто искал что-то. Или кого-то.

Я вспомнила, как он однажды накрыл меня своим плащом в холодный вечер. Как его рука успокаивающе легла на моё плечо. Как он сказал: «Я никогда тебя не оставлю».

Теперь он был за стеклом. В цепях. Из-за меня.

Там же — ещё несколько верных соратников отца. Их лица измучены. Но не сломлены.

Их истерзанный вид резко контрастировал с моей относительной безопасностью: я стояла в сухом и светлом помещении, а они томились в сырой темнице.

— Нет... — прошептала я, прижимая ладони к холодному стеклу. — Пожалуйста, нет...
Ледяная поверхность под пальцами лишь усиливала дрожь во всём теле.

Сердце бешено колотилось. Кровь стучала в ушах. Дыхание перехватывало, будто кто-то сдавил горло невидимой петлёй.

В груди разрасталась невыносимая мука. Смесь ужаса, безысходности и ярости.

«Отец... Тед... Нет, не может быть! Только не это!»

Грудь сдавило так, что стало трудно дышать. Перед глазами всё поплыло.

Лишь усилием воли я удерживала слёзы, не желая и не смея показывать слабость перед тем, кто наслаждался моим отчаянием.

Я понимала: они здесь из-за меня.

Они пришли за мной.

И попали в ловушку.

Я прижалась лбом к стеклу.

Холод обжигал кожу.

Но не помогал.

Жар стыда и вины пожирал изнутри.

Если бы я не попалась. Если бы была осторожнее. Если бы не...

Мысль оборвалась.

Я снова увидела Диаманта, стоящего за моей спиной. Его отражение в стекле. Его силуэт. Его улыбку.

Он шагнул вперёд.

Оказался совсем рядом.

Медленно поднял руки и начал негромко аплодировать.

Один хлопок. Второй.

Его взгляд был прикован ко мне, и в нём читался холодный интерес. Словно он наблюдал за спектаклем, который его одновременно забавлял и интриговал.

— Какая трогательная сцена, — произнёс он с лёгкой насмешкой. — Ты действительно их любишь. Это делает игру ещё интереснее.

Диамант

1

Я подошёл неслышно.

Мои шаги давно разучились звучать. Привычка хищника, растянутая в ритуал.

Остановился за её спиной.

Воздух между нами густел, становился вязким. Грозovým.

Она почувствовала меня раньше, чем услышала: холод прошёл по её позвоночнику.

Позвонок за позвонком.

Она дрожала.

И я отмечал это с тихим удовольствием.

Она ещё не сломалась. Но фундамент её гордости уже трещал.

Тишина. Только её дыхание — рваное, влажное, горячее.

Вода капала сквозь трещины в замшелом камне. Каждая капля — в такт метроному.

Пахло сыростью, ржавым железом и тем сладковато-солоноватым духом, который навсегда впитывается в стены мест, где слишком долго страдали.

Мои руки сомкнулись на её талии.

Жёсткие. Сухие. Горячие на морозном воздухе подземелья.

Пальцы ощущали тонкую ткань платья. Под ней — тёплую, живую плоть, напрягшуюся до каменной твёрдости.

Она рвалась и билась, как птица в силке.

Но хватка была железной. Пальцы впивались глубже.

— Успокойся, — произнёс я голосом, упавшим ей прямо в ухо. Низким. Бархатным. Пропитанным ядом. — Стекло непроницаемо с этой стороны. Они не видят тебя. Не слышат. Можешь кричать. Можешь плакать. Можешь умолять.

Мои губы почти касались мочки. Я ощущал запах её волос.

— Всё это — только для меня.

Она замерла.

Сердце колотилось так отчаянно, что я чувствовал его биение сквозь собственные ладони. Бешеный, загнанный ритм.

Она стискивала зубы до хруста в челюсти. Рёбра ходили ходуном под моими пальцами.

И я чувствовал запах.

Её страх пах сладко. Густо. Почти непристойно. Как перезрелый плод, готовый лопнуть.

За матовой пеленой стекла её отец — седой, прямой, с негнущейся спиной старого солдата. И её жених — молодой, бледный, с разбитой скулой и гордо вздёрнутым подбородком.

Оба держались.

Оба не знали, что она здесь. Что видит их. Что это последний раз, когда они стоят перед ней невредимыми.

Гордые. Красивые. Величественные.

Но бесполезные, как надгробия.

Скоро они станут мясом.

А она — ключом.

— Завтра их ждут пытки, а после — казнь, — произнёс я, наклонившись так, что губы касались её виска.

Долгая, вкусная пауза.

— Какая именно — я ещё не решил. Повешение? Нет. Скучно. Костёр? Коля? Или содрать с них кожу. Медленно. Полосами. Да. Пожалуй, последнее. Кожа отходит с таким звуком — влажным, липким. Как шёлк от мокрого тела.

Ещё пауза.

Мои губы у её уха так близко, что она должна была чувствовать их форму.

— Ты будешь присутствовать.

Слова ударили, как хлыст.

Она вцепилась в стекло. Поверхность ледяная, скользкая. Пальцы заскользили, оставляя на матовой глади мокрые полосы, похожие на следы когтей.

Самое страшное было не в словах.

В интонации.

Я не угрожал. Не запугивал.

Я рассказывал с той же мягкой, отстранённой учтивостью, с какой обсуждают виды на урожай.

— Нет! — вырвался из её горла хриплый, рваный, обжигающий крик.

Она рванулась вперёд.

Но мои руки держали намертво. Я притянул её к себе, прижал спиной к своей груди.

Она ощущала моё сердцебиение. Ровное. Медленное. Спокойное.

Чудовищный контраст с бешеным стуком в её собственных рёбрах.

— Остановись! — крикнула она. — Пожалуйста! Они ни в чём не виноваты! Это я... я виновата! Они только пытались меня освободить! Милорд...

Голос надломился и упал до шёпота.

— Умоляю вас...

Я холодно усмехнулся.

Даже не потрудился скрыть, как мне это нравилось. Её трескающаяся по швам гордость. Она уже умоляла.

Как же быстро гордость превращается в пыль, когда на кону не своя жизнь, а чужие.

— Заговор против короны карается болью и мучительной смертью, — произнёс я, чуть сжав пальцы на её талии. — Ты знала это. Они тоже.

Мой большой палец медленно, почти нежно прошёл по изгибу её бедра.

— Или ты думала, что правила существуют для кого-то другого?

Она сглотнула.

Горло судорожно двигалось. Я видел, как дрожит тонкая жилка на её шее, как зрачки мечутся, не находя точки опоры.

— Я умоляю тебя... — прошептала она. — Есть же что-то... что-то, что я могу сделать. Чего ты хочешь? Скажи. Я сделаю. Всё что угодно.

Я слегка отстранился. Но не отпустил.

Пальцы скользнули вверх по её рёбрам. Медленно. Невесомо. Как слепой, читающий текст по коже.

Она вздрогнула.

Мои руки были ледяными, а её тело раскалено от страха и адреналина.

И этот контраст — лёд по огню — вырвал из её горла тихий, произвольный звук. Не стон и не крик. Что-то между. Интимное и постыдное.

Я развернул её к себе.

Взял за подбородок жёстко, но не грубо. Заставил поднять лицо и смотреть.

Мои глаза — холодные, с интересом исследователя, наблюдающего за насекомым под линзой.

— Интересно, — протянул я, склонив голову. — Ты готова на всё, чтобы спасти их? Даже на то, что сломает тебя? Растопчет твои принципы? Твою гордость?

Её мысли метались, как загнанные звери в клетке.

Она знала: любой ответ — ловушка. Но молчание — ловушка ещё страшнее.

— Да, — выдохнула она наконец. — Даже на это.

Я улыбнулся.

Улыбка не тронула глаз, оседая на губах, как трещина на мёрзлой земле. Хищная. Предвкусная. Обнажающая зубы.

— Хорошо. Тогда скажи мне, что ты можешь предложить мне взамен на их жизни?

Тишина стала густой и липкой.

Заполняла пространство между нами, как болотная вода, пропитанная запахом каминной золы, свечного нагара и чего-то кислого, животного. Страха.

Где-то в утробе замка родился глухой стон: то ли ветер в дымоходах, то ли пленник в подвале, то ли сами камни оплакивали тех, кого поглотили.

Она стояла неподвижно.

Каждая мышца натянута, как струна на дыбе.

Но она держалась.

Из упрямства. Из той безумной, самоубийственной гордости, которая заставляет стоять, когда хочется рухнуть.

— Я сделаю всё, что ты захочешь, — произнесла она тихо и твёрдо, сквозь ком в горле, как нож сквозь мокрую глину.

Я отпустил её плечо.

Медленно. Палец за пальцем.

Наслаждаясь тем, как она вздрагивала от каждого отнятого прикосновения.

Обошёл вокруг неё.

— Хорошо. Тогда слушай условия. Внимательно.

Пауза. Тяжёлая, как петля.

— Ты станешь моей. Добровольно. Моей рабыней, моей вещью, моим инструментом для удовольствия.

Её глаза расширились.

Я продолжал ровным, будничным голосом, словно перечислял пункты торговой сделки:

— Ты будешь трахаться со мной — когда я захочу. Как захочу. В рот. В зад. Во все отверстия, которые я сочту нужным использовать. Ты будешь стонать, когда я прикажу. Кончать, когда я позволю. Терпеть боль, когда я так решу. Принимать унижение, если сочту нужным его даровать. Выполнять любой приказ — без вопросов, без оговорок, без попыток найти лазейку.

Пауза.

— Взамен твои близкие останутся в тюрьме. Условия не назовёшь приятными — сырость, крысы, темнота. Но и застенки Инквизиции не курорт. Они будут живы. Пока ты подчиняешься.

Я достал из нагрудного кармана новую сигарету. Чиркнул зажигалкой.

Дым потянулся к ней, обвивая её лицо призрачными пальцами.

— И относительно целыми. Но учти: любое сопротивление. Любая попытка обмануть. Любая хитрость — и их смерть станет медленной. Очень медленной. И ты будешь слышать каждый крик.

Тишина.

— Ты всё поняла?

Она сглотнула.

Я слышал этот влажный, судорожный звук. Видел, как дрогнул её кадык, как натянулась тонкая кожа на горле.

Я знал, какой ценой ей доставался каждый вдох.

— Я поняла вас, милорд, — ответила она едва слышно, прерывисто, но с ещё теплящейся искрой в голосе. — Я... согласна.

Последние крупинцы её достоинства рассыпались.

И я ощутил это на вкус.

Сладковато-металлический привкус чужой капитуляции на языке, как кровь из прикушенной губы.

Опьяняющий.

Я едва заметно кивнул. Без одобрения. Лишь констатируя.

Шахматная фигура сделала вынужденный ход.

Мат ещё не поставлен.

Но доска уже моя.

Я резко нажал на встроенную в стену кнопку звонка.

Резкая трель взорвалась в тишине сухим, хлестким звуком, как удар кнута по обнажённой спине.

Она вздрогнула всем телом.

Через мгновение в дверях вырос стражник. Высокий. Немолодой. С лицом из серого камня и глазами, в которых давно выгорело всё живое.

— Отведи её в спальню, — приказал я ровным, будничным голосом, словно о подаче ужина. — Я приду вечером. Тогда и начнём.

Последнее слово я произнёс чуть тише. Чуть мягче. Чуть интимнее.

И от этого оно звучало страшнее всего, что было сказано раньше.

Она рванулась вперёд, шагнула ко мне.

Но тяжёлая рука стражника легла на её плечо. Без жестокости. С механической точностью часового механизма.

— Пожалуйста, я хочу их увидеть, — её голос дрожал. — Хотя бы на мгновение. Убедиться, что они...

— Никаких «но», — перебил я, не поворачивая головы. Каждое слово — отточенное лезвие, рассекающее последние нити её иллюзий. — Не сейчас. Потом — может быть. Если будешь хорошо себя вести.

Лёгкая, почти ласковая пауза.

— И если мне с тобой... понравится.

Я позволил этому слову повиснуть в воздухе. Обнажённому. Непристойному в своей простоте.

Чтобы в её сознании промелькнуло всё: не просто послушание, а полное, безоговорочное подчинение тела и воли.

Без остатка.

Без надежды на спасение.

Стражник повёл её к выходу.

Она вздрогнула от его прикосновения. Грубая перчатка на тонком плече.

Но не сопротивлялась.

Шаг. Ещё один.

Как узник к эшафоту. Как невеста к алтарю, залитому не вином, а кровью.

Её спина оставалась прямой вопреки всему.

Но я видел отчётливо, с наслаждением знатока, как подрагивали плечи.

Не от рыданий.

От сдерживаемого крика. От ярости. От бессилия. От боли, запертой в груди, как зверь в железной клетке, рвущийся наружу и скребущий когтями рёбра изнутри.

2

Когда шаги Сильваны затихли в коридоре, я наконец позволил себе улыбку.

Холодную. Торжествующую.

Она скользнула по губам, как лезвие по коже. Острая. Опасная.

Сильвана уже моя.

Осталось лишь оформить сделку. И закрепить.

Я подошёл к стеклянному барьеру.

Джейкоб Этвуд стоял, выпрямившись вопреки цепям. Его осанка всё ещё хранила достоинство, будто он не в темнице, а на троне.

Жених (я так и не запомнил его имени), хоть и выглядел измученным, смотрел вперёд с упрямым вызовом. Его глаза полны невысказанной ненависти.

Их позы и взгляды вызывали у меня лишь лёгкое раздражение, смешанное с предвкушением. Острым, как голод перед пиршеством.

Я провёл пальцем по прохладному стеклу.

Гордые, как и она.

Интересно, сколько времени потребуется, чтобы сломить это упрямство? Неделя? Две? Или она окажется крепче, чем кажется?

В голове уже складывался план. Методичный. Выверенный, как часовой механизм.

Я раскладывал его по этапам, словно карты в пасьянсе, где каждый ход ведёт к неизбежному поражению противника.

В этом было что-то почти поэтичное. Превращение непокорной души в послушный инструмент.

Она думала, что спасает их.

Но на самом деле просто меняла их участь на свою.

Они останутся живы. Но потеряют её.

А она потеряет себя.

И в этом будет её величайшая жертва. Не физическая. Духовная.
В памяти всплыло её лицо.
Бледное. С расширенными от ужаса глазами, когда она произнесла: «Я согласна».
В тот момент в ней было что-то почти прекрасное: отчаяние, смешанное с решимостью.
Готовность пойти на всё ради тех, кого любит.
Как это трогательно.
Слепая преданность — ловушка.
Она не понимала, что именно привязанность делает её уязвимой. А меня — всесильным.
Меня всегда забавляли люди, готовые на всё ради других. Не понимающие, что их любовь становится ключом, которым я открою любую дверь.
Сильвана — особенно желанная добыча.
Не просто тело. Душа, которую я собираюсь подчинить целиком.
Её сопротивление лишь добавляет остроты: чем крепче скорлупа, тем слаще, когда она трескается.
Я сделал шаг к стеклу.
Джейкоб не отводил взгляда. В его глазах читалась ненависть. Чистая. Неприкрытая.
Жгучая, как пламя.
Ненависть — как эхо.
Но эхо не может ранить.
Я улыбнулся шире. Почти весело.
Игра начинала приносить настоящее удовольствие. Как в детстве, когда ломаешь чужую игрушку, а она всё ещё пытается пищать.
— Знаете, господа, у меня для вас отличная новость, — произнёс я вслух, обращаясь к пленникам, хотя знал, что они меня не слышат. — Ваша девочка только что согласилась стать моей шлюхой. Добровольно. Ради ваших драгоценных жизней.
Я тихо рассмеялся.
Звук отразился от каменных стен, заметался под сводами, как пойманная птица.
Как забавно.
Они стоят там, гордые, несломленные. И даже не подозревают, что их судьба только что была продана за мою постель, за мои прихоти, за моё «хочу».
Я поправил манжету.
— Не волнуйтесь, я буду с ней нежен. Ну, насколько умею. А умею я по-разному.
Ещё один смешок.
Внутри разливалось что-то тёплое, почти детское. Радость от осознания, что всё складывается именно так, как я задумал.
— Сегодня вечером всё начнётся, — произнёс я почти шёпотом, но с отчётливой ноткой торжества. — И я буду наслаждаться каждым мгновением.
Слова звучали тихо.
Но в них было столько веса, что, казалось, они оседали на пол тяжёлыми каплями свинца.
Я уже видел это: её дрожащие руки. Её взгляд, в котором страх смешается с чем-то ещё.
С тем, что она сама пока не осознаёт.
С проблеском, который я разожгу в ней вопреки её воле.
Уже разжёт.
Осталось лишь подбросить в это пламя дров.
Это будет не просто покорность. Слияние.
Её тело — моё. Её душа — тоже.
С каждым днём она будет всё глубже погружаться в эту игру, пока не забудет, что когда-то была кем-то другим.
Я последний раз взглянул на пленников.

Джейкоб всё ещё стоял прямо. Но в его позе появилась едва уловимая усталость. Плечи чуть опустились под тяжестью цепей и времени.

Жених опустил голову. Но кулаки оставались сжатыми, будто в них — последняя нить его воли.

Они верили во что-то. В справедливость, в честь, в судьбу.

Как наивно.

Есть только власть.

И сейчас она в моих руках. Холодная. Твёрдая. Абсолютная.

Я повернулся.

И, насвистывая «Sweet Dreams», направился к выходу.

«Sweet dreams are made of this... Who am I to disagree?»

Я усмехнулся.

«Everybody's looking for something...»

Она искала свободу.

А нашла меня.

«Some of them want to abuse you...»

Дверь за мной закрылась.

Здесь становилось скучно.

Настоящая игра только начиналась.

Глава 6

Глава 6

Алхимия Боли

«Первый глоток. Первое "да". Первое "я попробую". С этого начинается падение».

Сильвана

1

Я стояла у окна.

Закат угасал. Багряные полосы на полу меркли, съёживались, уползали в углы.

Скоро — темнота.

Я обхватила себя руками. Дрожь не унималась. Холод пробирал до костей. До сердца.

Сковывал.

В висках стучало: отец. Тед. Что с ними сейчас? Знают ли они, что я уже продала себя?

Мысли резали как лезвия. Без остановки. Без пощады.

Я закрыла глаза.

Пыталась убедить себя: выбора не было. Он заставил. Это его воля. Не моя.

Не помогало.

Потому что было ещё что-то.

Под стыдом. Под виной. За стеной безысходности.

Тёмное. Тёплое. Живое.

Не ужас перед тем, что должно произойти.

Любопытство. Болезненное. Сплетённое с тревогой.

Тот самый трепет, от которого по спине пробегает огонь. От которого в груди сжимается что-то запретное.

Я должна ненавидеть его. Должна бороться.

Но почему тогда тело дрожит при одной мысли о нём?

Почему так волнуют его прикосновения? Голос? Взгляд?

Почему я жду его не только со страхом?

Эта мысль обожгла.

Я заставила себя замолчать.

Отец. Тед.

Они в камере. В цепях. Из-за меня.

Они пришли за мной. И попали в ловушку.

А я стою здесь. В его спальне. И думаю о его прикосновениях.

Тварь.

Я тварь.

Стыд накатил волной. Удушающий. Горячий. От груди — к горлу.

Я прижала ладонь ко рту. Сдерживая то ли всхлип, то ли крик.

Пальцы дрожали. Губы сухие. Горячие.

А под стыдом — то же самое.

Предвкушение. Не того, что он сделает. А того, что я почувствую, когда он это сделает.

Я ненавидела себя.

Всё замерло.

Ветер за окном стих. Тишина стала осязаемой. Густой. Удушающей.

Скрип двери.

Я вздрогнула. Обернулась.
Слуги.
Молчаливые тени.
Я отступила. Прижалась спиной к холодному стеклу.
Они двигались бесшумно. Раскладывали на низком столике у камина: фрукты, ломти холодного мяса, графин с тёмно-красным вином. И — бутылку абсента.
Изумрудное стекло мерцало в полумраке.
Я вспомнила, что несколько дней почти ничего не ела.
Желудок скрутился болезненным узлом. Тошнота подступила к горлу.
Но я не прикоснулась к еде. Всё казалось отравленным. Не ядом. Смыслом.
Каждый плод. Каждый ломтик мяса. Каждая капля вина несли в себе отпечаток того, что ждёт впереди. Неизбежного. Неотвратимого.
Эта еда — не забота.
Подготовка.
Он хотел, чтобы у меня были силы.
Для чего?
Ответ пришёл сам.
И от него стало жарко. Не от страха. От того, что тело уже знало ответ. И отзывалось на него.
Слуги исчезли. Оставили после себя лёгкий запах воска и металла.
Запах власти. Незыблемого порядка, против которого я бессильна. Как мотылёк перед пламенем.
Я снова повернулась к окну.
Страх облеплял кожу. Липкий. Холодный.
Пульс в ушах заглушал всё. Гулкое эхо, отсчитывающее мгновения.
Раздался другой звук.
Дверь открылась шире.
В проёме — Диамант.
Спину свело. Мышцы окаменели.
Но я не обернулась. Боялась, что он увидит мой ужас. Прочитает его в каждом движении.
В каждом дрожащем вдохе.
Воздух застрял в горле. Будто кто-то сжал его железной хваткой.
Я стиснула кулаки.
Он здесь.
Началось.
Я ощущала себя зверем, почуявшим хозяина.
2
Диамант вошёл без приветствия.
Его силуэт на мгновение застыл в раме двери, затем он шагнул вперёд, растворяясь в полумраке.
Пламя свечей дрожало, отражаясь в его глазах. Холодных. Проницательных. Как два осколка льда, в которых таилась бездна.
Кровь отлила от моего лица. Ладони стали влажными.
Я попыталась отступить, но ноги словно приросли к полу.
Лёгким, почти небрежным кивком он указал на кресло напротив. Массивное, с резными дубовыми подлокотниками, обитое тёмно-бордовым бархатом.
— Присаживайся, — произнёс он, растягивая слова с напускной участливостью. — Ты, должно быть, голодна.
Уголок его губ чуть дрогнул, будто он сам не верил в собственную заботу.

Он опустился в кресло. Достал тонкую вишнёвую сигарету, щёлкнул позолоченной зажигалкой. Огонёк на мгновение высветил безупречные черты и ироничный изгиб губ.

Затянулся. Выпустил дым тонкой струйкой.

Бросил на меня оценивающий, изучающий взгляд.

Я медлила.

Каждый мускул натянут, как струна.

Затем осторожно присела на самый край кресла, едва касаясь сиденья. Готовая в любой момент вскочить.

Мой взгляд не отрывался от него. Настороженный. Цепкий. Ловящий малейшее движение.

Он, словно не замечая моего напряжения, потянулся к бутылке абсента.

Налил себе щедрую порцию с расчётливой неторопливостью. Хрустальные грани рюмки ловили свет свечей и рассыпали по столу радужные блики.

Поднёс напиток к губам, наблюдая за мной сквозь дымный завиток. Пальцы слегка постукивали по краю бокала. Едва заметный, но чёткий ритм.

— Выпей, — сказал он, кивнув на графин с тёмно-красным вином. — Это поможет расслабиться.

Я даже не притронулась к бокалу.

Скрестила руки на груди и опустила голову, словно пытаюсь защититься от невидимого холода, проникающего в комнату вместе с густеющим сумраком.

— Я не хочу, — ответила я тихо, но твёрдо. — И я не алкоголик, в отличие от некоторых. Тяжёлая тишина.

Слышны лишь потрескивание свечей и едва уловимое шипение тлеющей сигареты.

Он медленно поднял глаза.

Во взгляде вспыхнуло что-то опасное. Не гнев. Холодное, расчётливое раздражение.

Губы изогнулись в усмешке. Медленной. Ленивой.

Но глаз она не согревала.

— Алкоголик? — растянул он слоги. — Ну прекрасно. Дай-ка припомнить, кто я там ещё? Садист, насильник... теперь ещё и алкоголик. За двадцать один год жизни не выслушивал о себе столько лестных эпитетов. Ты прямо-таки мастер комплиментов, Сильвана. При том, что я ни разу не сказал тебе ничего грубого. Ну, если только в пылу страсти, но это не считается.

Он крутил бокал между пальцами, разглядывая зелёную жидкость.

Затем сделал неторопливый глоток, не сводя с меня глаз.

— Вообще, знаешь, алкоголь — это лишь инструмент, — продолжил он, постукивая ногтем по стеклу. — Как и ты. И, как любой инструмент, ты должна быть готова к использованию в любой момент.

Я сжала кулаки. Подняла взгляд.

— Я не инструмент, — сказала я.

— Ты сама сделала себя таковым, — перебил он, ставя бокал с негромким стуком.

Наклонился вперёд, оперев ладони в полированную столешницу.

Древесный аромат старого дуба смешивался с запахом табака и абсента. Тяжёлый. Дурманящий.

— Но если тебе так важно сохранить иллюзию достоинства, давай сыграем в твою игру. Ты не алкоголик. Ты просто... уставшая. Голодная. Испуганная. И вино поможет тебе справиться с этим.

Его голос стал мягче. Почти ласковым.

И от этого — ещё более угрожающим.

— Или ты думаешь, что можешь отказаться? — добавил он, чуть приподняв бровь. — После всего, что ты пообещала?

Я вскинула голову.

Внутри всё сжалось. Но — не от страха. От ярости.

— Ты обещал отпустить меня, — произнесла я тихо, но чётко. — Вчера ночью. Ты сказал: когда захватишь отца — отпустишь. Ты не сдержал слово.

Он не поморщился. Не отвёл взгляда. Только улыбнулся шире.

— Обещал отпустить, — повторил он медленно, смакуя слова. — Когда наиграюсь. А я, Сильвана, ещё даже не начал. Так что — нет. Пока не получу всё, что хочу.

Он откинулся на спинку кресла. Затянулся. Выпустил дым.

— К тому же, — добавил он ехидно, — твой отец и жених здесь. В моём замке. Под моей охраной. И знаешь, что я подумал? Не хочу разлучать такую замечательную семью. Пусть побудут рядом. Пока ты будешь рядом со мной. Все вместе. Как одна большая счастливая семья.

Я задохнулась.

От ярости. От унижения. От того, что он прав. Они здесь. Из-за меня. И он будет использовать это. Снова и снова.

— Ты — мерзавец, — процедила я сквозь зубы. — Ты играешь с ними. Как с пешками. Ты не имеешь права...

— Имею, — перебил он спокойно. — Я герцог. Я закон. А ты — моя собственность. С сегодняшнего вечера. Забыла?

Он наклонился вперёд. Голос упал до интимного шёпота:

— И собственность не спорит. Собственность подчиняется. Пьёт вино, когда ей велят. Ест, когда ей разрешают. И делает всё остальное — когда я скажу.

Пауза.

Он посмотрел на меня. Долго. Изучающе.

— Так что — пей. Или я позову стражника. И мы проверим, насколько далеко ты готова зайти в своём сопротивлении.

Он снова откинулся. Затянулся. Медленно. Выпустил дым.

И — заговорил снова. Тише. Доверительнее. Как будто делился секретом.

— И знаешь, зачем я настаиваю? — спросил он. — Не из заботы о твоём здоровье. Мне плевать, упадёшь ты в обморок или нет. Просто мёртвая подстилка — это скучно. А я не люблю, когда мне скучно.

Пауза.

Сверкнул глазами. Откинулся. Закинул ногу на ногу.

— К тому же мне нравится смотреть, как ты давишься. Это... возбуждает.

Каждое слово впивалось под кожу, оставляя невидимые рубцы.

— Давай, — растянул он слово, как леденец. — Один бокал. И тогда ты сможешь есть. И говорить. И... дышать.

Голос снова упал до шёпота, от которого по спине бежали мурашки.

— А если будешь хорошей девочкой, я, может быть, даже позволю тебе кончить сегодня. Если попросишь. Красиво.

Я схватила бокал слишком резко. Вино качнулось, едва не расплескавшись.

Стекло холодное, почти ледяное. Пальцы дрожали.

Вино густое, тяжёлое, ловящее свет, будто в его глубине таились все мои страхи.

Я поднесла бокал к губам.

Замерла.

— Боишься? — прошептал он, чуть подавшись вперёд. — Или просто не хочешь признать, что уже подчиняешься?

Я закрыла глаза.

Разум кричал о сопротивлении. Но внутри бушевало всё разом: стыд, гнев, ужас.

А на самом краю сознания — странное, постыдное любопытство.
Что будет дальше? Как далеко он зайдёт?
Я сделала глоток.
Резкий. Почти судорожный.
Горло сжалось, но я заставила себя проглотить.
Во рту — металлический привкус страха. В горле — горьковатый жар. Глаза затуманились, но не от алкоголя.
От осознания: шаг уже сделан.
Один бокал — мелочь.
Я выдержу.
Главное — выиграть время и найти лазейку.
Вино обжигало горло.
Но где-то глубоко внутри ещё теплилась искра.
Она не погасла.
Пока.

Диамант

1

Я отвёл взгляд от бокала в её руке.
Он так и остался недопитым. Тёмная жидкость едва колыхалась.
Я посмотрел на неё. Не мягко. Не сочувственно.
Холодно. Как хищник, который проверяет, насколько глубоко вошла ловушка.
Выпрямился в кресле.
Поза стала жёсткой. Небрежная учтивость сползла. Под ней — сталь.
— Раз уж ты приняла новую роль, — начал я ровно, — обозначим условия. Чтобы не было недоразумений.
Пауза.
Слова осели в тишине.
— Первое. Ты всегда говоришь мне правду. Любая ложь — даже мелкая, даже из страха — будет наказана. Я не терплю обмана. Понятно?
Она сглотнула.
Кивнула. Коротко. Судорожно.
Губы дрожали. Пальцы вцепились в ткань платья.
— Второе, — продолжил я. — Ты не прикасаешься ко мне без разрешения. Ни руками, ни чем-либо ещё. Даже случайно. Любое нарушение — неповиновение. А неповиновение я пресекаю жёстко.
Мягкость в голосе. Угроза — в паузе.
— И третье. Ты подчиняешься всем моим желаниям. Без вопросов. Без колебаний. Без попыток торговаться. Любое «нет» с твоих уст будет стоить жизни тем, кого ты спасала. Понимаешь, о чём я?
Она закрыла глаза.
На мгновение. Пыталась удержаться между яростью и безысходностью.
Я видел, как сжимается её горло. Как белеют костяшки.
— Понимаю, — выдавила она.
Я склонил голову.
Оценивал. Не слова. Дрожь в голосе. Блеск в глазах. Побелевшие кулаки.
Потом откинулся назад. Расслабился. Будто не выстроил перед ней стену из лезвий.
Движения плавные. Ленивые.
Но в них — уверенность человека, который никогда не сомневается в своей власти.

— Хорошо. Теперь о привилегиях. Ты можешь ходить по замку. Кроме нескольких закрытых помещений. О них узнаешь позже. Двор. Парк. Библиотека. Столовая. Ты не заперта в четырёх стенах. Но помни: это не милость. Это инструмент. Чтобы ты не превратилась в тень раньше времени.

Я взял новую сигарету. Закурил.

Дым поплыл между нами. Размывая её фигуру. Делая её призрачной.

— Ты сохраняешь видимость свободы, пока выполняешь условия. Стоит оступиться — всё изменится. Не будет ни парка, ни солнца. Будешь сидеть в темноте. Пока я не решу напомнить о себе.

Её пальцы сжались в кулаки.

Она хотела что-то сказать. Возразить. Напомнить о чести. О достоинстве. О том, что она не вещь.

Но слова застряли в горле.

Потому что за моими словами стояла не угроза.

Обещание.

Холодное. Выверенное. Как удар клинка.

— Итак, — я стряхнул пепел. — Ты принимаешь условия? Или начнём с наказания, прежде чем ты усвоишь первый урок?

Тишина.

Свечи мерцали. Тени дрожали на стенах. Каждый удар сердца — как приговор.

Она подняла голову.

Взгляд твёрдый. Несмотря на бурю внутри.

Собрала остатки воли. Сжала в кулак.

— Я... принимаю, — произнесла тихо, но отчётливо. — Условия поняла.

Глаза на мгновение потухли.

И тут же вспыхнули. Слабым огоньком сопротивления.

Я улыбнулся.

Пальцы сжали сигарету крепче.

Улыбка затвердела. В ней не было тепла. Только холодная удовлетворённость охотника, поймавшего добычу.

— Отлично, — сказал я. — Считаю, договор вступил в силу. С этого момента ты — моя. Полностью.

Она кивнула.

Горло сжималось. Но она удерживала слёзы. Не из гордости. Из страха, что они станут ещё одним доказательством её слабости.

— Милорд... — голос дрожал. Но она заставила себя продолжать. — Пожалуйста. Умоляю. Позвольте навестить близких. Хотя бы на несколько минут.

Я откинул прядь с лица.

Смотрел на неё. Задумчиво.

Взгляд скользил по лицу. По сжатым кулакам. По дрожи в плечах.

Изучал. Оценивал степень отчаяния. Искал хитрость.

Прошло несколько мгновений. Потом я заговорил:

— Знаешь, это зависит от тебя. Если мне сегодня всё понравится — я подумаю. О решении сообщу утром.

Она кивнула.

Коротко. Почти незаметно.

В этом движении — вся её беспомощность. Вся обречённость.

Слова не нужны.

Я уже знал ответ.

Игра началась.
И я уже выиграл.

Сильвана

1

В голове крутились обрывки воспоминаний.
Острые осколки разбитого зеркала. Каждый ранил заново.
Я не могла забыть тот день.

Площадь перед замком. Залитая полуденным солнцем. Ярким. Почти издевательски радостным.

Толпа — плотная, как стена. В ней — моё собственное застывшее лицо. Множащееся в десятках чужих взглядов.

Крики проникали сквозь ладони, которыми я зажимала уши. Пробирались под кожу. Впивались в мозг.

Сначала резкие. Пронзительные. Полные животной паники.
Потом приглушённые. Надломленные. Переходящие в хрип.
А затем — тишина. Тяжёлая. Липкая. Страшнее самих криков.

Я снова видела женщину в голубом платке. Она всё звала: «Маркус! Маркус!» Пока её не утащили прочь.

Её голос до сих пор звучал в ушах.

Запах гари до сих пор стоял в носу. Хотя прошло столько дней.

Тени палачей растянулись по мостовой. Длинные. Зловещие.

Лица — искажённые болью. Глаза — расширенные от осознания неизбежного.

В каждом — одна и та же последняя мысль: «Это правда происходит со мной?»

Я помнила первого.

Мужчина. Лет сорока. Крепкий. Руки в мозолях. Кузнец, или плотник. Кто-то, кто работал руками всю жизнь.

Его привязали к четырём лошадям.

Он не кричал. Сначала. Только смотрел. На толпу. Искал кого-то. Не нашёл.

Потом закричал.

Лошади рванули в разные стороны.

Я услышала хруст. Не костей. Сухожилий. И крик. Короткий. Оборвавшийся.

Я не смотрела. Отвернулась. Но услышала.

И это осталось во мне. Навсегда.

Второго я видела.

Молодой. Лет двадцати. Может, младше. Совсем мальчишка. Испуганный, бледный.

Его не четвертовали. Его сожгли.

Живого. На костре.

Он кричал долго. Очень долго.

Пламя лизнуло его ноги. Потом — бёдра. Потом — живот.

Он бился в верёвках. Кожа лопалась. Пузырилась. Жир шипел. Трещал.

Запах — сладковатый. Тошнотворный. Я не могла его забыть.

Он перестал кричать не сразу. Голос сорвался раньше. Он только сипел. Хрипел. Дёргался.

А потом — затих.

Но огонь не погас. Ещё долго. Очень долго.

Я стояла. Смотрела. Не могла отвернуться.

Потому что он смотрел на меня. Через пламя. Через дым.

И я не могла уйти.

Ногти впились в ладони.

Боль — острая. Реальная. Помогала удержаться на краю.

Но ужас — сильнее.

Холодный. Всепроникающий. Заполнял каждую клетку, просачивался в кровь. В мысли. В дыхание.

Холод камня пробирался сквозь тонкую ткань платья. Заставлял тело содрогаться мелкой дрожью. Пальцы немели.

Наконец я собрала всю волю в кулак.

Каждое слово приходилось выталкивать из себя. Преодолевая невидимую преграду, сдавившую горло.

— Я... я боюсь вас.

Слова вырвались тише, чем я рассчитывала.

Но он слышал.

Его бровь едва заметно изогнулась. Пальцы чуть сжались на подлокотнике кресла.

Не эмоция. Интерес. Интерес исследователя, столкнувшегося с неожиданным феноменом.

— Боишься? — переспросил он, неспешно откидываясь назад.

Поза расслабленная, почти ленивая.

Но взгляд пристальный. От него вдоль позвоночника пробежал ледяной след.

— Боюсь не просто потому, что вы сильнее, — продолжила я, сжимая края платья так, что пальцы белели. — А потому, что знаю: вы способны на всё. Я видела, что вы делаете с теми, кто вам негоден.

Запах воска от свечей смешивался с терпким, почти осязаемым запахом моего страха.

Вкус соли на губах заставил вздрогнуть.

И это ощущение казалось унижительным.

Но я не отмахивалась от него. Пусть видит. Пусть знает, что за этой хрупкой оболочкой — живая женщина. А не кукла для его игр.

«Может, если он увидит, как мне страшно, он пожалеет? Нет. Но, может, станет предсказуемее. Если я назову страх, он перестанет управлять мной».

— Эти казни... эти методы... — произнесла я. — Они не были просто наказанием. В них было что-то большее. Что-то личное. Будто вы получали от этого удовольствие.

Он не перебивал.

Лишь слегка наклонил голову. В его взгляде не было гнева. Только холодный, почти научный интерес.

Он медленно соединил кончики пальцев. Словно взвешивая мои слова. Раскладывая их по полочкам расчётливого разума.

— И теперь я думаю... — я сглотнула, пытаюсь унять трепет. Но слова всё равно выходили надломленными. Рваными. Сквозь ком в горле. — Что если вы делали это с другими, то что ждёт меня? Вы ведь можете изуродовать меня. Искалечить. Лишить того немногого, что у меня осталось: лица, тела, разума...

Пауза.

— Я знаю, что не имею права просить пощады. Знаю, что уже согласилась на всё. Но... я просто хочу, чтобы вы поняли: я не храбрая. Я боюсь. Боюсь так, что иногда не могу дышать. Боюсь просыпаться по утрам, потому что не знаю, какой новый ужас вы придумаете. Боюсь засыпать, потому что во сне вижу ваши глаза — холодные, равнодушные... А я жить хочу, понимаете? И желательно сохранив внешний вид и конечности. Не как те, кого ты... кого ты...

Голос сорвался.

Слова застряли в горле. Превратились в обжигающий, удушающий комок.

Я закрыла лицо руками. Пытаясь спрятаться хотя бы на мгновение.

Но тут же опустила их. Заставляя себя смотреть на него. Прямо. Открыто. Беззащитно.
— Прости, — произнесла я. — Я не должна была этого говорить. Но я больше не могу держать это в себе. Это съедает меня изнутри. Как кислота. Если ты собираешься сломать меня — сделай это сразу. Потому что ожидание... ожидание — это самое страшное.

Тишина повисла между нами.

Тяжёлая. Свинцовая. Давящая.

Свечи мерцали. Отбрасывая дрожащие тени.

И в этом полумраке повисло моё обнажённое признание. Словно оголённый нерв.

Диамант

1

Я рассмеялся.

Легко. Почти беззаботно.

И этот смех резанул её: я видел, как дёрнулись её плечи, как поднялись к ушам, будто тело пыталось свернуться в кокон.

Глаза расширились не от гнева.

От непонимания.

Именно этого я и добивался: пусть чувствует диссонанс. Пусть осознаёт, что мои правила — не её мораль.

Я откинулся в кресле. Провёл ладонью по лицу медленно, словно стирая маску серьёзности и обнажая что-то под ней. Что-то худшее.

Смотрел на неё с ленивой, почти ласковой иронией.

Пальцы начали отстукивать ритм по подлокотнику. Тихий. Мерный. Как удары метронома в пустой комнате.

Она всё ещё верила в чёрное и белое.

Как трогательно. Как удобно.

— Нет, ты абсолютно правильно сделала, что сказала мне, — протянул я, наклоняя голову и разглядывая её, как редкую гравюру при неверном свете. — Так вот в чём причина? Ужас?

В комнате слышался треск поленьев в камине. Тень от пламени металась по стене. Длинная. Изломанная. Похожая на вскинутую руку.

— Позволь мне кое-что объяснить, — продолжил я. — Мне стоило сделать это в самом начале, но я не учёл твоей... неопытности. Моя ошибка, признаю.

Я перевёл взгляд на огонь, потом снова на неё.

Голос стал мягче. Тише. Опаснее.

— Ты думаешь, что всё это — то, что ты видела, и то, что я предлагаю тебе, — это одно и то же?

Она молчала.

Сначала отвела глаза. Щека дёрнулась. Ресницы трепетали. Она нервно облизнула пересохшие губы.

Но потом, вопреки себе, приготовилась слушать по-настоящему.

Я встал.

Звук моих шагов по каменному полу — размеренный, тяжёлый, гипнотический — заполнял комнату. Каждый удар каблука отдавался в её позвоночнике.

Я видел это по тому, как сжимались её пальцы на подлокотнике при каждом моём шаге.

Обернулся. Впился в её зрачки пронзительным, немигающим взглядом.

— Скажи мне, — произнёс я. — Ты когда-нибудь слышала о садомазохизме?

Вопрос ударил так неожиданно, что на секунду вышиб из неё весь ужас.

Осталось только недоумение. Чистое. Детское. Почти комичное.

— Что?.. — выдавила она хриплым голосом. — Прости, я не понимаю...

Я усмехнулся.

Без злобы. С тем холодным любопытством, с которым алхимик наблюдает, как меняет цвет раствор в реторте.

— Ясно. Впрочем, чего ожидать от той, кто ещё вчера была девственницей. Это не пытки, Сильвана. Не страдание ради страдания. Это — искусство. Игра. Танец на лезвии. И наслаждение, какого ты больше нигде не найдёшь.

Я медленно обошёл её кресло.

Не как хищник. Как скульптор, обходящий незаконченную работу и примеряющийся, где нанести следующий удар резца.

Запах каминного дыма мешался с моим одеколоном. Корица, гвоздика и что-то горькое, тёмное, похожее на ладан.

Этот аромат окутывал её, проникал в ноздри, оседал на языке.

— Пытка — это грубость, — произнёс я. — Инструмент власти, лишённый изящества. Ты ломаешь человека, чтобы сказать: «Смотри, я могу».

Остановился у камина, так что огонь очерчивал мой силуэт рыжей каймой.

— Да, я использую настоящие пытки. Когда необходимо. И, признаюсь, особого удовольствия мне это не доставляет. Разве что... с научной точки зрения. В любом случае, то, что я предлагаю тебе, — другое.

Развернулся. Шагнул к ней.

Остановился так близко, что она могла чувствовать жар моего тела сквозь ткань.

Голос стал тише и вкрадчивее, как шёлк, скользящий по обнажённой коже:

— Отношения доминанта и сабмиссива — это когда ты даришь боль, чтобы подарить наслаждение. Когда ведёшь партнёра по самому краю — но не позволяешь упасть. Когда каждое прикосновение, каждый шёпот, каждая капля крови — нота в симфонии.

Слова рассыпались в её сознании стеклянными осколками.

Я видел, как она пыталась собрать их воедино и не могла: не укладывалось, как можно говорить об этом с таким спокойствием и такой страстью.

— Ты смотришь на меня, как на чудовище, — заметил я, чуть приподняв бровь. — Но ты ведь уже почувствовала это. Вчера. Когда я взял тебя.

Шаг ближе.

Она ощущала запах моей кожи. Тёплый. Солоноватый. С нотой табака.

— Было больно. Грубо. Унизительно. Но ты кончила.

Я наклонился к ней так, что мои волосы скользнули по её щеке.

— Ты не можешь перестать об этом думать. Я вижу, как ты смотришь на меня. Как расширяются твои зрачки. Как учащается пульс вот здесь...

Кончики моих пальцев скользнули по её шее, едва касаясь.

Нашли бьющуюся жилку под челюстью.

Замерли.

— Ты хочешь ещё. И получишь. То, что было вчера, — лишь увертюра. Я заставлю тебя чувствовать то, о чём ты не подозревала. Экстаз от боли. Оргазм от подчинения.

Моя рука поднялась выше.

Пальцы скользнули по её подбородку едва, призрачно, как касание крыла ночного мотылька.

По её телу прошла волна дрожи. Крупная. От горла до бёдер.

— Ты думаешь, это страшно? — продолжил я, чуть отстранившись, но не отпуская её взглядом. — Нет, Сильвана. Это прекрасно. Это танец, в котором ты будешь ведомой, а я — ведущим. Ты научишься любить боль, потому что за ней всегда будет награда. Научишься просить о большем. Потому что только через край — к вершине.

Она молчала.

Долго. Слишком долго.

А потом — заговорила.

Тихо. Хрипло. Но — не отводя глаз.

— Я не понимаю, — произнесла она. — Ты говоришь о боли. О наслаждении. О крае. Но как это может быть вместе? Боль — это боль. Она не может стать чем-то другим.

Я улыбнулся.

Медленно. Смакуя.

— Может, — сказал я. — И ты уже это знаешь. Просто боишься признать.

Я провёл пальцем по её запястью. Медленно. От пульса — к ладони. Потом — обратно.

— Вот здесь, — произнёс я, — бьётся твоя кровь. Сейчас — часто. Потому что ты боишься. Но если я сожму чуть сильнее — что ты почувствуешь?

Я сжал.

Не сильно. Достаточно, чтобы она почувствовала давление. Пульс под пальцами участился.

Она вздрогнула.

— Боль? — спросил я. — Или — что-то ещё?

Она не ответила.

Но я видел ответ. В её глазах. В том, как расширились зрачки. Как дыхание сбилось. Как она не отстранилась.

Я отпустил.

Медленно. Палец за пальцем.

— Вот видишь, — сказал я тихо. — Ты уже поняла. Просто ещё не приняла.

Она сглотнула.

Горло двинулось. Тонкая жилка на шее задрожала.

— Я вчера обещал объяснить тебе, что такое сабмиссив, — продолжил я. — Наглядно. Но, пожалуй, сначала попробую сделать это словами. А то ты упадёшь в обморок от страха.

Она вскинула голову.

В глазах — искра. Не ужас. Что-то другое. Любопытство. Под ужасом. Но — есть.

— Я уже говорил, что сабмиссив — это тот, кто отдаёт себя добровольно, — сказал я. — Потому что хочет. Потому что тело требует этого. Власти над собой. Боли, которая становится удовольствием.

Она нахмурилась.

Слушала. Внимательно. Как будто пыталась понять не слова. А то, что за ними.

— То есть — это как рабство? — спросила она тихо.

— Нет, — ответил я. — Рабство — это когда тебя заставляют. Сабмиссив — это когда ты сама выбираешь. Каждый раз. Каждый день. Каждую секунду. И именно в этом — свобода.

Она замерла.

Слова ударили в мозг. И она явно не хотела их туда пускать. Но впускала.

— Свобода в подчинении? — переспросила она. — Это звучит как бред.

— Это звучит как правда, — ответил я. — Просто ты ещё не готова её услышать.

Она молчала.

Долго.

Потом — подняла глаза и спросила.

Тихо. Но чётко.

— А ты? — произнесла она. — Ты — доминант?

Я не отвёл взгляда.

Улыбнулся.

— Да, — ответил я просто. — С огромным опытом. Больше, чем ты можешь себе представить.

Пауза.

Я шагнул ближе.

— Обрати внимание, — продолжил я, понизив голос. — Вчера я не причинил тебе никакого вреда. Ни единого синяка, который не зажил бы за ночь. Ни единой раны, которая требовала бы лечения. Боль, которую ты чувствовала, — была болью наслаждения. Не разрушения.

Я наклонился к её уху.

— Мой интерес — не в том, чтобы тебя калечить, — прошептал я. — Мой интерес — в том, чтобы ты сама пришла ко мне. Сама попросила. Сама отдала себя. Полностью. Без остатка. Вот что мне нужно.

Окинул её взглядом. Не хищным, как прежде. Почти отеческим.

— Знаешь, что самое забавное? — произнёс я. — Пока ты следуешь правилам, тебе нечего бояться. Кроме, пожалуй... собственных ощущений.

Последнее слово я выдохнул так, чтобы оно коснулось её кожи, как сквозняк из приоткрытой двери в незнакомую комнату.

Она медленно подняла руку.

Пальцы дрожали.

Она хотела коснуться моего лица, проверить, реален ли я.

Но в последний миг одёрнула руку и сжала в кулак.

— О, вижу, — протянул я. — Ты уже рисуешь себе картины. Сломанные кости. Отрезанные пальцы. Кровь на камне.

Пауза.

Я позволил тишине набухнуть, как нарыву.

— Ну что ж, ради твоего спокойствия: обещаю не ломать тебе кости и не отрезать конечности. По крайней мере — без твоего явного согласия.

Она молчала.

Но я видел не глазами, а тем чутьём, которое не подводило меня никогда: где-то в глубине, за стеной ужаса, шевельнулось нечто новое.

Не согласие. Ещё нет.

Но уже не отрицание.

Я отстранился.

Смотрел на неё.

Она не отвела взгляда.

Впервые.

Я подошёл к камину, оперся о полку.

Смотрел, как пламя корчится в топке. Рыжее. Жадное. Облизывающее поленья с хрустом, похожим на шёпот.

Жар лизал мне скулу. Огонь отбрасывал блики на лицо.

Я знал, как это выглядит со стороны: то ли демон, вышедший из преисподней, то ли бог, снизошедший до разговора со смертной.

— Я... скажем так, предпочитаю такой вид отношений давно. С пятнадцати лет, если уж быть честным, — продолжил я, не оборачиваясь. — Не надо так на меня смотреть, я прекрасно знаю, чем являюсь с точки зрения всяких там моралистов. Но поверь — меня это давно не волнует.

Я повернулся.

Медленно. Как поворачивается стрелка на циферблате, отсчитывая последние секунды.

— Я владею этим искусством в совершенстве.

Губы тронула улыбка.

Тонкая, как порез бритвой.

Она молчала.

Пальцы вцеплялись в подлокотники кресла. Глаза широко распахнулись и блеснули в свете свечей.

В них был ужас. Но не только.

Под ужасом, как течение подо льдом, — постыдное, горячее любопытство.

Я смягчил голос. Сделал его почти ласковым, бархатным.

Двинулся к ней.

Шаг. Пауза. Ещё шаг.

Половицы стонали под моим весом.

Остановился в шаге.

— Не смотри так, будто я рассказываю тебе о чём-то чудовищном, — сказал я. — В этом нет ничего ужасного. Это просто... знание. Знание о том, как тело и разум отвечают на определённые прикосновения. Слова. Запахи. Как страх плавится — и превращается в возбуждение. Как боль перетекает — и становится наслаждением. Это алхимия, Сильвана. Самая древняя из всех.

Я протянул руку.

Не как хищник. Как наставник, открывающий ученику страницу запретной книги.

Кончик моего пальца коснулся её запястья. Там, где под тонкой кожей бился пульс. Частый. Горячий.

Прикосновение лёгкое, едва ощутимое.

Она вздрогнула всем телом.

— Я контролирую себя. Всегда. Безупречно, — мой голос стал твёрже, как остывающая сталь. — Я знаю пределы. Знаю грань. Знаю, как довести до самого края — туда, где дыхание рвётся и мир сужается до единственной точки, — и вернуть обратно. Целой. Невредимой. Преображённой. Это не жестокость, Сильвана. Это мастерство.

Я наклонился ближе.

Так, что мог различить крошечные золотые крапинки в её радужке и ощутить её дыхание. Частое. Рваное. Пахнущее страхом и мятой.

— Так что перестань дрожать. Ты в надёжных руках. Хотя надёжность... это понятие относительное. Особенно когда речь идёт обо мне. Не так ли?

Моя ладонь мягко, но неотвратимо легла на её плечо.

Тепло её тела просачивалось сквозь тонкую ткань.

Под моими пальцами — хрупкая ключица, напряжённая мышца, бешеный пульс в ярменной ямке.

Тишина повисла в комнате. Плотная. Как бархат, пропитанный дымом и воском.

Свечи мерцали.

Тени на стенах корчились, вздрагивали, сплетались. Чёрные пальцы, тянущиеся к потолку.

Где-то скрипнула половица.

Или это замок вздохнул, прислушиваясь.

Я медленно провёл рукой по воздуху. Плавно. Властно.

Как дирижёр перед первым аккордом.

Они все танцуют.

Тени, свечи, она, весь этот мир.

Под мою музыку.

Сильвана

1

Диамант улыбнулся мягче. Почти ласково.

И в этой улыбке проступило что-то интимное, от чего моё сердце сбилось с ритма.

В его голосе снова звучала ирония, но теперь почти тёплая. Почти дружелюбная.

Он словно предлагал сделку: принять его правила, довериться его опыту — и тогда я увижу мир с другой стороны. Мир, где страдание и наслаждение сплетаются в причудливый узор, где ужас становится ключом к новым ощущениям.

— Итак, пока ты следуешь правилам, всё будет... скажем так, в пределах допустимого, — произнёс он, слегка склонив голову и глядя на меня с тем особым вниманием, от которого чувствуешь себя одновременно обнажённой и защищённой. — В конце концов, я ведь не чудовище. По крайней мере... не со всеми. Просто человек, который знает, как играть в эти игры. И умеет делать это очень хорошо.

Он замолчал, давая мне время осмыслить его слова, почувствовать их вес, их странную притягательность.

Тишина, наполненная шёпотом пламени и биением моего сердца.

— Просто доверься мне, — произнёс он тихо, без нажима, почти ласково. — И всё станет намного проще. Для тебя в первую очередь.

Я замерла.

Эти слова, сказанные так, будто он действительно заботится о моём благополучии, резали сознание острее любого приказа.

В груди вспыхнула ярость. Горячая. Обжигающая.

Но вместе с ней пришло пугающее замешательство: он предлагал довериться после всего?

Я пыталась ухватиться за то, что знала наверняка: он чудовище. Не человек. Воплощение зла. Тень, накрывшая мой мир.

В памяти вспыхивали картины одна за другой.

Дым над моей страной. Чёрный и густой, заслонивший солнце.

Казни на центральной площади по приказу Инквизитора. Методичные. Демонстративные.

Умиравшие от голода старики и дети. Их потухшие глаза уже ничего не просили.

Лица близких, бледные и измученные, за решёткой тюремной камеры.

Холод каменного пола в ту первую ночь в плену.

Его руки на моём теле. Сильные. Безжалостные.

Треск моих собственных суставов на дыбе по его приказу.

И после всего этого он предлагал довериться?

Это ловушка. Это точно ловушка.

Я сжимала кулаки, пытаясь вернуть ясность мысли.

Но его голос, взгляд, слова проникали глубже любых пыток. Пробирались в самые потаённые уголки сознания.

Он погубил всё, что мне дорого.

Он причина моего горя и слёз.

Но сейчас передо мной стоял совсем другой человек.

Тед никогда не говорил со мной так.

Он был нежен и заботлив, целовал в лоб и спрашивал, не холодно ли мне.

Но он никогда не смотрел на меня так, как будто видел не только ту, кем я была, но и ту, кем могла бы стать.

Он не знал, что внутри меня есть тьма. А если бы узнал — испугался бы.

Диамант не боялся.

Он смотрел, и от этого взгляда мне хотелось рассказать ему всё.

Не палач. Не тиран.

Просто юноша, почти мой ровесник. Да, порочный. Да, опасный.

Но живой. Настоящий.

В его глазах проглядывало что-то человеческое, почти уязвимое. Трещина в ледяной маске.

Поза не выражала угрозы. Скорее сдержанное ожидание. Почти робкое.

И если красивого, но холодного Инквизитора можно было ненавидеть, бояться, даже желать в каком-то извращённом смысле, то от этой неожиданно открывшейся части его личности можно было потерять голову.

Таким он был ещё опаснее. Непредсказуемым. Неуловимым.

Почему он объяснял? Почему не приказывал?

Почему эта мягкость была опаснее любой жестокости?

Он не обязан ничего объяснять.

По всем законам этого мира, по праву победителя, он мог просто приказать. И я подчинилась бы без слов.

Но вместо этого он говорил со мной. Разъяснял. Даже оправдывался, пусть и в своей манере, с неизменной иронией.

— Почему? — вырвалось у меня хриплым, словно после долгого молчания, голосом. — Почему ты это делаешь? Объясняешь... предлагаешь поверить?

Он не ответил сразу.

Просто смотрел на меня долго, не мигая, так, что я чувствовала, как по спине ползёт холодок.

— Потому что ты спрашиваешь, — произнёс он наконец.

— Что?

— Ты спрашиваешь, — повторил он, и уголок его губ дрогнул. — Большинство просто выполняют. А ты задаёшь вопросы. Это... любопытно.

В его глазах мелькнуло что-то неуловимое.

Не насмешка. Не раздражение.

Почти понимание. Почти сочувствие. Призрачное и едва уловимое.

Он сделал шаг ближе. Мягко. Почти неслышно.

— Потому что мне так интереснее, — ответил он честно, без прикрас.

Я резко вдохнула.

— Игра без правил скучна, — продолжил он. — Я хочу видеть не покорную куклу, а женщину, которая осознаёт, что происходит. Которая принимает решение — пусть даже через ужас, через ненависть, через всё, что ты ко мне испытываешь.

Его слова повисали в воздухе, смешиваясь с ароматом воска и старого дерева.

Я пыталась найти подвох. Искала скрытые угрозы.

Не находила.

Он не лгал. По крайней мере, не сейчас.

И в этом была особая, пугающая искренность.

Он хотел, чтобы я не просто подчинялась. А хотела этого.

И самое страшное: какая-то часть меня уже отзывалась.

— Расскажи мне, — произнесла я, сама не узнавая свой голос. — Раз уж ты хочешь, чтобы я осознавала. Расскажи, что ты будешь делать.

Он усмехнулся.

Но не зло.

С интересом.

— Тебе правда хочется знать?

— Да.

— Ну что ж. Слушай.

Он сделал паузу. Подошёл ближе. Остановился за моей спиной.

Я чувствовала его дыхание на затылке. Тёплое. Рваное.

— Сначала, — начал он, — я научу тебя простому. Стоять, когда я вхожу. Опускать глаза, когда я смотрю. Отвечать, когда я спрашиваю. Это база. Без неё — никуда.

Его голос был низким, обволакивающим. Он проникал под кожу, растекался по венам.

— Потом — тело. Я покажу тебе, как боль превращается в удовольствие. Как кожа становится чувствительнее, когда по ней проходятся плетью. Как запястья горят, когда их стягивают верёвкой. Как бёдра дрожат, когда их разводят. Как рот наполняется слюной, когда в него входят. Как горло сжимается, когда входят глубоко.

Я задышала чаще.

Низ живота сводило. Между ног становилось влажно.

— Я буду связывать тебя, — продолжил он. — Туго. Красиво. Так, чтобы каждое движение врезалось в кожу. Буду ставить тебя на колени. Заставлять ждать. Заставлять просить. Буду играть с тобой: доводить до самого края — и оставлять. Снова и снова. Пока ты не начнёшь умолять.

Мои щёки горели.

Соски сжались под тканью платья. Я надеялась, что он не видит.

Но он видел всё.

— А потом, — произнёс он, наклоняясь к моему уху, — когда ты будешь мокрая, дрожащая, сгорающая изнутри, я возьму тебя. Так, как захочу. Туда, куда захочу. И ты будешь кончать. Снова. И снова. И каждый раз это будет вырывать из тебя что-то, что ты считала своей гордостью.

Я закрыла глаза.

Перед внутренним взором — не лица отца и Теда.

Только он.

Его руки. Его голос. Его тёмные волосы, пахнущие дымом.

— Ты чувствуешь? — спросил он шёпотом. — Прямо сейчас. Как твоё тело отзывается на мои слова. Как оно хочет этого.

Я не могла ответить.

Только дышать.

Только дрожать.

Внутри шла отчаянная борьба.

Разум кричал: «Не верь ему! Это ловушка!»

Тело помнило страдание и унижение. Каждое прикосновение, каждое слово, причинявшее боль.

Но что-то ещё, глухое и почти забытое, откликалось на эту странную, пугающую искренность.

На его слова.

На его голос.

На его тьму.

Я закрыла глаза.

И снова — его образ. Не отца. Не Теда.

Диамант.

Стоящий за моей спиной. Шепчущий мне на ухо. Заставляющий моё тело пылать.

«Это не я. Это только ради отца, ради Теда. Я не хочу этого».

Но ложь была очевидна.

Я уже не знала, чего хочу.

Когда я снова открыла глаза, в них всё ещё горел огонь сопротивления. Упрямый. Несгибаемый.

Но под ним тлело другое.

— Да... — произнесла я, запнувшись. — Я согласна.

Эти слова дались тяжелее, чем любой крик, чем любое сопротивление.
Они означали не капитуляцию.
Признание того, что сейчас у меня нет другого пути.
Вкус соли от невыплаканных слёз на губах напоминал, что я всё ещё жива.
И готова бороться.
Не только с ним.
С самой собой.

2

Пламя свечи дрожало, отбрасывая на его лицо рваные тени. То подчёркивая острые скулы, то пряча глаза в глубокой темноте.

Он улыбнулся.
Не той насмешливой полуулыбкой, к которой я привыкла. Не вызов и не укол.
Что-то почти бережное. Словно он держал в руках хрупкую реликвию.
— Ты согласилась, — произнёс он тихо, почти шёпотом. — Это первый шаг. Может быть, ты и пожалеешь. Но тебе понравится.

Его голос был низким, бархатистым. Прокатывался по коже, как прикосновение шёлка.
Знакомая ирония теперь не жалила, а лишь мягко очерчивала границы новых правил.
Я невольно напряглась.

Мышцы сжались, будто готовясь к удару. Мой взгляд скользил по его лицу в поисках подвоха, зацепки, намёка на прежнюю холодную расчётливость.

Но привычная маска врага размывалась и таяла, как лёд под горячим дыханием.

Что происходит?

Почему он говорит со мной так?

И почему это пугало сильнее, чем его жестокость?

Он сделал шаг назад.

Едва заметное движение. Но в нём было больше смысла, чем в любых словах: жест, предлагающий пространство. Выбор.

— Отныне между нами не должно быть стыда, — продолжил он ровным, почти ритуальным голосом, будто произносил обет. — Говори о чём угодно. Даже о самых смелых фантазиях. Я не стану осуждать, не стану смеяться. Я просто выслушаю. И... помогу воплотить.

Сигарета догорала между его пальцами, роняя на пол тонкую изломанную тень пепла.

Горький запах табака смешивался с едва уловимым ароматом сандала и его запахом. Теперь въевшимся в мои воспоминания.

— Представь меня исповедником, — добавил он. — Тем, кто принимает без осуждения.

Я сжала пальцы.

Внутри что-то дрогнуло.

Трещина пробежала по ледяной корке, сковывавшей душу.

Гнев и страх — мои старые щиты — начинали отступать, вытесняемые чем-то новым, непривычным.

Любопытством.

Оно прорастало сквозь трещины обороны. Осторожное, но настойчивое. Как первый росток сквозь каменную кладку.

Он предлагал исповедоваться.

Тому, кто пытал меня. Кто насиловал. Кто держал в заложниках моих близких.

И что-то во мне отзывалось.

Перед глазами вспыхнул образ отца. Его строгий взгляд. Тяжёлый, как свинец.

Я опустила ресницы, будто оправдываясь.

«Это не капитуляция. Я не верю ему. Пока не верю. Но если это единственный путь к свободе, я пройду его до конца».

Свобода.

Слово звучало как насмешка.

Но я цеплялась за неё, как утопающий за соломинку.

— Ты... серьёзно? — спросила я, подавив желание отвернуться.

Мой голос всё ещё звучал настороженно, но в нём пробивался интерес. Острый, как лезвие, и такой же опасный.

— Ты слишком порочен для исповедника, милорд.

Он коротко, почти беззвучно рассмеялся.

В этом смехе было что-то завораживающее. В его глазах мелькнул озорной огонёк. Не жестокий. Не уничижительный. Приглашающий.

— Возможно, — согласился он. — Но даже пороки теряют власть, когда их называют вслух.

Я сделала крошечный шаг вперёд.

Не физически. Внутренне.

Переступила через невидимую черту, отделявшую «прежде» от «теперь».

— Что, если мои мысли покажутся тебе... необычными? — спросила я.

— Когда два человека могут говорить откровенно, без масок, без притворства... это редкая роскошь, — ответил он.

Пауза.

Он давал словам осесть в воздухе, как пыли на старинной книге.

— Необычность субъективна, Сильвана. Для кого-то полёт бабочки — чудо, а для кого-то — бессмысленное мельтешение. С моими пристрастиями для меня не существует необычности.

Неожиданно это расслабило меня.

Напряжение в плечах чуть отпустило, словно кто-то незаметно снял тяжесть, которую я носила так долго, что уже перестала замечать.

Пальцы дрожали, будто хотели потянуться к нему.

Но я сжимала их в кулак, загоняя неуверенность вглубь.

Почему его слова так действовали?

Почему мне хотелось верить ему?

Почему это ощущалось как облегчение?

Я ненавидела себя за это.

Тишина снова опустилась на комнату.

Но теперь она была тёплая. Не давящая и не выжидающая. Живая, обволакивающая нас, как мягкий плед, сотканный из полутонов и недоговорённостей.

Я глубоко вдохнула.

Воздух казался густым, насыщенным чем-то неизведанным. Возможностью, которую я ещё не решалась назвать по имени, но уже ощущала на губах. Терпкую и волнующую, как первый глоток вина.

Я понимала, что ступаю на скользкую дорожку.

И всё равно шла.

— Я попробую, — произнесла я почти шёпотом.

Как клятву.

Как начало чего-то неизбежного.

Он сделал шаг ко мне.

Я не отступила.

Его рука поднялась медленно, давая мне время отстраниться.

Но я не двинулась.

Пальцы коснулись моей щеки. Тёплые. Сухие. Не грубые.

Он провёл большим пальцем по скуле, стирая невидимую слезу.

Я замерла.

Не от страха.

От того, что прикосновение не обожгло.

Наоборот, оно приносило странное, почти забытое ощущение покоя.

— Вот так, — прошептал он. — Уже легче.

И улыбнулся по-настоящему. Без иронии. Без маски.

В этой улыбке была нежность и тихое удовлетворение. Но без торжества.

Он не праздновал победу.

Он словно принимал моё решение как дар. Или мне хотелось в это верить.

— Вот и отлично, — произнёс он, и в голосе мелькнула едва уловимая, но отчётливая нотка предвкушения. — Тогда, пожалуй, пора начать.

Глава 7

Глава 7

Второй урок

«Она кричала. Но это был не крик боли. Это был крик освобождения от той, кем она была».

Сильвана

1

Диамант, не дожидаясь моего ответа, налил себе абсента.

Изумрудная жидкость стекала в бокал тонкой, почти живой струёй, как яд, нашедший русло. Капли звенели о хрусталь, и этот звук был интимным, словно шёпот заговорщика.

Анисовый дух расплзался по комнате. Горький. Полынный. Обволакивающий. Он забирался в ноздри и оседал на языке.

Молодой человек опустился на край кровати с ленивой, тягучей грацией хищника, уже настигшего добычу и не видящего смысла торопиться.

Плащ беззвучно соскользнул на пол, обнажая чёрную рубашку с серебряной вышивкой, что оплетала предплечья подобно паутине. Мускулы под тканью обозначались скупой и точно, как линии на чертеже оружия.

Он поднял взгляд на меня.

Я всё ещё сидела в кресле, вжимаясь в его бархатную спинку, как зверёк, учуявший запах крови.

Свечные фитили трещали сухо и надломленно. Тени на стенах корчились, будто живые.

Его глаза в дрожащем свете казались двумя колодцами, на дне которых тлели угли. Они обещали. Но что именно — разрушение или откровение — я разобрать не могла.

— Раз уж мы решили быть откровенными... — произнёс он мягким, почти убаюкивающим голосом. Тем самым тоном, которым произносят колыбельные или приговоры. — Начнём с малого.

Пауза.

Глоток абсента. Влажный блеск на нижней губе.

— Раздевайся. Медленно.

Слова обвилились вокруг меня, как шёлковая лиана, пропитанная дурманом.

Не просьба. Не требование.

Нечто третье.

Приглашение на край обрыва.

Я замерла.

Внутри всё сжималось: стыд, страх и что-то ещё, чему я отчаянно отказывала в имени.

Сердце ударило в рёбра. Кровь хлынула в виски горячей волной.

Я поднялась медленно, как поднимаются лунатики, не доверяя собственному телу.

Пальцы нашли верхнюю пуговицу платья.

Каждое движение давалось с трудом. Но не физически. Душевно.

Пальцы дрожали: от холода, от волнения или от того странного, пульсирующего тока, что зародился где-то внизу живота и отдавался в кончиках пальцев, в мочках ушей, в пересохших губах.

Первая пуговица.

Вторая.

Третья.

Ткань скользила по коже. Тёплая, потом прохладная.
И в этом скольжении было что-то ритуальное.
Я обнажала не тело.
Я сбрасывала защиту. Слой за слоем. Защиту за защитой.
С каждым новым открытым участком стыд становился сильнее. Он жёг изнутри и забирался под рёбра.
Но вместе с ним поднималось другое.
Пугающее. Незваное любопытство.
Что дальше? Как он посмотрит? Что сделают его глаза, когда увидят?
Прохладный воздух коснулся обнажённых плеч.
И дрожь, прошившая спину, не имела ничего общего с холодом.
Предвкушение. Чистое и постыдное одновременно.
Я вспомнила об отце и Тедде. Сказала себе, что должна их спасти.
Но сердце билось не от ужаса.
От чувства, больше похожего на голод.
Я ненавидела себя за это.
Платье упало к ногам. Мягкий шелест ткани о половицы — звук капитуляции.
Я осталась в тонком белье. Последнем рубеже. Последней лжи о том, что я ещё контролирую происходящее.
Грудь вздымалась. Руки дрожали.
— Ну а дальше? — произнёс он, приподняв одну тонкую, точно нарисованную тушью бровь. В уголке губ дрожала усмешка. Лёгкая. Игривая. Как искра над порохом. — Снимай всё. Полностью.
Я резко вдохнула.
Пальцы сжимались и разжимались, тянулись к застёжке, но не слушались, скользили, срывались.
Раз. Два.
Только с третьей попытки раздался щелчок.
Ткань лифчика скользнула вниз.
Прохладный воздух лёг на разгорячённую кожу груди. Контраст такой резкий, почти жестокий, что я вздрогнула.
Соски затвердели мгновенно. От холода, от его взгляда, от всего сразу.
И в этой болезненной остроте пряталось что-то запретное, отчего дыхание перехватывало.
Я чувствовала, как его взгляд касается меня почти физически. Как пальцы. Как язык.
И мне не хотелось, чтобы он отводил глаза.
Затем трусики.
Медленно. Невыносимо медленно.
Я тянула этот момент, как последний глоток воздуха перед погружением.
Ткань скользила по бёдрам, по коленям, коснулась лодыжек.
И с каждым дюймом обнажённой кожи истончалось что-то между нами: воздух, расстояние, граница.
Когда последний лоскут упал к ногам, осталась только пустота.
И я в ней.
Голая. Дрожащая. Распахнутая.
Я стояла перед ним совершенно обнажённая.
Не в силах поднять голову.
Выставленная напоказ. Уязвимая до боли, до крика.
И возбуждённая.

Это возбуждение катилось по телу тёмными волнами, заставляя кожу гореть, дыхание срываться, а низ живота сжиматься в тугой, горячий узел.

Оно было глубже всего, что я знала прежде. Тёмное. Пронизанное стыдом и запретом. И оттого невыносимо острое.

Вкус слёз коснулся губ. Солёный. Горький.

Я сглотнула.

«Это ради отца и Теда. Даже такой ценой».

Но мысль звучала глухо, как молитва, в которую больше не верят.

Это ложь.

Происходящее уже не про них.

Про меня.

Про то, что я чувствовала и чего хотела.

Где-то в самой глубине, под слоями стыда и страха, что-то трепетало отчаянно и неистово.

Как крылья пойманной птицы, которая уже не знает, хочет ли она на свободу или давно перестала различать клетку и небо.

Диамант

1

Я не шевелился.

Только мои глаза — ожившие, хищные, внимательные — скользили по её фигуре. Изучали. Запоминали. Оценивали.

В моём взгляде не было похоти и грубости.

Было искусство.

Я рассматривал не женщину. Материал. Мраморную глыбу, ждущую первого удара резца.

Мой взгляд ласкал её кожу, проникал вглубь, снимал слой за слоем. Словно я уже видел тот узор, который вырежу на её душе.

Она ещё не понимала, что уже стала холстом.

А я — тем, кто не рисует, а вырезает.

— Повернись, — произнёс я с лёгкой, почти ласковой насмешкой. — Хочу видеть всё.

Она медленно повернулась.

Каждое движение было пропитано сопротивлением и одновременно странной, гипнотической покорностью.

Я чувствовал, как мой взгляд обжигал её кожу. Как невидимые пальцы скользили вдоль позвоночника, считали позвонки, вызывали мелкую, неконтролируемую дрожь.

Она уже играла по моим правилам.

Даже не подозревая об этом.

Смушение жгло её изнутри, пульсировало под кожей. Румянец полз по шее и ключицам, горячий и предательский.

Но вместе с ним нарастало нечто иное. Тягучее. Мутное.

Будто каждая клеточка её тела просыпалась, откликалась на моё внимание и раскрывалась, как ночная лилия навстречу луне.

Когда она снова оказалась лицом ко мне, я кивнул.

Одобрительно. Почти восхищённо.

Едва заметная улыбка тронула уголки моих губ.

— Прекрасно, — прошептал я. — Теперь опустишься на колени.

Она вздрогнула всем телом.

От унижения. От смущения. От ужаса.

И от предвкушения, которое и было самым страшным, потому что говорило: часть её уже ждала этого и хотела.

Она ненавидела себя за это.

И именно поэтому будет подчиняться ещё охотнее, пытаясь искупить вину послушанием.

Она опустилась медленно, почти грациозно.

Ковёр принял её колени, как алтарь принимает жертву.

Он был тёплым, нагретым камином.

Но она чувствовала холод. Не снаружи. Внутри.

— Ползи ко мне, — произнёс я мягко, но неотвратно. — Медленно. Так, чтобы я мог насладиться каждым движением.

Она подчинилась.

Руки коснулись ковра. Ладони ощутили плотный, чуть колючий ворс.

Тело двинулось вперёд плавно, почти инстинктивно. Бёдра, лопатки, позвоночник — единая текучая линия.

С каждым сантиметром, приближавшим её ко мне, ужас отступал, уступая место чему-то первобытному, живому, горячему.

Она уже не думала о сопротивлении.

Она думала о том, как сделать это правильно. Как угодить.

Когда она оказалась у моих ног, я протянул руку.

Не хватая. Не принуждая. Предлагая.

Мои пальцы коснулись её подбородка. Мягко. Но непреклонно.

Приподняли лицо.

Кожа под пальцами была горячее, влажной от выступившей испарины.

Наши взгляды встретились.

Мой — глубокий, бездонный, полный обещаний и угроз.

Её — распахнутый, затопленный страхом и чем-то, что она не решалась назвать.

— Видишь, это не так страшно, как ты думала, — прошептал я почти нежно, так что моё дыхание коснулось её губ.

Мой большой палец медленно провёл по её нижней губе. Влажной. Чуть припухшей.

— И гораздо интереснее, чем ты могла представить.

Я неторопливо вытянул ногу.

Поставил её прямо перед ней: тяжёлый чёрный сапог, гладкая кожа, тускло мерцающие пряжки.

Моя поза оставалась расслабленной. Локоть небрежно на колене. Голова чуть склонена.

Но в этой расслабленности таилась властность. Ленивая. Кошачья. Оттого лишь более давящая.

Я не играл.

Я лепил. Формировал. Создавал новое существо из глины боли и воды покорности.

— Сними с меня сапоги, — приказал я ровным тоном, лишённым видимых эмоций, но с лезвием под бархатом.

Она замерла.

Руки предательски дрожали. От холода, от напряжения, от пульсирующего жара между бёдер, который она отчаянно пыталась подавить.

Бесполезно.

Она уже не спрячется и не убежит от того, что жило внутри.

Её пальцы неуверенно потянулись к пряжкам. Нащупали холодный, скользкий металл тёмного серебра.

Движения неловкие, скованные. Будто она впервые касалась чужой обуви.

И в каком-то смысле так и было.

Это не просто прикосновение. Акт. Ритуал. Жертвоприношение.

Каждая ошибка — щелчок не той пряжки, дрогнувшие пальцы, сбившийся ритм — усиливала смущение и гнала кровь к щекам.

Как красива была эта неловкость.

Она делала её ещё более желанной. Живой. Настоящей.

— Не торопись, — произнёс я мягче, чем она ожидала. Без приказа и насмешки. Почти с поддержкой. — Пряжка поддаётся влево. Вот так.

Она замерла на мгновение.

Не верила.

Подняла глаза.

И снова опустила их, быстро, как пойманный зверёк.

Но пальцы слушались: нащупали нужный угол, нажали.

Пряжка щёлкнула, освобождая ремень.

— Умница, — сказал я с лёгкой иронией, но без злобы. Как хвалят ребёнка, делающего первый шаг. — Теперь второй.

Она выдохнула рвано и судорожно.

Щёки горели.

Но руки уже двигались увереннее.

Моё одобрение подействовало.

Она не просто боялась. Она хотела справиться. Хотела, чтобы я снова назвал её «умницей».

Похвала работала лучше страха.

Это надо запомнить.

Я наблюдал с едва заметной усмешкой, впитывая каждую деталь.

Трепет ресниц. Биение жилки на её шее — быстрое, загнанное, как у пойманной птицы.

Прерывистое дыхание, от которого вздрагивала грудь с затвердевшими сосками.

Её неуклюжесть скользила по краю сознания и оседала внутри тёмным, тягучим удовольствием.

Не раздражение.

Что-то другое. Голодное.

Её придётся учить долго и терпеливо, слой за слоем снимать всё лишнее. Страх. Стыдливость. Волю.

Пока не обнажится то, что под ними.

Как скульптор обтёсывает камень, зная, что внутри уже живёт форма.

Я не торопил.

Каждая секунда её смущения — подарок, который я разворачивал медленно, как шёлк с тела.

Она бросала на меня короткие, воровские взгляды из-под ресниц. Будто касалась чего-то запретного и тут же отдёргивала руку.

А потом снова склонялась к сапогу. Снова пряталась.

Но я видел: каждый такой взгляд — крохотная трещина в стене. Каждый вздох — признание.

Не словами. Телом.

Тем, как дрожали её пальцы на моей щиколотке.

Как учащалось дыхание, когда она случайно касалась кожи выше голенища.

Она ещё не понимала, что происходило.

Я — понимал.

Тишина стала осязаемой, густой, как дым.

В ней тонуло всё: её прерывистое дыхание, тихий скрип кожи под неловкими пальцами, сухой треск поленьев в камине.

Воздух густел, пропитывался расплавленным воском, тёплой кожей сапога, холодным металлом пряжек и чем-то ещё, чему нет названия.

Животным. Первобытным.

Тем запахом, что рождается между двумя телами, когда одно из них уже сдалось, а второе ещё нет.

Я впитывал это медленно, с наслаждением дегустатора, подносящего бокал к свету.

Власть текла по венам не горячо и не обжигаяще.

Ровно и глубоко, как подземная река, которая точит камень столетиями.

Предвкушение заполняло каждую клетку.

Её пальцы наконец справились с последней пряжкой.

Сапог соскользнул на ковёр мягко, почти беззвучно.

Она замерла.

Подняла глаза.

И в этих глазах я увидел то, чего ждал.

Не просто покорность.

Начало.

Первый мазок на чистом холсте.

Игра только начиналась.

И она проиграла. В тот момент, когда опустилась на колени.

Всё остальное — лишь детали.

Сильвана

1

Сапоги наконец упали на пол.

Глухо. Как два мёртвых зверька.

Я попыталась вытереть ладони друг о друга, но пот не уходил: въедался в кожу липкой плёнкой, пах железом и страхом.

Не успела я распрямиться — Диамант уже поднялся.

Так поднимается хищник: без усилия, без звука, без предупреждения.

Только воздух качнулся, принося запах. Тёплую кожу, дым, что-то звериное, от чего сердце споткнулось и забилося не в такт.

Он медленно снимал рубашку.

Как жрец обнажает алтарь.

Ткань скользила по плечам. Свечное пламя вылизывало каждый изгиб мышц, заливало впадины чернильной тенью.

Казалось, его тело вырезано из того же мрака, которым дышала комната.

Воск оплывал в подсвечниках, и его сладковатый, удушливый дух мешался с запахом мужского пота. Терпким. Первобытным. Бьющим куда-то в основание черепа.

Рубашка упала.

Тихий шёпот ткани о ковёр.

Потом — звон.

Тонкий. Зловещий. Как голос осы.

Он отстегнул плетёнку от пояса.

Гибкая, узкая, с кожаными языками на конце. Она шевельнулась в его руке, и я могла поклясться, что она дышит.

Его пальцы сомкнулись на моём локте. Не до боли, нет. Но так, что я ощутила каждый удар собственного пульса под его хваткой.

Он развернул меня.

Не к себе. От себя.

К стене.
— Руки на стену, — произнёс он ровно. — Выше. На уровне плеч. Разведи шире.
Я подчинилась.
Ладони легли на бархат. Мурашки поползли от запястий к локтям.
Спина оставалась открытой.
Беззащитной.
Он видел её всю. Каждый позвонок. Каждую ложбинку. Каждый изгиб.
Я чувствовала его взгляд. Как прикосновение. Как руку.
Он не торопился.
Я слышала, как он перекладывает плоть из руки в руку. Как кожаные языки шелестят, касаясь друг друга.
— Не убирай руки, — сказал он тихо. — Что бы ни было. Не убирай.
Взмах.
Сухой хлопок расколол тишину.
Эхо покатилося по стенам, отзвук за отзвуком.
Боль вспыхнула на лопатках алой молнией. Ослепительная. Звенящая.
Я вскрикнула, рванулась — но руки остались на стене. Он приказал. И тело уже слушалось.
Второй удар.
Ниже. По позвоночнику.
Третий.
По ягодицам. Хлёсткий. Мокрый.
Кожа горела. Мышцы сжимались. И всё тело подавалось назад, к нему, к следующему удару, прежде чем разум успевал запретить.
Стон прорвался сквозь стиснутые зубы. Задушенный. Хриплый.
Стыд и удовольствие сплелись внутри, как ядовитый плющ, оплетающий кость.
Что это?
Почему боль отдаётся не только болью?
Почему там, где должно быть только жжение, — что-то ещё? Что-то тёплое, текучее, как расплавленный мёд?
Он бил размеренно. По спине. По ягодицам. Снова по спине. Не давая привыкнуть. Не давая сосредоточиться.
И с каждым ударом жар между бёдер становился сильнее. Влага — обильнее. Тело предавало снова и снова.
— Хватит, — произнёс он наконец.
Плеть опустилась.
Он шагнул ближе. Я слышала его дыхание. Ровное. Спокойное.
— Повернись, — сказал он. — Лицом ко мне.
Я повернулась.
Медленно. Ноги дрожали. Кожа на спине горела. Пульсировала.
— Руки за голову, — приказал он. — Сцепи в замок. Локти разведи.
Я подчинилась.
Локти разошлись в стороны. Грудь открылась. Соски затвердели — не только от холода. От взгляда. От того, как он смотрел.
Он снова поднял плеть.
— Смотри на меня, — сказал он тихо. — Не закрывай глаза.
Взмах.
Удар по груди.
Не по соску. Рядом. По нежной коже. Кожаные языки хлестнули, оставив алую полосу.

Я вскрикнула. Руки дёрнулись, но остались за головой. Он приказал.
Второй удар. По другой груди.
Боль — острая, тонкая, как игла. И — что-то ещё. Под болью. Глубоко. Тёмное. Горячее.
Соски напряглись до боли. Низ живота сжался. Между бёдер стало мокро. Так мокро,
что я чувствовала влагу на внутренней стороне бёдер.
Он видел.
— Что ты чувствуешь?
Голос — бархат, натянутый на лезвие.
Не вопрос.
Вскрытие.
Он изучал меня, как редкий цветок, раскрывающий лепестки под чужими пальцами.
Я молчала.
Слова ворочались в горле, тяжёлые, как камни.
Не должна. Не смею.
Но почему пальцы сами разжимались? Почему внутри не только стыд — почему там эта
сладкая, невозможная дрожь?
— Сучка. Я задал вопрос.
Сталь. Голая, отточенная сталь вместо голоса.
Он шагнул вперёд.
Пальцы впились в волосы у основания черепа. Запрокинули мне голову. Резко. Точно.
Так, что в шее хрустнуло.
Наши глаза встретились.
Его зрачки — два колодца, ледяных и бездонных, и на самом дне — пляшущие огни.
— Говори. Сейчас.
Не просьба. Не приказ даже.
Заклинание.
Слово, после которого молчание становится невозможным, потому что тело уже отвечало
за меня. Дрожью. Жаром. Влагой.
Я стояла с запрокинутой головой, пойманная его хваткой, как бабочка — булавкой.
Дыхание срывалось судорожными всхлипами.
В груди ворочалось нечто огромное, бесформенное: ужас, стыд и — под ними, глубже,
темнее — возбуждение.
Оно росло вопреки всему.
Дрожь катилась от кончиков пальцев до корней волос.
Внизу живота стягивался тугой, раскалённый узел. Пульсировал в такт сердцу.
И с каждым ударом становился туже, горячее.
И это знание обожгло, как клеймо.
Я зажмурилась, пытаюсь спрятаться от себя самой, от правды, которая расползалась по
телу, неотвратимая, как яд.
Ненавижу себя.
И хочу ещё.
И вот что было страшнее всего: страха — не было.
Совсем. Ни капли.
Там, где должен был быть ужас, зияла тишина. Тёплая. Бархатная. Приглашающая.
И именно это отсутствие делало происходящее невыносимым.
Непростительным.
Неотразимым.
— Я... — голос сорвался.
Шелест сухой листвы в пустом склепе.

Я сглотнула. Горло саднило, будто слова обросли шипами и теперь рвали плоть изнутри.
— Я чувствую...

Он не ослабил хватки.

Пальцы — жёсткие, горячие — впивались в волосы у корней, запрокидывали голову, вынуждали смотреть в глаза. Голубые и непроницаемые, как зимнее озеро подо льдом.

В них не было просто власти.

Было знание.

Он видел, как тает сопротивление. Как расползаются по швам все мои «нет» и «не должна».

И ждал.

— Говори, — повторил он.

Насмешка в голосе — лёгкая, почти ласковая, как подушечка пальца, проведённая по свежей ссадине.

Я зажмурилась.

Бесполезно.

Тело предало раньше, чем разум успел выстроить оборону: кожа горела там, где он касался, и там, где не касался — тоже.

Каждый нерв тянулся к нему, как корни к подземной воде.

— Я чувствую... — язык прилип к нёбу. Я сглотнула и заставила себя: — Как внутри сжимается. Узел. Внизу живота. Пульсирует. Горит. И... между ног — влажно.

Тишина.

Слова повисли в воздухе, тяжёлые, как капли крови на белом мраморе.

Обжигали сильнее плети. Не кожу. Что-то глубже.

Я ждала насмешки. Презрения.

Но в его глазах вспыхнуло другое.

Интерес.

Не похоть. Не злорадство.

Чистый, холодный интерес алхимика, увидевшего, как в тигле наконец меняет цвет субстанция, над которой он бился месяцы.

— Продолжай, — прошептал он.

Голос прошёл сквозь кожу, как вибрация камертона. Глубоко. Физически ощутимо. Прямо в кости.

Пальцы в волосах разжались. Медленно, по одному.

И скользнули по щеке.

Подушечки — твёрдые, горячие — чертили линию от виска к подбородку, оставляя след, похожий на ожог.

Я вздрогнула.

Не отстранилась.

Тело подавалось навстречу прикосновению. Так умирающий от жажды прижимается губами к воде, не думая, отравлена ли она.

— Что ещё?

Я хотела отвернуться. Спрятаться.

Не могла.

Его взгляд держал. Не цепи, нет.

Цепи можно разорвать.

Это было что-то другое.

Гравитация.

Притяжение тела к земле, крови к ране, мотылька к огню.

— Это... странно, — произнесла я. — Я не должна чувствовать такое. Не должна. Но чувствую. И это пугает. Милорд, что это? Почему я...

Голос оборвался.

Не существовало слов для того, что творилось с телом. С разумом. С тем, что раньше я считала душой.

— Почему — что? — он пожал плечами. Легко. Небрежно. Так пожимают плечами, когда кто-то спрашивает, почему идёт дождь. — Почему тебя влечёт ко мне? Почему хочешь этого? Потому что такова природа. Не бойся.

Пауза.

Тень усмешки.

— Или бойся. Но расслабься. И чувствуй.

Голос обволакивал. Тяжёлый шёлк, пропитанный дымом и чем-то сладким, опиумным.

Ни осуждения. Ни насмешки.

Только спокойное, звериное принятие того, что происходило между нами.

Я опустила веки.

Шагнула в темноту. Как в чёрную воду.

Холодную. Манящую. Без дна.

Дыхание замедлилось, стало глубже, тяжелее.

Пальцы разжались. Один. Другой.

Словно пробовали на ощупь новый мир, в котором мне предстояло существовать.

«Отпусти контроль. Погрузись. Прими».

Голос внутри. До ужаса похожий на его.

Невидимые нити, державшие меня, — лопнули.

Плечи опустились. Спина выгнулась. Мягко. Покорно. Как у кошки под чужой рукой.

Я больше не сопротивлялась.

Ни ему. Ни себе. Ни тому тёмному, густому, тягучему, что заполняло меня, как ночь заполняет пустую комнату.

— Вот так, — произнёс он. — Теперь ты чувствуешь по-настоящему.

Его рука коснулась плеча.

Едва. Невесомо.

Как садится на кожу пепел.

Но этого хватило: дрожь прокатилась волной от точки касания вниз, по рёбрам, по бёдрам, до самых ступней.

Пальцы скользнули вдоль позвоночника.

И каждый оставлял двойной след: огонь и лёд, ожог и озноб.

Я выдохнула.

Звук вырвался прерывистый, рваный, почти стон. Почти мольба.

Глаза закрыты.

Но я видела.

Тени на стенах — живые, извивающиеся, как чёрные змеи. Отблески пламени — мерцающие, янтарные, хищные.

И его силуэт — тёмный, чёткий, неотвратимый, как приговор.

Мир сжался до запаха. Горячий воск, выделанная кожа, что-то горькое, травяное. Его.

До звука. Собственное сердце, гулкое, оглушительное, набатом в пустом соборе.

До тепла его руки на моей спине.

Единственной точки, к которой я была привязана, как лодка к причалу в шторм.

Диамант

1

Я улыбнулся.

Не насмешливо.

Почти нежно.

Эта мысль царапала изнутри, как осколок стекла под рёбрами: «Сейчас я почти нежен».

Я не привык к нежности. Не знал, куда её деть. Это странное, неловкое внимание к чужому трепету, к тому, как чужая боль отзывалась во мне не пустотой, а чем-то тёплым, тяжёлым, похожим на голод.

Обычно мне всё равно.

Покорность без нюансов. Страх без оттенков. Безмолвные слёзы, стекающие по щекам. Солёные дорожки, которые я стирал большим пальцем с тем же равнодушием, с каким стирают пыль с подоконника.

Но она была другая.

Раньше я действовал как хирург над вскрытым телом: точно, уверенно, с холодной расчётливостью, от которой пахнет сталью и антисептиком.

Мне не нужно было спрашивать, что чувствовали мои жертвы. Я и так знал: боль, страсть, остроту, которой их ванильные кавалеры не могли дать. Ту самую, ради которой они потом ползли обратно на коленях, умоляя повторить.

Но в ней завораживало другое.

Наблюдать, как она борется с собой. Как стыд и ужас мешаются с тем, что она отказывалась назвать по имени. Как душа раздирается между сопротивлением и пробуждающимся, тёмным, горячим желанием.

Мысль, что придётся вести её постепенно, приносила неожиданное удовольствие. Острое, как лезвие, проведённое по языку.

Это было интересно, как эксперимент. Как разгадывание сложного часового механизма, где каждый поворот ключа вызывал новую реакцию, каждый щелчок открывал новую грань.

Я отпустил её волосы.

Но не отстранился.

Рука скользнула вниз, медленно, к плечу. Подушечки пальцев касались кожи и двигались дальше, оставляя дорожку тепла, почти ожога.

Каждое движение размеренное, ритуальное. Словно я совершал древний обряд, где прикосновение — заклинание, а взгляд — печать.

— Хорошо, — произнёс я тихо, почти шёпотом. — Ты честно призналась. А это уже шаг. Не дожидаясь ответа, я снова взмахнул плетью.

Легко. Почти ласково.

Удар пришёлся по внутренней стороне её бедра.

Но я знал: теперь боль приглушённая, тягучая, смешивалась с возбуждением, которое пульсировало в ней и растекалось по венам раскалённым золотом.

Она резко вдохнула. Колени подкосились, но она устояла.

Вскрикнула. Не от боли. От того, как тело отзывалось на этот лёгкий удар. Вздрагивало, трепетало натянутой струной.

Я видел, как узел внизу её живота стягивался туже. Как тепло разливалось по бёдрам и рёбрам, заставляя кожу гореть. Как жилка на шее билась чаще, выдавая всё, что она пыталась скрыть.

«Я не ломаю её. Я создаю».

Из ужаса лепил любопытство. Из сопротивления — покорность. Из стыда — жар.

Как скульптор перед глыбой мрамора: сначала грубые удары резца, потом тонкая полировка.

И вот камень дышал, обретал форму, становился чем-то, от чего невозможно было отвести взгляд.

— Видишь? — прошептал я с нежной иронией, лёгкой, но оттого лишь более властной.
— Ты уже начинаешь понимать. Уже чувствуешь.

Моя рука поднялась снова.

Но я не бил.

Просто проводил плетью по её коже, едва касаясь. Дразня.

Каждое прикосновение — разряд.

Она вздрагивала, сжималась и при этом тянулась, жаждала продолжения. Как умирающий от жажды жаждет воды, зная, что она отравлена.

Она сопротивлялась.

Но уже тянулась ко мне, как лоза к солнцу, которое выжигало листья, но давало жизнь.

— И это только начало.

В словах — обещание чего-то неизведанного, огромного. Того, что одновременно пугало и манило.

Как пламя манит мотылька, летящего на свою прекрасную гибель.

В полумраке спальни дрожащий свет свечей чертил на стенах живые, извивающиеся тени, шепчущие на языке, которого не помнили даже мёртвые.

Воздух сгушался, становился плотным настолько, что его можно было резать ножом.

А под всем этим — тонкий, почти неуловимый запах возбуждения.

Тот, который я научился различать за годы, как алхимик различает редчайший ингредиент в мутной взвеси.

Она пахла страхом.

Но под ним — другое.

То, ради чего я был здесь.

То, что делало её чуть интереснее остальных.

Я отступил на шаг.

Плеть легко скользнула на пол.

Молчание повисло между нами.

Она смотрела на меня. Тяжело дыша. Губы приоткрыты. На шее блестел пот.

Я смотрел на неё.

И — спросил.

— Хочешь коснуться меня?

Она вздрогнула.

Не от страха. От неожиданности.

Она не ждала этого. Не ждала вопроса. Она ждала приказа.

Я не приказывал.

Я спрашивал.

И — это было хуже всего.

Она смотрела на меня. Долго.

Потом — кивнула.

Неуверенно. Едва заметно. Но — кивнула.

Я не двинулся.

Ждал.

Она подняла руку.

Медленно. Как будто рука была чужая. Как будто она не управляла ею.

Пальцы коснулись моей груди.

Сначала — робко. Почти невесомо. Как касаются чего-то запретного.

Потом — увереннее.

Ладонь легла на грудь. Тёплая. Влажная от пота. Дрожащая.

Она провела рукой вниз. По мышцам. По животу. Медленно. Изучающе.

Я видел её глаза.
В них было восхищение.
Не страх. Не ненависть. Восхищение.
И — возбуждение. Тёмное. Горячее. Живое.
Она смотрела на меня — и хотела.
Не терпеть. Не выдерживать. Хотеть.
Её рука пошла ниже.
К животу. К ремню штанов.
Пальцы замерли.
А потом — коснулись.
Через ткань. Но коснулись.
И — замерли.
Она почувствовала.
Под тканью. Твёрдое. Горячее. Большое.
Её глаза расширились.
Она покраснела до корней волос.
И отдёрнула руку.
Резко. Как будто обожглась.
Я усмехнулся.
— Что такое? — спросил я тихо. — Испугалась?
Она молчала.
Смотрела в сторону. Куда угодно. Только не на меня.
— Стыдливая, — произнёс я с иронией. — Ты стоишь голая передо мной. Признаешься,
что течёшь. Но коснуться члена — не можешь. Забавно.
Она вспыхнула ещё сильнее.
Но не отвернулась.
Смотрела на меня. И — в её глазах было что-то ещё.
Не только стыд.
Любопытство. Голод. Желание узнать. Понять. Попробовать.
Она хотела ещё.
Но не решалась.
Это — идеально.
Именно так и должно быть.
Я сделал шаг вперёд.
Резко. Без предупреждения.
Схватил её за плечи.
Пальцы впились в кожу с такой силой, что останутся синяки. Метки. Напоминания.
Одним движением опрокинул её на кровать.
Каркас глухо скрипнул. Пружины матраса отозвались протяжным стоном, словно сама
комната протестовала против того, что в ней происходило.
— На четвереньки.
Сталь в голосе. Не вопрос и не просьба.
Приказ.
По её позвоночнику прокатилась волна мурашек, смешав ужас и предвкушение, страх и
желание, стыд и голод.
Она подчинилась не сразу.
С едва уловимой заминкой, будто внутри ещё теплилась последняя искра сопротивления.
Крошечный огонёк, дрожащий на ветру.
Эта искра делала всё интереснее.

Без неё слишком просто. Слишком пресно.
Но искра гасла в одно мгновение.

Медленно, почти ритуально, она выгнула спину, приподняла бёдра. Отдаваясь покорности, как отдаются течению, перестав бороться и позволив реке нести.

Простыня скользила по коже, тёплая от её тела, ласкала живот и грудь.

Усиливала каждое ощущение, делала каждое движение откровеннее, каждый вздох запретнее.

Дыхание становилось прерывистым.

Пульс — частым, гулким, слышным в тишине.

Я неспешно обошёл кровать.

Взгляд скользил по её телу, задерживаясь на изгибе поясницы, на округлости бёдер, на трепещущих ягодицах.

Прожигал кожу сквозь воздух. Оставлял невидимые ожоги. Уже касался её не руками, а глазами. Уже метил, ставил клеймо, которое не сотрётся.

Я вернулся на кровать, опустил позади неё.

Провёл ладонью по внутренней стороне её бедра снизу вверх. Медленно.

Ощущал, как напрягались мышцы, как дрожала кожа, как жар её тела просачивался сквозь мои пальцы.

Остановился у самой промежности. Не касаясь. Но так близко, что она чувствовала тепло моей ладони.

— Разведи ноги шире, — приказал я.

Она всхлипнула.

Но подчинилась.

Медленно, судорожно развела колени, открываясь полностью. Без остатка.

Я смотрел. Впитывал. Наслаждался.

— Мокрая, — произнёс я. — Течёшь, как сучка во время течки. И это — всего лишь от пары ударов плетью.

Она вздрогнула.

Плечи тряслись.

Но не от стыда.

От возбуждения, которое уже невозможно было скрыть: её бёдра подавались назад, навстречу моей руке. Бессознательно. Инстинктивно. Как у животного, идущего на запах.

— Хочешь ещё? — спросил я, растягивая слова. — Хочешь, чтобы я ударил снова?

Её дыхание было рваным, влажным, громким.

После паузы она прошептала:

— Да. Пожалуйста.

Я усмехнулся.

— Хорошая девочка.

Резкий, сухой удар ладони между её ног.

Звук отскочил от стен, как выстрел.

Тело дёрнулось, но не отпрянуло.

Она выдохнула коротко и судорожно.

И в этом звуке смешивались испуг, стыд и то самое тёмное, почти непристойное желание, которое я так тщательно взращивал. Поливал, как садовник поливает редкий ядовитый цветок, пробившийся сквозь трещину в камне.

Прекрасно.

Механизм работал.

Осталось настроить его, довести до совершенства. Сделать так, чтобы каждый вздох, каждый стон, каждая судорога стали частью нашей симфонии.

Мрачной. Опасной.
И прекрасной в своей жестокой красоте.

Сильвана

1

Я вскрикнула.
Звук родился где-то в глубине. Не от боли.
От наслаждения, хлынувшего по телу раскалённой волной.
Кожа вспыхнула. Мышцы сжались. Каждая клетка пробуждалась разом, жадно, как земля после засухи, впитывающая первый ливень.
Судорога прошла меня насквозь. От макушки до кончиков пальцев на ногах.
Дыхание срывалось.
Я вдыхала глубже, и воздух обжигал лёгкие, не остужал, а подбрасывал дров в костёр, полыхавший внутри.
В висках гулко стучала кровь. Мерно. Настойчиво. Как военный барабан перед штурмом.
Бёдра двигались сами. Назад, навстречу его руке.
В ритме, который я не выбирала.
Который уже владел мной, управлял мной, дёргал за нити, вшитые прямо в плоть.
Тело требовало большего. Настойчиво и неумолимо.
Голос разума превращался в далёкий шёпот за запертой дверью.
Я хотела его.
Хотела, чтобы он вошёл в меня. Хотела, чтобы он брал меня жёстко, грубо, без жалости.
Хотела чувствовать его внутри.
Я ненавидела себя за это.
И хотела ещё.
— Что, сучка, уже не терпится? — насмешка в его голосе звучала не зло, а почти восхищённо. — Как быстро ты потекла.
Я не отвечала. Не могла.
Слова застревали между горлом и грудной клеткой, распадалась на стоны. Тихие. Рваные. Рвущиеся сквозь стиснутые зубы, как пленники из-под завала.
Пальцы впивались в простыню. Ногти прочерчивали по ткани борозды.
Жалкая попытка удержаться за что-то твёрдое, пока самоконтроль таял, как воск, стекающий по свечному огарку.
Я чувствовала, как текла.
Как влага стекала по внутренней стороне бёдер. Как стенки сжимались в пустоте, требуя его. Как клитор пульсировал так сильно, что это было почти болью.
И тогда — его руки легли на мои ягодицы.
Медленно. Пальцы раздвинули их. Открывая. Обнажая.
Я замерла.
Воздух коснулся кожи там. Прохладный. Непривычный. Чужой.
А потом — палец.
Скользнул по анусу. Медленно. Круговыми движениями. Дразня. Изучая.
Тело среагировало раньше разума.
Мышцы сжались. Инстинктивно.
Я рванулась вперёд. Попыталась отстраниться. Уйти. Сбежать.
Но он держал.
Крепко. Пальцы впились в кожу. Не отпускали.
— Куда собралась? — произнёс он с усмешкой. Голос низкий. Насмешливый. Пошлый.
— Думала, я забуду про эту дырочку? Ошиблась.

Он убрал руку.
Я выдохнула. С облегчением. Рано.
— Не сейчас, — сказал он спокойно. — Но я её получу. Позже. Когда ты будешь готова.
А ты будешь.
Я задохнулась.
От унижения. От страха. И — от чего-то ещё. Что пульсировало внизу. Что хотело. Что ненавидело себя за это желание.
Звук расстёгиваемой молнии рассек тишину.
Резкий. Непристойный. Как щелчок взводимого курка.
Он сбросил штаны одним движением.
Между нами не осталось ничего.
Только ожидание, повисшее в воздухе, как дым от жертвенного костра.
Он придвинулся.
Схватил меня за волосы. Запрокинул голову.
Хватка не грубая. Властная. Точная. Как рука кукловода на нитях марионетки.
По позвоночнику прокатилась дрожь. Не боль.
Что-то новое. Почти нежное.
Ощущение абсолютной сдачи, от которого темнело в глазах.
В воздухе смешивались запах пота и желания, горьковатый чад свечного воска, терпкий, дурманящий коктейль, от которого голова плыла, а из-под рёбер поднималось что-то древнее, до-человеческое.
И ещё металлический привкус на языке, острый, как облизанный клинок.
Вкус собственного возбуждения.
— Смотри на меня, шлюха, — прошептал он низким голосом, от вибрации которого волоски на руках вставали дыбом. — Смотри на меня, когда я буду тебя иметь.
Его глаза — огромные, яркие, неподвижные, как стоячая вода в колодце, на дне которого лежали кости. Впивались в мой взгляд. Требовали. Приказывали. Подчиняли.
В моём ответном взгляде плавилась стыд, ужас и жгучее, неукротимое вожделение, которое больше не получалось запереть. Которое проломило все двери и хлынуло наружу лавовым потоком.
Я не сдалась.
Я позволила себе почувствовать.
И это было страшнее любой пытки.
И слаще любого спасения.
Он вошёл резко.
Одним движением. Без прелюдии.
Пронзая, как клинок, входящий в ножны.
Я чувствовала всё: каждый сантиметр, как его головка растягивала меня, как стенки сжимались вокруг него, как он заполнял меня до конца, до самого дна, до той точки, о существовании которой я не знала.
Колени подогнулись, но я устояла.
Вскрикнула.
Звук иной, чем прежде: глубокий, утробный, отчаянный.
Это был крик не жертвы.
Зверя, переставшего грызть капкан и принявшего железо частью собственной плоти.
Мышцы сжимались вокруг него, принимали, требовали, тянули глубже.
Тело двигалось в унисон с его толчками. Ритмично. Яростно.
Как пляска на краю обрыва.

Скрип кровати вторил каждому рывку. Мрачный аккомпанемент к симфонии, которую мы писали вдвоём.

Его кожа на моей спине — мокрая, обжигающая, как клеймо, оставляющее невидимый, но вечный след.

Его дыхание хриплое, рваное, почти звериный рык, сплеталось с моими стонами в один голос. Первобытный и нечеловеческий.

— Тебе нравится, шлюха? — прорычал он, вколачиваясь глубже. — Нравится, как я тебя деру? Скажи это. Вслух.

— Да! — выкрикнула я. — Да, мне нравится! Ещё! Пожалуйста, ещё!

Слова вырывались сами. Бесстыдные. Грязные. Отчаянные.

И от них становилось только жарче.

Я не узнавала собственный голос. Не узнавала себя.

Но впервые за всё время не хотела возвращаться.

Каждый толчок — волна жара от корней волос до подошв.

Каждый вздох — молитва, которую я не решалась произнести. Исповедь в грехе, ставшем единственным спасением.

Тело двигалось с ним уже не из страха и не из покорности.

Из чистого, звериного голода, сбросившего шкуру стыда.

Напряжение внутри нарастало, стягивалось всё туже, всё нестерпимей.

Как перетянутая струна за мгновение до того, как лопнуть.

Он схватил меня за бедро грубо, до синяков. Второй рукой — за горло. Притянул к себе, выгибая мою спину дугой.

Его губы коснулись моего уха. Горячие. Влажные.

— Кончи для меня, — прошептал он.

И я кончила.

Волна накрыла меня с головой. Огромная. Чёрная. Всепоглощающая.

Тело содрогалось. Мышцы сжимались вокруг него, вытягивая из меня всё: силы, мысли, стыд, страх.

Я кричала, не сдерживаясь, не прячась.

Крик вырывался свободно. Последний замок, сорванный с петель. Последняя цепь, лопнувшая звено за звеном.

Он разрезал тишину, как лезвие — шёлк.

Обнажая то, что я прятала за стыдом и ужасом так долго, что почти забыла.

Свою сущность.

Свою жажду.

Свою тьму.

Диамант

1

Её тело содрогалось.

Не просто мышцами.

Чем-то глубинным, утробным, древним. Словно землетрясение, рождённое в самом ядре.

Её мышцы смыкались вокруг меня тугими, ритмичными волнами.

И я ощущал это не кожей и не плотью, а всем существом. Каждой клеткой. Каждым оголённым нервом.

Её пик прокатывался сквозь меня электрическим разрядом. Прожигал позвоночник. Вскипал кровь. Вздёргивал возбуждение до той болезненной, звенящей остроты, за которой рассудок трещал, как перекалённое стекло.

Вот оно.

Не удовольствие.

Господство.

Абсолютное, безраздельное доминирование над её телом, над каждым нервным окончанием, над каждым вздохом.

Она — продолжение моей воли. Мой инструмент. Моя тень.

Я не замедлился.

Напротив, усилил напор: движения становились резче, глубже, почти жестокими в своей неумолимой настойчивости. Как удары кузнечного молота по раскалённому добела металлу.

Ладони сжимали её бедра сильно, до хруста, до синяков. Пальцы впивались в горячую, влажную от пота кожу, оставляя вмятины.

Завтра они будут гореть.

Послезавтра — ныть.

И каждый раз, касаясь этих мест, она вспомнит эту ночь. Мои руки. Мою власть.

Пусть помнит.

Пусть каждое утро перед зеркалом видит отпечатки моих пальцев и знает, что она моя. Полностью. Без остатка.

В голове пульсировало одно: ещё, ещё, не останавливаться.

Разум, обычно ледяной и расчётливый, как часовой механизм, плавился в первобытном, необузданном жаре.

Но даже в этом хаосе я оставался хозяином. Не рабом страсти — её дирижёром. Тем, кто управлял каждым аккордом, каждым вздохом, каждым ударом.

Я хотел не просто довести её до пика.

Поглотить. Растворить в себе, как соль в кипящей воде. Сделать так, чтобы после — через час, через день, через год — она не смогла отделить себя от меня. Чтобы её душа стала эхом моей воли.

Я резко дёрнул её за волосы, заставляя выгнуться так, что позвоночник прочертил дугу.

— Давай же, сука, ну, — прошипел я низким, хриплым, содранным до звериного рыка голосом. — Блять... двигайся. Моя.

Каждое слово — удар. Приказ, который невозможно послушаться.

Зубы сомкнулись на тонкой коже чуть ниже уха. Не нежно. Ощутимо.

Она резко втянула воздух сквозь стиснутые зубы.

Дрожь прокатилась по её телу от затылка до кончиков пальцев на ногах.

Ещё одна метка. Ещё одно напоминание: она будет чувствовать это, даже когда меня не будет рядом. Даже когда уснёт. Особенно когда уснёт.

Она выгибалась.

Пальцы вцеплялись в простыню с такой силой, что костяшки белели. Ногти прочерчивали по ткани тонкие борозды.

Из горла вырывались прерывистые, рваные стоны. Влажные. Хриплые. Почти жалобные.

Они смешивались с моим тяжёлым дыханием, с мерным тиканьем старинных часов в углу, с сухим треском догоравшей свечи, с глухим, влажным ритмом наших тел.

Эти звуки сплетались в единую мелодию. Первобытный гимн, заполняющий комнату от пола до потолка.

Как музыка.

И я — тот, кто её написал.

Второй оргазм обрушился на неё внезапно.

Штормовой волной. Стеной чёрной воды.

Тело выгнулось в судороге. Мышцы окаменели на одно бесконечное мгновение.

Дыхание оборвалось и вырвалось судорожным, хриплым, отчаянным всхлипом, больше похожим на рыдание.

Мышцы стиснули меня ещё сильнее. До боли. До белых вспышек перед глазами.

Пальцы разжались, выпуская измятую простыню.

Руки упали вдоль тела. Бессильно. Безвольно. Как у сломанной куклы.

Она потеряла себя.

Не было ни прошлого, ни будущего, ни имени, ни воли.

Только сейчас.

Только мои руки, моё тело, мой ритм, моя власть.

Я ощущал с почти болезненной, хирургической ясностью, как она дрожала в моих руках мелко и неостановимо. Как её тело принимало меня целиком, без сопротивления, будто созданное именно для этого.

В этот момент последняя нить контроля лопнула.

Остались только ритм, жар, запах разгорячённой кожи, смешанный с солоноватым потом, с горьким чадом оплывшего воска, с чем-то тёмным, мускусным, звериным.

И звук нашего дыхания, слившегося воедино.

Циничная, трезвая мысль прорезала пелену:

«Впрочем, сейчас это просто секс. Даже не полноценная сессия. Так что, пожалуй, можно расслабиться».

Она не ослабила жара.

Лишь добавила остроты, как капля яда, упавшая в бокал густого тёмного вина.

Да, всего лишь секс. Пока что.

Но скоро будет больше. Намного больше.

Я двигался всё быстрее, почти не ощущая собственного тела.

Только нарастающее напряжение внизу живота. Оно собиралось в раскалённый узел, пульсировало в такт ударам сердца, грозило разорвать изнутри.

Когда волна накрыла, я резко прижал её к себе, вдавил в матрас, уткнулся лбом во влажное, горячее плечо.

Из горла вырвался низкий, гортанный стон.

Не от наслаждения.

От освобождения. От триумфа.

Мир рассыпался на тысячи осколков.

Алых. Чёрных. Золотых.

На вспышки света за сомкнутыми веками, на эхо наших стонов, растворявшееся в тяжёлом воздухе, на треск углей в камине, на запах дыма и пота, на привкус соли на губах.

Затем мир начал медленно собираться обратно, как просыпающийся после долгого, тяжёлого сна.

Я кончил в неё. Не задумываясь. Не предохраняясь. Я вообще не люблю резину. Мешает чувствовать тело.

Если она забеременеет — это её проблема. Мне всё равно. У меня уже есть бастарды. Где-то. Сколько — не знаю. Не считал. Не видел ни одного. И не хочу.

Дети меня не интересуют. Не нужны.

Я хочу другое. Власть. Секс. Боль. Всё остальное — херня.

Сердце билось о рёбра глухо и мощно.

Пот стекал по спине холодными дорожками.

Её тело продолжало вздрагивать в моих руках мелко и бессильно. Уже не от страсти.

От абсолютного истощения, словно из неё выкачали всё: силу, волю, саму суть, оставив лишь опустошённую, податливую оболочку.

Тишина, заполнившая спальню, была густой, пропитавшейся запахами пота, оплывшего воска, нагретого дерева и чем-то ещё. Тёмным. Неукрощённым. Не имеющим названия.

Лишь наше дыхание, медленно выравниваясь, нарушало её.

Звучало как последний затихающий аккорд только что отыгранной симфонии.

Я медленно отстранился.

Окинул её взглядом. Не нежным. Не сочувственным.

Оценивающим. Холодным, как хирургическая сталь.

Она лежала передо мной раскрытая, опустошённая, с влажными прядями, прилипшими к вискам и шее.

Грудь вздымалась мелко и часто, словно тело ещё не поняло, что всё кончилось.

На коже поблёскивал пот. Тонкий, солоноватый налёт, в котором смешались её запах и мой.

Я ощущал, как подсыхала влага на моих пальцах.

Машинально потёр их друг о друга. Мягко. Почти задумчиво.

Вчера был первый урок.

Сегодня — второй.

Проследил взглядом линию её тела: от ключиц, вниз по рёбрам, по впадине живота, по бёдрам, на которых уже наливались тени завтрашних синяков.

Каждая отметина — мой почерк. Моя подпись на её коже.

Она не шевелилась.

Только сглотнула.

И я понял.

С тем особым, тёмным удовлетворением, которое расходилось по грудной клетке горячей тяжестью.

Она знала.

Теперь знала.

Не разумом. Кожей, мышцами, тем сломанным, переплавленным нутром, где раньше жило её упрямство.

Знала своё место.

Знала, кто её вылепил, кто стёр прежнюю и написал заново. Собой. По себе. Для себя.

Создатель.

Хозяин.

Судьба.